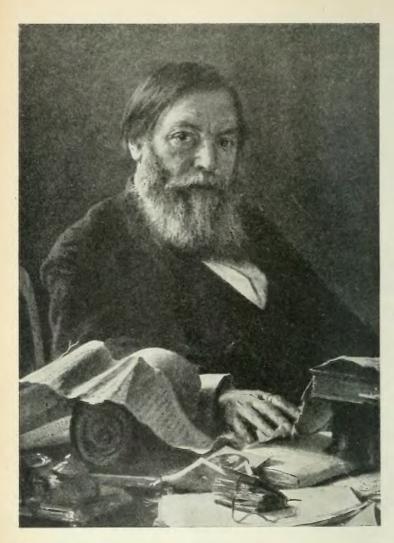


Владимиръ Митрофановичъ ЛАМ ПСИ



Mobeur Meismul

MS274- Mel'nikov, Pavel Ivanovich

полное собрание

Ро/пое Боблавіе

Sochineny

П.И.МЕЛЬНИКОВА

[АНДРЕЯ ПЕЧЕРСКАГО].

2.120.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

Съ критико-біографическимъ очеркомъ А. А. Измайлова и съ приложеніемъ портрета П. И. Мельникова-Печерскаго.

томъ первый.

v. /

513529

Приложение къ журналу "Нива" на 1909 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Изданіе Т-ва А. Ф. МАРКСЪ. 1909.

Printed in Rusa



PF 3337 M45 1909 t.1

П. И. Мельниковъ-Печерскій.

(Критико - біографическій очеркъ).

T.

Въ портретной галлерев русскихъ писателей трудно воздержаться отъ нѣкоторыхъ параллелей, идущихъ глубже внѣшняго сходства. Отъ страдальческаго лица Салтыкова васъ невольно тянетъ къ портрету Достоевскаго. Вы смотрите на этотъ "комокъ нервовъ" и вспоминаете роднившій обоихъ писателей страстный пылъ писательства и трибунства. Есть что-то общее въ барски - аристократическихъ лицахъ Алексъя Толстого, Гончарова, Тургенева, какъ есть нѣчто явно общее и въ ихъ спокойномъ, нѣжномъ и ласковомъ писательствъ. "На одно лицо" Чернышевскій и Добролюбовъ. Одна печаль у Глѣба Успенскаго и Гаршина — въ лицъ и въ книгахъ.

Еще два лица напрашиваются на такую же неизбѣжную, можетъ-быть, не до конца ясную и поддающуюся точной формулировкѣ параллель. И то п другое — чисто-русскія, широкія, съ крупными чертами ліца, лишенныя красоты въ прямомъ ея пониманіи, но одухотворенныя красотой умныхъ, прекрасныхъ глазъ, внимательно всматривающихся изъ-подъслегка взброшенныхъ бровей, какъ бываетъ у "бывалыхъ", "себѣ на умѣ купцовъ.

Русская борода широко опушила все лицо и, скравъ черты рта и подбородка, какъ бы оттънила большой и благородный лобъ. И на всемъ этомъ — на манеръ смотръть, на складъ губъ, на этомъ высокомъ лот — природа положила печать высокой интеллигентности и въ то же время чего - то тинично - русскаго, какого - то добродушнаго юмора, живой и беззлобной усмъшки, которая вотъ - вотъ слегка поведетъ губу подъ густымъ усомъ и пробъжитъ мгновеннымъ огонькомъ въ этихъ умныхъ, чуткихъ, хоть и немолодыхъ глазахъ...

Эти два лица — лица Островскаго и Мельникова - Печерскаго.

Что-то таинственно сближаеть даже внѣшне людей одного труда, однихь настроеній. Очень вѣрно сказаль одинъ изъ нынѣшнихъ нашихъ философовъ-публицистовъ, что мы къ старости выслуживаемъ свое лицо, какъ солдаты — Георгія. Если бы Мельникову - Печерскому пришлось подыскивать въ русской литературѣ логическую параллель, — пришлось бы остановиться именно на столь близкомъ къ нему по портретному сходству Островскомъ.

Въ великолънной картинной галлерев русскаго бытописательнаго искусства Мельникову принадлежить едипственное и чудесное созданіе, имъющее право быть поставленнымъ непосредственно за холстомъ Островскаго, изображающимъ "темное царство". Огромное, можно даже сказать, необъятное полотно Мельникова посвящено тому же "темному царству", и однако оно не тускиветь, не вянетъ отъ близости къ

вдохновенному созданію автора "Грозы".

Авторъ "Грозы" и авторъ "Ифсовъ" и "Горъ" (такъ Мельниковъ для краткости самъ называлъ иногда свои "Въ лфсахъ" и "На горахъ") какъ бы размежевали область своего изслфдованія. Островскій взялъ городъ и село, Мельниковъ—лфсную дремучину. Островскій тронулъ всю широту "мірскихъ" настроевій "темнаго царства", — Мельниковъ часто проходилъ тамъ же, но преимущественно, спеціально взялъ на себя миссію изучить и показать темную душу въ ел религіозномъ самоопредфленіи, бросающемъ жутко - мерцающій отсяфтъ на всякое ел дфло, слово и мысль.

Островскому выпало счастье найти критика - художника, который прочувствоваль весь ужасть его "темнаго царства" и даль философскій синтезъ всей его работы. Посл'є Добролюбова даже маловинмательному читателю стали ясны всё точки надъ 1, которыхъ не могъ и не хотёлъ поставить Островскій, какъ художникъ.

Такого счастья не зналь Мельниковъ. Его романы появились уже тогда, когда русская критика оскудъла. Большинство критиковъ не разсмотръло инчего дальше визлинихъ формъ и визлинихъ фактовъ мельниковскаго разсказа. Она следила за ними и преклонялась предъ редкимъ даромъ бытописательскаго мастерства Мельникова, предъ его изумительною памятливостью на жизненныя впечатленія, предъ сочною красочностью, исключительною меткостью наблюдательности и колоссальнымъ запасомъ знаній.

Она не хотъла постигнуть синтеза работы Печерскаго и не могла точными словами уяснить читающей публикъ, почему онъ ей такъ нравится и такъ връзается въ намять, — почему, но прочтеніи "Въ лъсахъ" и "На горахъ", ей становится въ такой мъръ понятим русская душа.

Въ этомъ было еще новое доказательство положенія, что наша кригика послідняго 25 - літія не опережала чуткаго читателя, но шла по его сліду.

П.

По своему духовному складу Мельниковъ — писатель - однолюбъ. Такимъ былъ, напримѣръ, Грибоѣдовъ, всего себя вложившій въ одну безсмертную пьесу. Такими были поздиѣе многіе изъ менѣе славныхъ, уходившіе всецѣло въ одну, вѣдомую имъ область жизпи и не пытавшіеся черпать изъ незнакомыхъ источниковъ.

Умственныя симпатіи и весь складь жизни, включительно до избраннаго впос. Здствій рода службы, — устремили Мельникова въ изслѣдованіе русской старины и людей живущихъ по старинѣ, — въ изслѣдованіе русскаго сектантства. И Мельниковъ вылиль себя всего въ свой капитальный трудъ — романъ о людяхъ, "взыскующихъ града грядущаго".

Двъ огромныхъ четырехтомныхъ хроники его "Въ лѣсахъ" и "На горахъ", въ сущности, дъйствительно составляютъ одинъ романъ, какъ потому, что дъйствіе послъдняго начинается съ той минуты, какъ кончается первый, при общиости отчасти и героевъ, такъ и ио однородности изображаемой тамъ и здѣсь среды, — и по колориту, и по манеръ письма.

Для самого автора созданіе этой огромной всесторонней эпопен было въ значительной мѣрѣ неожиданностью. Скромная повѣсть на пару журнальных в книжекъ подъ названіемъ "За Волгон", по мѣрѣ работы надънею, стала превращаться въ грандіозное художественное созданіе, захватывать все большее число лицъ, осложняться переплетомъ событій, какой едва въ сплахъ было удержать творческое воображеніе.

Аюбимое дѣтище Мельникова, его эпонея, и требуеть къ себѣ прежде всего вниманія читателя и критика. Здѣсь опъ сказался во весь рость. Здѣсь ярче и полнѣе выразились всѣ особенности его творчества и его философія, чѣмъ въ его обличительно - бытовыхъ разсказахъ первой поры или полуисторическихъ повѣстяхъ о старорусскомъ дворянствѣ и

крѣпостномъ народѣ.

"Въ лѣсахъ" и "На горахъ" давно стали однимъ изъ тѣхъ фундаментальныхъ для русскаго человѣка сочиненій, безъ которыхъ не можетъ быть полнаго литературнаго образованія. Страницы изъ него давно вошли въ хрестоматіи. Еще при жизни Мельникову было сдѣлано министромъ народнаго просвѣщенія предложеніе издать "Въ лѣсахъ" въ видѣ пародной хрестоматіи, съ устраненіемъ мѣстъ, какихъ не хотѣлось бы давагь въ руки крестьянскимъ дѣтямъ. Только случайныя обстоятельства помѣшали осуществленію этого намѣренія. Таково офиціальное засвидѣтельствованіе серьезности и цѣнности труда Мельникова, столь рѣдко выпадающее на долю русскаго писателя не только при жизни, но даже и по смерти.

"Въ лѣсахъ" и "На горахъ" — бытовая хроника жизии русскаго люда, придерживающагося "старои вѣры" и разбросаннаго по обоимъ берегамъ Волги въ нижегородскихъ и костромскихъ краяхъ. Вы начинаете читать эту эпопею и съ первыхъ же главъ чувствуете себя въ своеобразной атмосферѣ быта, опредѣляемаго особыми понятіями о вѣрѣ, вѣковыми, священно хранимыми обрядами, повѣрьями и преданіями.

Это "государство въ государствъ" — "страна отцовъ", гдъ люди не дълають жизнь, по покорно несутъ на себъ оброкъ жизни, начертанной во всъхъ мелочахъ старшими поколъніями. Церковная служба со своимъ "благочиніемъ" връзалась въ эту жизнь настолько властно, что и обыденному, будничному укладу передала тъ же основы серьезности, степенности, уставнаго порядка и благообразія. Здъсь все предначертано и вылилось въ обрядъ, — и свадьбы, и "умыканья" молодыми людьми дъвушекъ, и прощенія отцами дочерей — все совершается по разъ заведенному "обычаю", по тому исконному "правилу", по какому служатъ въ "моленныхъ" молебны и всенощныя.

Главный интересъ Мельникова и главная его заслуга, которая въ глазахъ большинства его критиковъ такъ и не освътилась, — именно въ томъ, что онъ начерталъ жизнь русской души подъ угломъ зрѣнія и въ окраскъ религіознаго уклада. То, что онъ съ изумительнымъ знаніемъ и мастерствомъ воспроизвелъ быто русскаго старовърія и потомъ ("Въ горахъ") сектантства, далеко не такъ важно, какъ уясненіе имъ психологіи этихъ людей, такъ близко подпустившихъ къ своему сердцу законъ преданія, законъ обычая, что личная жизнь этого сердца оказалась смятой, задавленной и заглушенной.

Вотъ центральная точка въ писательствѣ Нечерскаго, въ которую должны бить всѣ лучи философской критики и которая осталась въ тѣш, потому что наша критика была какою угодно — исторической, гражданской, эстетической, но не философской.

Первое — красочный быть, удивительное своеобразіе вившнимь формь народной жизни — виділи. Второе — трагедію душь, лишенных счастья или отказавшился оть него во имя гибвнаго и немилостиваго Бога, запрещающаго всякую земную радость, —просмотріли. Виділи черную рясу матери Маневы или вчера еще беззаботной Фленушки, но прислушаться къ біенію ихъ сердецъ подъ этою, на одинъ у всіхъ образецъ рясою, — не суміли.

И это было огромной критической ошибкой, потому что выводы Мельникова просятся подъ обобщенія. Они уясняють икчто — и многое — не только въ ограниченной сравнительно области "людей древняго благочестія".

Они знаменательны для постиженія русской души вообще. И въ литературныхъ типахъ русской интеллигенцій, и въ подлинной жизни можно многое понять при свътъ этого подсказа Мельникова о религій, умерцивляющей земное счастье и дълающей изъ людей мертвыя и унылыя "майшны долга".

Художественная эпопея Мельникова отразила во весь рость жизнь поволжанъ. По своей канвф это такой же характерно-русскій романъ, какъ и по всёмъ бытовымъ краскамъ. Иностраиный читатель, можетъбыть, оказался бы разочаровань отсутствіемь здісь изысканной фабулы, замысловатыхъ приключеній, занимательныхъ неожиданностей. Изтъ здѣсь ви револьверныхъ выстрѣловъ, ни таинственныхъ масокъ, ни жуткихъ подземелій. Все повѣствованіе Мельникова льется ровно и неторопливо, какъ ручей въ долинъ, сътихимъ журчаньемъ, — идетъ, такъ сказать, слегка волнистою линіей, не ділающею різкихъ зигзаговъ ни вверхъ ип виизъ.

Проходять передъ вами волжскіе "богатьи", въ родь Патапа Чапурина, съ ихъ домами — "полными чашами", съ плотными объдами и шумными ипрами, милыя дёвушки Насти и Параци, скучающія по старобоярскому обычаю въ своихъ одинокихъ светелкахъ, подъ монотонный сказъ пянекъ и бабушекъ, томятся по пимъ добрые молодцы, въ родъ Алексъя Лохматаго или Петра Самоквасова. Неподкращенная, неретушированная, переливается передъ вами неторопящаяся русская жизнь, въ которой, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ того бурнаго кипѣпія, топ вижиней вычурности, какія дають такую живость заграничному бульварному роману.

Тысячники Чанурины торгують и наживаются. Авантюристы Сту-коловы или елейные отцы-игумны Михаилы мошенничають около нихъ, втягивая ихъ въ остроумно придуманную ловушку золотопромышленности, — и попадаются. Сладкогласые "начетчики" и "уставщики" кру-жать головы молоденькимъ скитскимъ "облицамъ". Практическіе выходцы изъ крестьянства, въ род'в Алекс'ви, ведуть умную атаку на дочерен богатьевъ. Переплетаются дъло съ бездъльемъ, пирушки съ днями труда, любовь съ равнодушісмъ и ненавистью, — словомъ, растеть и ширится прихотливый узоръ и всколько монотонной русской жизни.

Въ обрисовкъ русской обыденщины и обыденнаго чувства Мельниковъ идеть не одиноко, но рядомъ съ другими русскими писателями, освъщавшими быть купечества и крестьянства, и прежде всего съ Островскимъ. Критика не разъ указывала, что здёсь, въ постижени народныхъ типовъ, онъ близокъ къ бытописателю Титовъ Титычей, Дикихъ или Кабанихъ. Это дъйствительно можно видъть, напримъръ, на фигуръ Чанурина.

Только не связанный стѣсияющими рамками драматическаго произведенія, Мельниковъ могъ освѣтить фигуру Чапурина во всей полнотѣ человѣческихъ слабостей и красотъ при основной чертѣ самоволія.

Онъ могъ быть и былъ совершенио самостоятельнымъ въ частностяхъ.

Въ критик'в считается прочно установленнымъ фактъ, что писатель рисоватъ Чапурина съ натуры, и оригиналомъ былъ для него нижегород-

скій милліонеръ П. Е. Бугровъ, покровитель заволжскаго раскола, Черты типично-русскаго человѣка были крѣики въ Бугровѣ не менѣе, чѣмъ въ Чапурииѣ. Многократный милліонеръ, онъ, по разсказамъ, не отказалси отъ прежняго простого образа жизни до самой смерти. Такъ, на пароходахъ онъ ѣздилъ третьимъ классомъ, буфета не признавалъ, бралъ съ собою ржаной каравай съ огурцами и лукомъ и носилъ самую скромную одежду.

Всегданній даръ объективности сослужиль здѣсь писателю огромную службу. Сквозь налеть деснотизма и самодурства на васъ смотрить изъ Чапурина славная русская душа, талантливая и богатая, широкая въ щедрости и любви и органически неспособная ни на что низкое. Гроза служащихъ, хозяивъ, не сносящій возраженій, Патанъ Максимычь мѣтко и сразу чувствуеть дѣльнаго человѣка и готовъ безъ всякаго сторонняго побужденія самъ оцѣнить и отблагодарить усердіе работника. Весь замкиувшійся въ завѣтахъ и преданіяхъ благочестивой старины, онъ чуждъ ея суетныхъ предразсудковъ и безроднаго человѣка, въ которомъ увидѣть умную голову и порядочность, готовъ ввести въ свой домь и въ свою семью, не считаясь съ тѣмъ, что это "невмѣстно" ему, какъ "тысячнику", и съ тѣмъ, что объ этомъ "скажутъ".

IV.

Крѣпко и грозно несетъ опъ власть надъ своими подчиненными, какъ и надъ своей семьен, но инчто человѣческое ему не чуждо. И Мельинковъ умѣстъ показать въ этомъ кряжистомъ и могучемъ человѣкѣ всего лишь несчастнаго отца, когда Чапуринъ узнаётъ о паденіи своей дочери Насти съ имъ же обласканнымъ и пригрѣтымъ Алексѣемъ.

Сцена, гдѣ Чапуринъ вызываетъ къ себѣ соблазнителя покойной дочери и одѣлясть его ассигнаціями, не имѣя силъ дольше жить вмѣстѣ съ своимъ обидчикомъ и, можетъ-быть, виновникомъ дочерней смерти, — полиа глубокаго трагизма и жизненной правды. Восклицаніе: "тяжелы ваши милости!" — вырывающееся изъ устъ подлинно подавленнаго его великодушіемъ Алексѣя, позволяетъ почувствовать дѣйствительную душевную "тугу" того, кто долженъ принять это великодушіе отъ человѣка, въ которомъ до тѣхъ поръ видѣлъ только "хозяина" и грозу.

Въ парадлель этому мѣсту изъ романа "Въ лѣсахъ" но выразительности можно поставить еще одну сцену изъ того же романа, гдѣ Чапуринъ прощаетъ свою дочь Парашу, вѣнчавшуюся самокруткой съ полюбившимся ей Васильемъ Борисычемъ.

Съ неспокойнымъ сердцемъ читатель слѣдитъ за этой сценой, гдѣ молодыхъ людей ждетъ неминуемая кара за ослушаніе родительской волѣ. Только-что обвѣнчавшаяся чета, которая могла бы быть счастливой своей молодой радостью, стоитъ ин жива ни мертва передъ грознымъ отцомъ.

Старикъ топаетъ погами, подбираетъ самыя злыя, "последнія" слова. Вотъ наконецъ плетка его пошла гулять по виноватымъ сип-

"— Мамынька! Прости меня, окаянную, —голосить Параша, валяясь

v ногъ матери: — благослови свое д'ятище!..

"— Я те прощу!.. Я те благословлю! — кричить Патапъ Максимычь, уже уставшій и браниться и работать илетью, и вдругь обращается къ женѣ съ ясной улыбкой:

"— Простить, что ли, ужъ ихъ, старуха?

"— Какъ знаешь, кормплецъ. Ты — въ дому голова. Какъ ты, — такъ и я...

— Ну, такъ и быть... Прощать такъ прощать, миловать такъ миловать! Вставайте! Богъ васъ проститъ! — говоритъ онъ, стегнувъ зятя въ послъдній разъ и бросая въ сторону плетку".

И черезъ минуту уже веселымъ голосомъ онъ отдаетъ приказъ о свадебномъ столѣ, о яствахъ и винахъ, и дѣло кончается разливаннымъ пиромъ, если не на весь міръ, то на всю округу, съ загуломъ на цѣлыя полторы нелѣли.

"Обрядъ справлялъ Патанъ Максимычъ",—дѣлаетъ ремарку Мельниковъ, описывая чапуринскій напгранный гнѣвъ, и вы точно видите, какъ спокойное лицо разсказчика поводить благодушная улыбка "въ усъ".

Купецъ-тысячникъ на самомъ дълѣ вовсе не такъ золъ, а если хотите, и вовсе не сердитъ на дочку и зятя, взявшихъ на себя самихъ заботу о своей судьбѣ. Но какъ измѣнить старому обычаю дѣдовъ, которые въ такихъ случаяхъ въ своемъ исконномъ преданіи завѣщали обойденному отцу "малость поучить" самоволовъ, прежде чѣмъ дать имъ свое родительское прощеніе и благословеніе!

Въ этой сценъ сказался настоящій художникъ и настоящій наблюдатель живого русскаго человъка

V.

Одна изъ самыхъ интересныхъ и значительныхъ сторонъ писательства Мельникова — именно въ показаніи страшной и порою сокрушительной власти этого "стараго закона" надъ душою людей новыхъ временъ. Трагизмъ большинства его героевъ вътомъ, что они, живые, жаждущіе счастья, молодые и сильные, опередили то "уложеніе" жизни, которому должны подчиняться.

Этотъ исконный, старый укладъ, почивающій на Домостров и продиктованный далекою стариной, старыми законтвлыми и закапанными воскомъ церковными книгами въ тяжелыхъ дубовыхъ крышкахъ, — такъ же негоденъ для нихъ, какъ младенческое платье взрослому. Но судьба заставляетъ ихъ щеголять въ этомъ тришкиномъ кафтанв, считать выше всего въ мірф постановленія какихъ-нибудь отцовъ лаодикійскаго собора и подчиняться непреклонной волв какой-нибудь старой

игуменьи Мансоы, своими понятіями сближающей вѣкъ Алексѣя Михайгловича съ вѣкомъ Николая.

Мельниковъ отмежеваль себт область быта и нравовъ, въ которой поразительно рельефно можно было показать эту практическую непримънимость стараго идеала къ новой жизни. Гдѣ, въ самомъ дѣлѣ, можно было ярче почувствовать деспотію стараго уклада, какъ не въ жизни людей, взыскавшихъ на землѣ "ангельскаго образа"?

По особенностямъ того жанра, въ которомъ работалъ Островскій, ему было совершенно невозможно показать убіеніе живой души вѣрою въ грознаго и всеосуждающаго Бога. То, что было невозможно для Островскаго, невозможно даже и для современнаго драматурга по условіямъ

повышенной сценической цензуры.

Это оказалось возможнымь для Метьникова и потому, что онъ избраль такую просторную литературную форму, какъ романъ, и потому, что въ своемъ романъ онъ ни на минуту не переступилъ границъ объективнаго художника, не ввелъ ни одной страницы тенденціозной публицистики, рисковавшей оказаться подъ краснымъ крестомъ цензорскаго карандаша.

И можно сказать съ совершенною увѣренностью, что Добролюбовъ быль бы счастливъ, если бы въ ту пору, когда онъ писалъ свою замѣчательную критику на "Грозу", подъ его рукою оказалась первая половина эпопен Печерскаго. Здѣсь со старинныхъ, до-никоновскихъ иконъ "правильнаго" стариннаго письма глянулъ бы на него ликъ того немилостиваго, страшнаго, вѣчно гиѣвнаго Бога, который заставлялъ бъдныхъ Катеринъ искать избавленія отъ душевныхъ мукъ на днѣ Волги, а милыхъ, веселыхъ, жизнерадостныхъ Фленушекъ — сознательно отказываться отъ счастья съ любимымъ человѣкомъ и накрывать свой пылающій мозгъ клобукомъ монахини.

Мельниковъ никогда не быль "бунтаремъ" ни въ какомъ смыслѣ. Въ своемъ писательствѣ онъ быль, если можно такъ выразиться, ортодоксаленъ не менѣе, чѣмъ въ своей чиновинчьей службѣ. Всего менѣе онъ писалъ свою поволжскую хронику съ цѣлью что-нибудь опротестовать

Онъ не хотъть ни революціи ни бунта въ изображаемой имъ средѣ, да наконецъ и всего менѣе онъ писаль свои книги для людей "старой вѣры". Можетъ-быть, только теперь, когда его сочиненія становятся достояніемъ милліоновъ, его "Въ лѣсахъ" прочтутъ и тѣ, о комъ романъ писанъ. Его скорѣе можно было бы заподозрѣть даже въ нѣкоторомъ любованіи тѣми формами жизни, какія онъ описывалъ.

Какъ коренному русскому человѣку, съ прирожденною любовью къ старинѣ, съ живымъ ощущеніемъ ея умирающей красоты, притомъ же съ несомиѣннымъ складомъ ума консерватора, — ему невозможно было отрѣшиться отъ иѣкотораго обаянія этихъ формъ, увлекавинихъ мысль въ красивое русское прошлое.

И тімь не мен'я, когда тенерь, черезъ призму бол'я чамъ четверти

въка, смогришь на кинга Печерскаго, — видишь, что никто другой не далъ такихъ убъдительныхъ данныхъ для того, чтобы осудить тпранію стариннаго русскаго уклада. Это часто наблюдается вълитературъ. Самые спокойные и объективные писатели иногда прочнъе всъхъ утверждають знамя бунта.

Такъ прихотливая жизнь часто повторяетъ библейскую исторію Валама, выпедшаго на проклятіе Израилю, но пзрекшаго ему благословеніе. Художники иногда творятъ безотчетно, можетъ-быть, сами не видя во всю величину своей исторической миссіи. Можно вспомнить Чехова, который, никогда не будучи трибуномъ, громче всёхъ сказалъ, что можно задохнуться и нельзя больше жить въ безвоздушномъ пространстве русской реакціи.

VI.

Страшную философію русской темной души, не только боящейся Бога, но смертельно "испуганной" Богомъ, Мельниковъ показалъ съ такою силою, какъ никто другой.

Значительная доля людей, укрывшихся въ скитахъ подъ широкою темною рясой — изъ тъхъ обойденныхъ жизнью, которымъ въ міру не нашлось мѣста. Отрекшіеся отъ него и всъхъ его сладостей, они пришли сюда искать "страстей умиренія". Богъ и міръ въ ихъ понятіяхъ— полюсы, контрасты, взаимно-уничтожающіяся величины. Гдѣ міръ, тамъ нѣтъ Бога, и Богъ начинается тамъ, гдѣ умеръ міръ. Всякая земная радость — "вражда Богу", "прелесть бѣсовская", "сѣтъ сатанина". Одна мысль о мірскомъ вызываетъ на устахъ благочестиваго скитника пеизмънное восклицаніе: — "Охъ, искушеніс!".

Такъ вычеркнуто изъ жизии этою жестокою вѣрою все, что есть прекраснаго и радостнаго въ жизии, — женская улыбка, женская любовь, рожденіе дѣтей, дѣтская ласка, тихое счастье семьи. Передъ вами какое-то царство заживо умеривленныхъ людей. Покойницкая тихость сердца, полнѣйшее "умертвіе" для міра — здѣсь мечтаемый и мучительно искомый идеалъ.

Все прошлое безповоротно забыть, привести волю въ безстрастіе, ногасить мысль вѣчною "умною" молитвой, которая бы теплилась въ бодретвованіи и снѣ, какъ неугасимая лампада предъ иконой — вотъ предѣлъ здѣшнихъ желаній и молитвъ. Темная, длинная, бревенчатая молельяя, съ низкимъ потолкомъ и съ закопченными стѣнами типа тѣхъ, какія вы еще теперь встрѣтите въ какомъ-нибудь Новозыбковѣ или Стародубѣ... Трепетное, зампрающее мерцаніе тоненькихъ восковыхъ свѣчекъ и слабый, слегка сладковатый запахъ горящаго воска... Темнѣющіе строгіе лики изсохинхъ и испостившихся угодниковъ на иконахъ... Вотъ атмосфера этой жизни, уподобляющейся "житію". Безжизненныя, тихія, какъ тѣни, блѣднолчцыя, съ заострившимися носами, переходятъ отъ клироса къ клиросу старыя матери Иларіи и Евпраксіи... Звучатъ

похороннымъ нап'євомъ, проклятіемъ всему міру отчаянныя слова церковной п'єсни:

"— Гдѣ есть мірская красота? Гдѣ есть временныхъ мечтаніе? Не же ли видимъ землю и пепелъ? Что убо труждаемся всуе?"

Пришли въ келін, но и тамъ не легче отъ причитаній старухъ-монахинь, у которыхъ на устахъ "только антихристъ да антихристъ да вся супротивная спла", или отъ заунывныхъ стиховъ — все о смерти, гробъ, червъ, подобранныхъ точно нарочно для того, чтобы терзать и мытарить душу:

"— II слезы убожества, и гордость завистная— на семъ вольномъ свътъ все минетъ... И ляжемъ мы въ гробы, прижмемъ руки къ сердцу. Кости наши пойдутъ землъ на преданіе. Тълеса наши пойдутъ червямъ на съъденіе. А богатство, гордость, слава куда пойдутъ?"

А жизнь не сдается, сердце не хочеть умирать, міръ преть назойливо, дерзко, властно въ каждую дверь, въ каждую щелочку. Его заманчивый гуль доносится и сюда, въ скитскую дремучину, и въ этомъ гулѣ слышится искусительный разсказъ о томъ, какъ тамъ ипровали и илли сладкія вина, тамъ илясали на веселой свадьбѣ, тамъ цѣловались, любились и рождали чудесныхъ, смѣющихся и тепленькихъ дѣтей, и жили душа въ душу, покупали и продавали, гадали въ крещенскій вечеръ, справляли честной ('емикъ или Ивана Купалу, и красныя дѣвицы плели вѣнки и бросали ихъ въ рѣку, слѣдя, къ какому берегу они пристанутъ...

Старые критики иногда ставили Мельникову въ упрекъ, будто бы онъ повертывалъ скитскую жизнь передъ читателями преимущественно свѣтлою ея стороной. Живутъ здѣсь сытно и покойно, подъ прикрытемъ и "заступленіемъ" старовѣровъ-богатеевъ, пересуживаютъ мірянъ, разсказываютъ сказки, собравшись на своеобразныя "засидки", поютъ молодыми голосами пристойныя пѣсни. Казалось бы, не житье, а ран!...

Этоть упрекъ не очень убъдителенъ для тъхъ читателей Печерскаго, которые хоть на минуту задумались надъ только-что намъченной нами траседей душъ, раздавленныхъ безрадостной върой. Не одинъ разъ Мельниковъ показалъ, что тантъ сердце, прикрытое черной рясой. Онъ часто заглядываетъ въ сердце главной начальницы скитовъ, игуменьи

Манеоы, этого чудеснъйшаго изъ своихъ созданій.

Ей ли, казалось бы, не рай жить здёсь и властвовать! И однако передъ вами въ существе своемъ глубоко несчастная жеищина, избравшая "ангельскій образъ" отнюдь не по вольному влеченію сердца, а подъ тёмъ же давленіемъ страха "вёчной гибели", "зубовнаго скрежета" и "огня геенскаго".

Когда-то, въ далекой юности, молодая, только-что расцвѣтшая для счастья Матреша полюбила свободнаго, какъ она сама, Стуколова. И молодой человѣкъ полюбилъ дѣвушку. Жить бы да радоваться, но страшный Богъ отцовъ требуетъ Матрешу себѣ въ жертву. Надъ постелью забеременввшей и рождающей дѣвушки сидитъ и каркаетъ страшная жрица этого страшнаго Бога, матъ Платонида. Съ какимъ-то безчеловѣчнымъ сладострастіемъ она поддразниваетъ изнемогающую въ корчахъ дѣвушку карой Божьей за ея грѣхъ на томъ свѣтѣ. Съ какимъ-то отвратительнымъ захватомъ она твердитъ ей о кромѣшной тьмѣ, червѣ безконечномъ, огиѣ негасимомъ, которыхъ ей не избѣжать...

Скудная, темная, юная душа совершенно раздавлена физической мукой и этой нравственной пыткой. Она мечется, кйкъ крыса въ ловушкъ, истязуемая раскаленнымъ прутомъ. Дъвушка готова на все, и палачъ въ черной рясъ, пользуясь случаемъ, вырываетъ отъ нея обътъ принятія иночества.

"— Объщаенься ли Христу?

"— Обѣщаюсь.

"— Принять ангельскій образъ иночества?...

"— Объщаюсь..."

 достигшая своего, мучительница Илатонида съ радостнымъ вздохомъ шлетъ молитву къ небесамъ:

"— Боже, сильный, милостію вся строяй! Посѣти рабу Твою сію Матрону..."

Казнь совершена. Славной, веселой д'явушки уже н'ять. Вм'ясто нея будеть двигающийся покойникъ — мать Манеоа.

Если эта сцена, которую нельзя читать безъ волиенія, не создаеть основаній для протеста, то не знаю, какія нужны для этого основанія. Если помнить эту страницу изъ жизни Манеоы, то въ какую минуту мельниковскаго пов'єствованія можно пов'єрить въ возможность счастья для нея, хотя бы и сытой, и богатой, и начальственно-вознесеннои?

VII.

А между тѣмъ рана, какую носить въ душѣ Манеоа, довольно обычная рана скитинцъ. И имъ, какъ Манеоѣ, никогда не забыть той каили земного блаженства, какая выпала на ихъ долю, и ничѣмъ не избыть тоски безсонныхъ ночей, наполненныхъ кошмарнымъ образомъ когдато любимаго.

Въ огромной эпопет Мельникова есть другая, столь же блестящая иллюстрація "погрома женской души" этимъ "страхомъ Божіимъ" или, точите, "испугомъ Бога". Это исторія пострига славной хохотушки и заттійницы Фленушки, трагедію которой вы воспрпнимаете еще болте впечатлительно, такъ какъ она проходитъ передъ читателемъ не въ короткомъ очеркт въ три страницы, а развивается во всей полнотт въ целомъ рядт живописныхъ главъ.

Вы видите одну за другою милыя шалости этой общей монастырской любимицы, "огневой" дъвки, которая не лазить въ карманъ за словомъ и устраиваетъ чужое любовное счастье во-время сказаннымъ сло-

вомъ или толчкомъ нерѣшительнаго вздыхателя въ объятія возлюбленной.

Только кузнецомъ собственнаго счастья Фленушкв не суждено быть. Въ роковую минуту она даетъ объщаніе любимой "матушкв-игуменьв" — матери ея и по крови — принять "образъ ангельскій". Приходить пора любить. Любитъ Фленушка, любить и ее выбранный ею человъкъ. Доводится ей испытать и сладость его поцълуевъ и объятій.

Но страшный призракъ "огия геенскаго" и "червя неусыпающаго" срываеть молодое счастье. Какъ обидѣть матушку? Какъ измѣнить Богу?

И воть, не предупреждая своего возлюбленнаго, она постригается въ монахини. Мельниковъ даетъ одну изъ лучшихъ по трагической силъ картинъ, когда изображаетъ гриходъ молодого, пылкаго любовника въ монастырь въ тотъ часъ, когда новопосвященная слышитъ надъ своимъ ухомъ рыдающіе звуки тропаря:

"— Объятія отча отверсти ми потщися. Блудно мое иждихъ житіе.

На богатство погибающее уповахъ..."

Съ нетерпъніемъ ждетъ ничего не подозрѣвающій Самоквасовъ конца

службы, чтобы повидаться съ возлюбленной. Вотъ и конецъ...

"— Натъ здась пикакой Флены Васильевны, — отвачаеть на его вопросъ строгая старица Тапфа: — здась мать Филагрія пребываеть".

Счастье кончено. Флена стала Филагріей.

Въ параллель этой сценѣ вспоминается финалъ "Киязя Серебрянаго", гдѣ киязь подобнымъ же образомъ узнаётъ страшную вѣсть о любимой женщинѣ отъ своего вѣрнаго слуги.

"- Нъть болъе Елены Дмитріевны, батюшка, есть только сестра

Евдокія..."

Скажуть, что это подстроенный эффекть, предъ которымъ не могъ удержаться писатель. Но въ томъ царствѣ испуганныхъ Богомъ людеп, которое живописалъ Мельниковъ, безъ всякаго сомнѣнія — эта драма не разъ разыгрывалась совершенно въ такой обстановкѣ. Беллетристовъ иногда напрасно обвиняютъ въ изысканности и выдумкъ. Жизнь очень часто обгоняетъ своею прихотливостью и капризностью самое пылкое воображеніе романистовъ.

Читателю, сроднившемуся съ эпопеси Печерскаго и успѣвшему подюбить его героевъ, будетъ, безъ сомнѣнія, интересно знать, что образы и Манеоы и Фленушки — такіе же несочиненные авторомъ, какъ и образъ Чапурина. Въ свое время въ "Русской Старинъ" были напечатаны воспоминанія объ этихъ двухъ лицахъ нѣкоси Коваленковой, со словъ ея бабки, лично знавшей мать Манефу (это было ея подлинное имя) и не разъ бывавшей у нея въ гостяхъ въ скитахъ со своимъ отцомъ.

Есть тамъ свёдёнія и о монахинё Александрё, Фленушкё то-жъ (имя Фленушки вымышленное). Сульба дочери игуменьи оказалась очень печальной: инокиня Александра была звёрски умерщвлена въ своей кель тымь лицомь, какое въ романъ Мельникова выступаеть подъ именемъ Самоквасова.

Анализъ настроеній, толкающихъ живыя души въ мертвый склепъ, подъ черный клобукъ, былъ бы не полонъ, если бы мы не отмѣтили, что и толкающіе и толкаемые сюда считаютъ въ темнотѣ своей души это самоумерщвленіе "службою Богу". Мать Платонида не отъ злости причитаетъ надъ рождающей Матрешей-Манеоой. На ся взглядъ она водится самыми прекрасными и священными побужденіями. Она дѣйствительно и искренно хочетъ "спасти погибающую душу" отъ червя и огня. И Фленушкѣ сквозь мутный ужасъ ея отказа отъ ослѣпительнаго земного счастья свѣтитъ далекій огонекъ награды "на томъ свѣтѣ" отъ Небеснаго Жениха.

Сознаніе подчиненія долгу выше всего для всѣхъ этихъ жертвъ самоотреченія. Мельниковъ хорошо понималь философію русской души, когда писаль эти образы. Въ грустной русской жизни долгь издавна сталь чѣмъ-то тяжелымъ, извиѣ навязаннымъ, не вытекающимъ изъвнутренняго самоопредѣленія человѣка. И это засвидѣтельствовали всѣ образы русской литературы, начиная съ пушкинской Татьяны.

VIII.

Разумѣется, далеко не на всемъ душевномъ складѣ скитскихъ дюдей Мельниковъ чувствовалъ это смертоносное вѣяніе мрачной, аскетически безрадостно понятой религіозности. Прекрасно знакомый съ подлинными первообразами своихъ Манеоъ или Танфъ, онъ не могъ не замѣтить и того тихаго сіянія мира и тѣхъ порывовъ свѣтлаго экстаза, какіе вѣра несла въ эти сердца, "прилѣпившіяся къ Богу". "Сладость церковная" неотразимо влекла души, дѣлая для вошедшихъ во вкусъ ся и "притерпѣвшихся" лишнимъ и ненужнымъ міръ. Мельниковъ самъ могъ понять и почувствовать эту поэзію вѣры, изучая трогательныя церковныя пѣсни, внимая унылому, но не лишенному своеобразной, стильной красоты напѣву за скитскими всенощими, или слушая во время ночевокъ въ раскольничьихъ избахъ разсказы какого-нибудь захожаго начетчика или бродячаго монашка.

Тугъ-то не разъ слышаль онъ сказанія о невидимомъ градѣ Китежѣ или чудесно прекрасномъ Опоньскомъ (Японскомъ) царствѣ — единственныхъ мѣстахъ во всемъ Божьемъ мірѣ, гдѣ сохранилась "правая вѣра" и "истинное священство". Мельниковъ передастъ эти сказанія съ тою лирическою страстностью, какою они отличены въ старинныхъ раскольничьихъ рукописяхъ. Какая-то поэтическая дымка окутываетъ всѣ страницы книгъ Мельникова, гдѣ онъ останавливается на этихъ сказаніяхъ.

Даже самый языкъ ихъ впадаеть въ языкъ молитвы, и стиль становится пъвучимъ, какъ стиль чудеснаго "Запечатлъннаго ангела" Лъскова. Градъ Китежъ — "мѣсто злачное и нокопное". "Поистинѣ здѣсь царство земное — покой и тишина, веселіе и радость: а святіи отцы процвѣтоша, аки крини сельные, и яко финики, и яко кипарисы. И отъ устъ ихъ непрестанная молитва къ Отпу Небесному — яко опміамъ благо-уханный, яко кадило избравное, яко мпро добровонное. И егда нощь пріндеть, тогда отъ устъ ихъ молитва бываеть видима: яко столны иламенные со искрами огвенными къ небу поднимаются..." и т. д.

Не менже заманчивы и краски, какими живописуется Опоньское

царство:

"Есть за Сибирью христоподражательная древняя церковь асирскаго языка. Тамо, въ Опоньскомъ царствѣ, на Бѣловодъѣ, стоитъ сто восемьдесятъ церквей безъ одной церкви, да кромѣ того россійскихъ древляго благочестія церквей сорокъ. Имѣютъ тѣ россійскіе люди митрополита и еписконовъ асирскаго поставленья. А удалились они въ Опоньское государство, когда въ Москвѣ измѣненіе благочестія стало. Тогда изъ честныя обители Соловецкія да изо многихъ шыхъ мѣстъ много народу удалилесь. И свѣтскаго суда въ томъ Опоньскомъ государствѣ они не имѣютъ. — всѣми людьми управляютъ духовныя власти. Всякіе земные плоды тамъ въ обильѣ родятся: и виноградъ, и пшено сорочинское..." и т. д.

И, конечно, не одно нѣмое отчаяніе живеть въ душахъ отказавшихся отъ земной прелести скитниць. Знакомы имъ и тихое удовлетвореніе, и "радость о Бозѣ", и любять онѣ неистребимою любовью и унылый звонъ церковнаго "била", и эти старыя церковныя книги въ восковыхъ капляхъ и въ ветхихъ дубовыхъ дщицахъ, по кожѣ которыхъ "червь книгожитель" проложилъ свои тропы. Во многихъ сердцахъ давно перегорѣло "земное вожделѣніе", и ничего ужъ этимъ сердцамъ не нужно, только бы не отнимали отъ нихъ этой неземной сладости и радости. Мельниковъ умѣстъ хорошо передать ту жуть тревоги монастырскихъ старицъ, которая овладѣваетъ ими при каждомъ новомъ слухѣ, что въ скиты ожидается "набольшій чиновникъ" изъ Петербурга, и чте ихъ "Матушку Казанскую" опечатаютъ и увезутъ, а скиты "запечатлѣютъ", поставивъ "мерзость запустѣнія, реченную пророкомъ Даніиломъ, на мѣстѣ святъ".

"— Красота-то гдѣ будетъ церковная! — съ искреннимъ наоосомъ тоскуетъ подъ такою угрозой мать Таисея. — Вѣдь безъ малаго двѣсти годовъ сіяла она въ нашихъ часовняхъ, двѣсти годовъ творились въ иихъ молитвы по древнему чину за всѣхъ христіанъ православныхъ... И того лишиться должны!.. Распудится наше словесное стадо, смолкиетъ пѣніе за вся человѣки, и къ тому не обновится... Древнее молчаніе настанетъ. Въ вертепахъ и пропастяхъ земныхъ за имя Христово придется намъ укрываться..."

И вы чувствуете, что это не наборъ красивыхъ, понатасканныхъ изъ церковныхъ книгъ "жалкихъ" словъ, а настоящая тоска души,

оть которой грозять отнять высшую и единственную ся радость на землѣ.

Влагодаря тому, что Мельниковъ сумёлъ приблизить къ читательскому пониманію эту психологію скитскихъ людей, — могучее впечатл'япіс иропзводять посл'яднія страницы "На горахь", описывающія "скитское разоренье" по правительственному приказу. И это впечатл'яніе не теряеть оть того, что эти страницы писатель создаваль уже за два года до смерти, больной и не им'вющій силь держать перо, что он'в не написаны, а уже продиктованы имъ женъ.

Вы точно видите всѣхъ "матерей" изъ разныхъ обителей, съѣхавшихся въ скитъ, чтобы видёть разрушеніе его казенными рабочими. Безъ плача и рыданій, съ выплаканными уже слезами, сидять он возлів своихъ келій. Стучать тоноры плотниковъ, спосятся знакомыя кровли излюбленной обители, гдф уже смолкло навфкъ молитвенное пфніе "за вся человѣки".

Если гдв Печерскій приближается къ Гомеру, то именно здвсь. Онь певольно впадаеть даже въ его манеру, въ манеру первобытнаго былиннаго сказанія, и въ длинномъ рядѣ строкъ перечисляеть читателю, въ какомъ порядкѣ и какъ сидѣли собравшіяся старицы, не боясь, что такой сухой перечень не рекомендуется современной беллегристической техникой и что онъ утомитъ читателя.

Въ чемъ Мельниковъ положительно не знаетъ себѣ соперниковъ, за исключеніемъ Л'яскова, — это въ обрисовк'я бродячихъ монашковъ и странниковъ, этихъ народныхъ философовъ, извлекшихъ "медъ мудрости" изъ своей мужицкой души да изъ старонечатной святоотеческой книги.

Устами этихъ мудрецовъ-самоучекъ онъ даетъ намъ прямо философское обоснование всего міровоззрвнія изображаемаго имъ люда, "отъ писанія" оправдавнаго весь существующій строй, съ властями и подчиненными, съ крепостниками и крепостными. Вотъ, напримеръ, обоснованіе такой разумности и цёлесообразности всего въ мірів въ устахъ древняго стариа Госифа, толкующаго церковный тропарь: "Гласъ Господень на водахъ".

"— То это означаетъ, что отъ Господа три жребія челов'я комъ дано: Симовъ жребій— Богу служити, Іафетовъ жребій— власть держати, Хамовъ жребій— страхъ им'яти. Оттого и поется, чтобы даровалъ Господь Симу, сирѣчь духовному чину, "премудрость" на поученіе людей, Іафету, сирѣчь дворянству, отъ него же и царскій корень изыде, послаль "духа разума" людьми править, въ разумѣнін всякихъ вещен превыше всехъ стояти, а Хаму, сиречь черному народу, мужикамъ, м'єщанамъ и вашему брату, купцу, послаль бы Господь "духъ страха Божія" на повиновеніе Симову жребію и Тафетову. Раби есте... Мы, Симовъ и Гафетовъ жребій, раби Божін, а вы, Хамовъ жребій, первѣе раби Божін, а потомъ раби наши, то-есть Симовы и Гафетовы. Воть какъ по-Божьему-то. А ныи'в не то,—ныи'в песья нога выше головы стала..."

Сочинения п. мельникова. т. г.

По особенностямъ своего таланта Мельниковъ — художникъ чистаго эпоса. Можно указать немного писателей, которые возвышались бы до такон предълной художественной объективности, до такого споконнаго повъствовательнаго безстрастія, какое отличаеть его и въ эпонеѣ и въ разсказахъ. Что-то поистинѣ гомеровское есть въ его манерѣ, и это сходство подкрѣпляется и нѣкоторыми частностями, въ родѣ готовности унти всѣмъ своимъ вниманіемъ въ какую-вибудь быговую частность, въ родѣ описанія, напримѣръ, пышнаго купеческаго обѣда. Неторопливо льется повѣсть, и читаешь Мельникова — точно слушаешь стараго и бывалаго дѣда, — спокойнаго, безстрастнаго, привыкшаго ничему не удивляться.

Дюбезности извѣстнаго библюфила и владѣльца чудесной сокровищницы искусства, И. Я. Дашкова, мы обязаны тѣмъ, что имѣли подъ рукою два объемистыхъ тома, вмѣстившихъ инсанный рукою самого Мельинкова оригиналъ извѣстныхъ частей романа "На горахъ", и раннія его рукониси, съ первоначальными планами романа-эпопен. На самомъ ночеркѣ инсателя, изумительно мелкомъ, тончаншими штрихами намѣчающемъ буквы, исторопливо выписывающемъ ихъ каждую раздѣльно по ровнымъ, илавнымъ линейкамъ, кажется, сказалась эта черта его писательскаго темперамента — его объективное спокойствіе, отсутствіе въ его творчествѣ взрыва, волненія, той судорожности, высшимъ представителемъ которой былъ у насъ Достоевскій.

Печерскій именно могь "работаті" надъ своимъ сказаніемъ, какъ работаетъ спокойный, уравновъшенный, все крѣпко сложившій въ головъ льтописецъ. Можно съ большою основательностью предполагать, что въ собственномъ смыслѣ "нангія", "вдохновенія", того состоянія, когда нервная рука едва успѣваетъ запечатлѣвать слова. — онъ не зналъ, по крайней мѣрѣ, тогда, когда выливалъ на бумагу своимъ бисернымъ почеркомъ созданіе мозга. Можегъ-быть, это было въ первой стадій его работы, — въ обдумываній и "вынашиваній" образовъ и сценъ.

Характерна и показательна въ эгомъ огношении и своеобразная манера писателя окончательно обработывать вещь въ корректурф. Мельниковъ иногда возвращалъ корректуру совершенно въ другомъ видъ, тъмъ она была набрана, и держалъ до шести корректуръ. Сохранившіеся листы его романа для "Русскаго В'ястника" испещрены его поправками до такой стенени, что правка почти стопла второго набора. Получавшій въ посл'єднее время отъ Каткова по 300 рублей за листъ. Мельниковъ разъ навсегда уступиль 25 рублей съ листа въ пользу наборщиковъ за право держать корректуру такъ, какъ онъ привыкъ.

Самъ онъ придавалъ большое значеніе фактору памяти въ своемъ творчеств'в. На своемъ юбиленномъ торжеств'в, уклоняясь отъ общихъ похвалъ, Мельниковъ самъ отмътилъ эту сторону своего писательства.

— Богъ далъ мив память, хорошую память. До сихъ поръ она еще не слабветь. Что ин видишь, что ни слышишь, что ни прочтешь, — все помишь. Какъ помишь, — самъ не знаю. А на роду было написано довольно-таки повздить по матушкв по святой Руси. И гдв-то ни доводилось бывать? И въ лѣсахъ, и на горахъ, и въ бологахъ, и въ тундрахъ, и въ рудникахъ, и на крестьянскихъ полатяхъ, и въ тѣсныхъ кельяхъ, и въ скитахъ, и въ дворцахъ, — всего и пе перечтешь. И гдв ни былъ, что ни видълъ, что ни слышалъ, — все твердо помню. Вздумалось мнѣ писать; ну, думаю, давай писать, и сталъ писать "по намяти, какъ по грамотъ".

Мельниковъ любуется всёми подробностями русскаго была, какъ лебитель, соприкасаетъ ихъ съ русской стариной, попутно разсказываетъ всю исторію какого-нибудь обычая, уводя съ собою читателя въ далекія, почти допсторическія времена, на какой-нибудь праздникъ Ярилы. Всё, попутно разсказываемыя имъ повёрья о кладахъ, картинки старииныхъ праздниковъ, приговоры и стихи отличаются точностью чисто-

научной передачи.

Въ историческомъ прошломъ онъ быль такимъ же увѣреннымъ хозиномъ, какъ и въ современности, и рѣдко кто могъ бы, подобно ему, описать современный пародный обычай — всѣ эти ярмарки у Макарья, жизнь золотоискателей или рыбопромышленниковъ, крестьянскія посидѣлки или алыстовскія радѣнья. Любовь къ такимъ бытовымъ вставкамъ, какъ и къ этнографическимъ описаніямъ, даже иѣсколько вредитъ Мельникову, какъ художнику. Избытокъ этихъ вставокъ во второй половинѣ труда его иѣсколько отягощаетъ чгеніе.

Сохранились изв'встія, что въ посл'яднихъ книгахъ "На горахъ" редакція "Русскаго В'ястника" допускала уже сильныя сокращенія текста. подъ предлогомъ нецензурности, что сильно огорчало и раздражало пи-

сателя.

Во всякомъ случат два первые тома "Въ лѣсахъ" остаются непревзойденными.

Преимущественно упирая въ бытовую сторону, Мельниковъ умѣль быть на высотѣ и въ чисто-драматическихъ сценахъ. Нужно прочитатъ въ "Лѣсахъ" главы признанія Марьи Гавриловны Алексѣю, или любовныхъ горей и радостей Флены, чтобы увидѣть, какимъ мастеромъ могъ быть онъ въ области чистаго "романа", какъ могъ схватывать зной и трепетъ молодой, долго сдерживаемой страсти.

Настоящимъ, ненанграннымъ трагизмомъ вѣетъ отъ зарисованныхъ имъ картинъ смерти и похоронъ Насти, или смерти Оленушки, постриженія Фленушки, воровства кроткои красавицы Марьи Гавриловны милліонщикомъ-старикомъ изъ-подъ поса у любимаго ею человѣка, отъ исихологіи Дуни, вступающей въ хлыстовскую общину.

Искусство живописать женскую душу— совсымь особенное искусство, часто ускользавшее даже оть очень талантливых в людей, было въ вы-

сокой мёрё присуще Мельпикову. Дівичью "кручину", дёвичьи мечты онь рисуеть такими мягкими, нежными красками. Чутко попяль онь красоту души русскои женщины съ ея вѣчною привязчивостью и всегдашиею готовностью на трогательное самоотречене. Вспоминте Оленушку ("На горахъ"), на смертномъ одрѣ завѣщающую своему мужу взять въ жены дъвушку, которая — она върнтъ — поддержить вдоваго мужа и подниметь спротку-дъвочку. Вспоминте самоножертвование Фленушки, утьшающей покинутаго Самоквасова возможностью его счастья съ Дунеи, или Груню, идущую за старика, чтобы поднять его дітей.

"— Какъ же такъ? Нешто пойдень за старика? — удивленно спращи-

васть вскормившій Груню Чануринь.

"— Пойду, тятя. Онъ добрын... Да мит не онъ... Мит бы только сиротокъ призрать...

"— Да въдь онъ старый! Тебъ не ровня!

"- Старъ ли онъ, молодъ, - по миъ все одно: не за него, - ради бълныхъ спротъ".

Здёсь писатель сумёль подсмотрёть самыя прекрасныя движенія русской женской души.

X.

Второе мѣсто въ литературномъ наслѣдствѣ Мельникова занимаютъ его разсказы. Ихъ немного, но сами по себф они давали бы право ихъ автору, если бы овъ ограничился только ими, на совершенно опредъленное

масто въ нашей литература.

Въ этой области Мельниковъ удивительно близко подходить къ Салтыкову, въ частности, къ его "Губерискимъ очеркамъ". Подобно Щедрину, Печерскій рисуеть здісь дореформенную русскую кривду со всею открытостью честнаго писателя и освъдомленностью человъка, не по слуху, но лицомъ къ лицу видъвшаго мрачныхъ героевъ русскато разоренія. Характерно, что оба писателя выступили на это поприше обличенія одновременно.

Длинный рядъ медкихъ администраторовъ - взяточниковъ, старыхъ "приказныхъ крючковъ", отпрысковъ "крапивнаго сфмени", проходитъ здьсь передъ читателемъ. Даръ высокой объективности и высокое чувство мары служать здась Мельникову чудесную службу. Онъ издась такъ же, какъ всегда, спокоенъ, не возвышаетъ голоса, не поддается гивву или возмущению. Оть этого получается впечатление полнаго историческаго безпристрастія, и ни на минуту краски не кажутся стущенными, а фактъ преувеличеннымъ.

Проходить туть передъ вами старый судъ съ своими "посулами" п "даяніями", приговаривающій непрактическаго человіка къ пені, разоряющей его на всю жизнь, а рядомъ другого, болѣе "предусмотрительнаго", отпускающий чуть ли не съ наградой, т.-е. съ такими "ограниченіями" въ правахъ, которыя для всякаго были бы благод вяніемъ.

"— Не будутъ тебя въ свидътели брать, не станутъ на мірской сходъ пускать, ни въ головы, ни въ старшины, ни даже въ сотскіе аль въ десятскіе не станутъ тебя выбирать".

Какъ послѣ такихъ "каръ" счастлпвому Прошкѣ, совершенно уподобившемуся щукѣ, которую въ паказаніе бросаютъ въ воду, — не упасть

въ ноги судьямъ и не возопить:

"— Отцы мон родные, ужъ коли такія есть до меня вании милости, — нельзя ли принисать, чтобы и подводъ-то съ меня не брали!..." ("Дъдушка Поликарпъ").

Дальше передъ вами обиралы-пристава, сдёлавшіе себё доходную статью изъ паёздовъ на раскольничьи скиты, при чемъ каждый сопровождается хорошею взяткой за молчаніе и картипами безумнаго перепуга монашенокъ, хватающихъ антиминсы за пазуху или сосуды въкарманъ ("Поярковъ").

Еще дальше—произведенный въфальшивомонетчика честный торговый человъкъ, котораго по дьявольски подстроенному обвинению готовы уже сослать въ Сибирь, и сослали бы, если бы не "сладились" на выгодной

"мздѣ".

Вотъ "умный" провинціальный администраторъ, положившій суммы, отпущенныя на ремонтъ моста, въ свои карманъ, а мостъ только постругавшій и закрывшій для профада на три года ("Медвфжій уголь"). Вогъ начальникъ почтовой конторы, собирающій съ обдияковъ гривенники за "почту" и бросающій письма подъ поль, даже не распечатывая ихъ, если они не денежныя ("Непремънный"). Вотъ драма несчастнаго крестьящина, котораго чуть не ссылають на каторгу за то, что онъ двфиадцать лътъ "царскаго орла жегъ", т.-е. не скрыль, что въ его печкъ оказался киринчъ съ орломъ, взятый совершенно законнымъ образомъ съ дворцовой стройки ("Бабушкины розсказин").

Всв разсказы Печерскаго носять такой обличительный характерь. Не рознять съ ними и такіе разсказы, какъ "Красильниковы", рисующіе непроходимую "дремучину" души купца-провинціала, разрушившаго счастье своего сына. Противъ своей воли давшій ему университетског образованіе, темный родитель губить его потомъ, когда тотъ женитем на иновъркъ. Здъсь вы сталкиваетесь опять съ тою же темною силои, съ тою же философіей Илатонидъ и Манеоъ, какая разрушала счастье

героннь скитскаго царства.

Духъ протеста противъ отвратительныхъ формъ отживающей старины властно въсть надъ разсказами Печерскаго. Не удивительно, что, съ грѣхомъ пополамъ прошедшіе въ свое время цензуру, эти разсказы, собранные въ цѣльную книгу, дали въ свое время (1858 г.) настолько сгущенное впечатлѣпіе, что томикъ, уже пропущенный московскимъ цензоромъ, подвергся запрещенію петербургскаго цензурнаго комитета. Въ автографахъ И. Я. Дашкова сохранилась подлинная, писанная рукой Мельникова, обложка сборника. Разрѣшеніе цензора Краузе и печать

его зачеркнуты. Вийсто этого поперекь листка написана зловищая резолюція: — "Возвратить издателю безь одобренія".

Случай, почти безпримърный въ лътописяхъ даже нашей, видавшей вилы цензуры!..

Въ смыстъ изученія Мельникова очень любопытенъ разсказь изъ раскольничьей жизни "Гриша" — первое пророчество о будущей грандіозной эпопеть. Майковъ обдѣлалъ его въ стихотворную поэму. Психологически онъ очень интересенъ своимъ анализомъ религіозно-экстатической души простеца. Этотъ анализъ можетъ объяснить многое педоговоренное въ доманахъ Печерскаго.

Если тамъ иногда читатель можеть задуматься надъ вопросомъ, гдѣ же лежатъ корин рабскаго подчиненія человѣка волѣ "стараго закона" и церковной книги, то здѣсь онъ видитъ воочію, какою иногда попаляющею лавой наполнено сердце русскаго человѣка, "взыскующаго града грядущаго", какъ мучительно и пламенно можетъ быть въ немъ исканіе живого Бога и Его правды и страстенъ порывъ отъ земной "скверны".

Изжная, кристально-чистая, хрупкая, какъ цвътокъ, душа юноши Гриши здъсь вся охвачена тъмъ религіознымъ горъніемъ, которое устремляло Осодосіевъ въ нечерскія катакомбы и гонить сейчасъ темныя крестьянскія души въ сектантство, "на подвигъ" и на готовность "пріять" хоть смерть за свое исповъданіе.

Благородивиний матеріаль, душа, которой мерещится небо и святость, брошена безнощадными условіями русской дѣйствительности въруки грубаго хищника, и чистыи, милый юноша, подвигу котораго, можеть-быть, удивился бы міръ, — въ Россіи становится только соучастникомъ преступленія — во имя Бога и Божьей правды.

Мельниковъ одинъ изъ нервыхъ нодошелъ къ этой страшной, типично-русской трагедіи "богонскательства" съ понаданіемъ на мертвую точку отчаннія въ условіяхъ страшной дѣствительности, – той трагедій, къ которой подходили всѣ наши большіе писатели, вилоть до Достоевскаго и Толстого, и послѣдняя страница въ которой для современпости представлена "Исповѣдью" Горькаго.

Особое мѣсто въ ряду повѣстен Мельникова занимають его "Старые годы", колоритная картина жизни стараго дворянства со всею разнузданностью его нрава и похоти, съ чудачествами и самодурствомъ, съ фарсами, близкими къ драмамъ. И по задачѣ своен, и по по гробностямъ выполненія, и по яркости красокъ эта повѣсть вызываетъ въ памяти такую же поэму стародворянскаго разгула и прихоти, оставленную Лѣсковымъ ("Старые годы въ селѣ Плодомасовъ").

Это ноистинв "глубоко-поэтическая панихида надъ нашими безпутными годами", какъ выразился объ этоп повѣсти одинъ изъ старыхъ критиковъ. Старыя "забавы" необузданныхъ русскихъ феодаловъ, вылускавшихъ "шутки ради" костолома-медвѣдя на элополучнаго однодворца, одинъ-на-одинъ, или мазавшихъ медомъ пятки какого-пибудь приживальщика и прихлебателя, чтобы потомъ ихъ лизалъ козелъ до той минуты, пока несчастный чуть не умпралъ въ корчахъ щекотки, — проходятъ здъсь передъ собременнымъ читателемъ, какъ какой-то далекій, жуткій сонъ.

Веноминте, наприм'яръ, сцену именить зат'яйника-киязя, когда, ради ут'яхи званыхъ гостей, въ княжескія хоромы собирають красавиць-кр'я-постныхъ съ ц'ялой вотчины. Разод'ятыя красавицы иляшуть ц'ялую ночь, потышая "господъ".

"Заря въ небѣ зарумянится, а въ навильонѣ пѣсни, плясъ да попойка. Воеводы, губернаторъ и другіе большіе господа, — кто пляшеть, кто пость, кто чару пьсть, кто съ богиней въ уголку сидить. Самъ князь Алексѣй Юрынчъ напослѣдокъ съ Дуняшей казачка поидеть.

"— Эй, вы, римляне! — крикистъ подъ конецъ: — похищай сабииянокъ, собаки!

"И суватить каждый гость по дёвочкё: кто посильнёй, тоть на плечо красоточку взвалить, а кто въ оханку ее. А князь стансть средь комнаты да ту, что присляпулась, перстикомъ къ себё и поманить..."

То старина, то и дъянье...

Несмотря на то, что надъ разсказами Печерскаго пронеслось уже полвѣка, они удивительно свѣки и почти инчуть не устарѣли въ смыслѣ беллетристическихъ пріемовъ. Въ свое время оди естественно являлись мастерскими по техникѣ и справедливо сопершичали съ первыми обличительными разсказами Щедрина.

По сравненю съ этими ранними разсказами блёдны и "Кияжна Тараканова", скорѣе конспектъ историческаго романа, чѣмъ романъ, и отрывки, извлеченные изъ бумагъ писателя. Онъ не усиѣлъ придать

этимъ вещамъ художественную форму.

Изследованія Мельникова о поповщине, безпоновщине и т иныхъ сектахъ всегда высоко ставились знатоками. Известно, что нашъ писатель создаль въ литературе о расколе цёлую школу, получившую ими "мельниковской", въ противовесть "щановской". Время доказа ю, насколько праве былъ Мельниковъ, видевшій въ расколе резигіозно-бытовое, а отнюдь не политически-демократическое явленіе. Какимъ великоленнымъ знатокомъ раскола былъ Мельниковъ, можно видеть уже изътого, что такои мастерь этого дела, какъ Лесковъ, гордился темъ, что онъ "ученикъ Мельникова".

Чуждыя сухости и высоко интересныя изслѣдованія эти любопытны еще какъ живои комментарій кътипамъ, выведеннымъ Мельниковымъ въ его романѣ и повѣстяхъ.

XI.

Намъ осталось сказать ивсколько словъ о вившией стороив жизни Нечерскаго. Павель Ивановичь Мельниковь родился 22 октября 1819 года въ Инжнемъ-Повгородъ. Отецъ его былъ сотепнымъ начальникомъ милицін, а подъ конецъ жизни служилъ въ гарпизонъ. Родъ Мельниковыхъ до-

вольно старын, хотя и не значится въ разрядныхъ книгахъ.

Свое дітство писатель провель по большей части въ городії Семеновії. Еще въ раниен юности онъ потеряль отца и мать. Но окончаній Нижегородской гимназій онъ поступиль въ Казанскій университеть, не им'я еще узаконенныхъ для поступленія шестнадцати л'ять. Въ 1837 году онъ кончиль курсъ и быль оставленъ при университетії. Какое-то бурное проявленіе молодости на одной изъ тогдашнихъ студенческихъ пирушекъ было причиною того, что опъ, по распоряженію казанскаго понечителя, какъ "за провинность" быль назначенъ убзднымъ учителемъ въ захолустный Шадринскъ, Пермской губерній, и немедленно "при университетскомъ солдатії" отправленъ въ Пермь.

Только благодаря "милости начальства" онъ быль оставленъ здѣсь учителемъ исторіи и статистики въ гимназіи. Это раннее увлеченіе, видимо, осталось намятнымъ для Мельникова на всю жизнь. Вся дальнѣишая его біографія, вся служебная его дѣятельность говорять уже о совершенномъ отсутствіи съ его стороны какихъ-либо "увлеченій".

Съ Перми начались добровольныя странствованія Мельникова по Руси, связанныя съ опредъленною задачею изученія быта русскаго народа. Такъ, онъ фздиль на Уральскіе заводы, пща сближенія съ народомъ.

Въ 1839 году онъ переведся въ Инжегородскую гимназію, гдѣ пробыть слишкомъ шесть лѣтъ. Здѣсь онъ сблизился съ мѣстнымъ архіепископомъ Таковомъ, знатокомъ исторіи и раскола, и познакомидея съ М. П. Погодинымъ и В. И. Далемъ. Это окончательно повернуло его въ

область исторіи и литературы.

Любовь къ чтенію и литератур'в сказалась въ немъ вообще очень рано. Уже десятитктній, онъ переписываль въ свои тетради по линей-камъ стихи Пушкина, Жуковскаго, Баратынскаго, Дельвига. Теперь онъ діятельно принялся за изученіе старины. Къ 1839 г. относится пом'вщеніе имъ въ "Отеч. Запискахъ" перваго своего произведенія: "Дорожныя записки".

Въ слъдующемъ году въ "Литературной Газетъ" появилось первое беллетристическое его произведение: "О томъ, кто такой Елиндифоръ Перфильевичъ", — совершенио юношеская попытка подражания Гоголю.

Посл'в двізнадцати літь молчанія, въ 1852 г. въ "Москвитянинів" были напечатаны его "Красильниковы", откуда, въ строгомъ смыслів, и начинается настоящая писательская дізятельность П. Н.

Разысканія въ нижегородскихъ архивахъ дали И. И. званіе членакорреспондента археографической комиссіи, отчеты же его по исполненію нѣкоторыхъ порученій по дѣламъ раскола сдѣлали его ими извѣстнымъ министру внутреннихъ дѣлъ. Уже въ послѣдніе годы царствованія императора Пиколая онъ сталъ первымъ авторитетомъ по дѣламъ раскола. Справедливость требуеть сказать, что, сынъ своего вѣка, Мельниковъ раздѣлялъ взглядъ правительства на необходимость жестокихъ мѣръ въ отношеніи раскола. Практически осуществляя иѣкоторыя административныя порученія по обнаруженію и пресѣченію раскола, онъ являлся не болѣе, какъ строгимъ и, пожалуй, черезчуръ ревностнымъ чиновникомъ.

Въ началѣ новаго царствованія Мельникову было поручено составленіе всеподданиѣйшаго отчета. Въ запискахъ о расколѣ, поданныхъ имъ теперь, онъ предлагалъ мѣры шпрокой терпимости. Его секретное изслѣдованіе постановленій о расколѣ не стало достояніемъ свѣта. Поздиѣе онъ завѣдывалъ внутреннимъ отдѣломъ офиціальной "Сѣверной Пчелы", сотрудничаль въ "Моск. Вѣдомостяхъ" и "Русскомъ Вѣстикъ". Большая литературная извѣстность пришла къ нему съ появленіемъ первыхъ частей "Въ лѣсахъ". Романъ этотъ написанъ имъ въ отвѣтъ на предложеніе цесаревича Пиколая Александровича, которому однажды пришлось во время путешествія услышать увлекательный разсказъ И. И. о бытѣ и повѣрьяхъ Поволжья. Посвященъ онъ былъ наслѣднику цесаревичу Александру Александровичу. Это произведеніе принесло Мельникову славу и полное обезпеченіе.

Последнее десятилётіе жизни П. И. провель частью въ своемь имёній подъ Пижнимъ, селё Ляховё, частью въ самомъ Пижнемъ. Уже съ 1882 г. онъ былъ разбить параличомъ, съ трудомъ произносилъ слова, постоянно забывался и не могь держать въ рукё даже папиросу. Затёмъ отнялся языкъ, явилась несвязность рёчи, и 1 февраля 1883 г. творца "Въ лёсахъ" и "На горахъ" не стало.

Ногребенъ онъ на самомъ краю Никняго, близъ Оки, въ Крестовоздвиженскомъ монастыръ.

Четверть вѣка пронеслась надъ Мельниковымъ-Печерскимъ. Больше четверти вѣка надъ его сочиненіями. Это такой срокъ, за которым умираютъ иѣкоторыя литературныя величины. Наслѣдіе Мельникова живо и цѣнно попрежнему, и если какая перемѣна произошла съ нимъ, то только та, что бываетъ съ крупными бытописателями: изъ беллетристовъ современности Мельниковъ сталъ писателемъ историческимъ.

Все то, что описывать онъ, уже отошло въ исторію. Уже иётъ скитовъ на томь мість, гді они стояли. Свистять локомотивы, и змісю вьются поізда тамъ, гді высились раскольническія часовни съ осьмиконечными крестами и стояли тихія кельи скитницъ. Уже не правы Чапуриныхъ отличають нынёшнихъ поволжскихъ "богатеевъ", изъ которыхъ иные приблизились къ типу сумбатовскаго "Джентльмена". Еще дальше въ исторію отошли провинціальные взяточники и подьячіс, описанные въ его разсказахъ...

Все это уже стоитъ въ перспективѣ исторіп, все это "миновало". Но

сивый всему этому "отходную" Мельниковъ живъ и красоченъ, питересенъ и поэтпченъ, и назвать его пмя — значитъ проникнуться обаяпіемъ красивой русской старины, вспомнить умершій бытъ русскаго купечества —

> Раскольниковъ скиты заповёдные, Натріархальность мирныхъ ихъ семей, Обряды ихъ; вдоль Волги въковые Лѣса и ширь спиѣющихъ степей, Затворищъ юныхъ иъсни хоровыя И ихъ любовь въ тиши монастырей...

Немпогіе изъ писателей непервоклассныхъ сохраняють въ исторіи такой цѣльный и своеобразный обликъ...

А. Измайловъ.

КРАСИЛЬНИКОВЫ.

Изъ дорожныхъ записокъ.

T.

Въ увздномъ городв С. остановились мы посмотреть на извъстные кожевенные заводы Красильникова. Нетрудно было огыскать домъ богатаго заводчика, каменный двухъэтажный, лучшій во всемъ городв; стоптъ онъ педалеко отъ древняго собора, обезображеннаго пристройками въ «новъйшемъ» вкусв.

Въ верхнемъ жилъв, въ окнахъ съ цвльными зеркальными стеклами, стояли исзатвйливыя гинсовыя изображенія Вольтера, Суворова, поднявшей чуть не выше головы правую ногу Тальони, зеленаго попугая съ коричневымъ носомъ и разноцявной кошки, съ головой, качавшейся при малъйшемъ прикосновеніи. Въ середнемъ окив виднѣлись дорогіе броизовые часы, а стекла другихъ зальилены были выръзанными изъцявтной бумаги подобіями лошади и чего-то въ родъ буквы ф, съ раздвоеннымъ нижнимъ концомъ и трехугольой съ перьями наверху. Въ нижнемъ жильв въ окна вдъланы были толстым желъзным ръшетки, а стекла силошь выбиты. На цоколь краснымъ карандашомъ въ пъсколько рядовъ писаны бирочные знаки: кресты, кружки, черточки — открыгая на весь мірърасходная книга приказчика, отпускавшаго кому-то опойки.

Ворота были заперты. Я стукнулъ тяжелымъ желѣзнымъ кольцомъ о дубовое полотно калитки: раздался сильный дай цѣнной дворняжки, и въ подворотнѣ показались три собачы морды, скаля зубы и заливаясь глухимъ ревомъ. Щеколда изнутри стукнула, и краснолицая, курносая дѣвка-чернавка, вершковъ одиннадцати въ отрубъ, одѣтая въ засаленный московскій сарафанъ изъ пвановскаго ситца, просупулась до половины и опросила насъ:

- Кого вамъ надоть?
- Корнила Егорычь дома?
- А отдыхаеть: сейчасъ пообъдамии.
- Когда его можно застать?
- А не знаю же я... Да вы откелева будете?
- IIзъ II...
- Я назвалъ губернскій городъ.
- По кожу, аль по сало?
- Пётъ... Такъ нужно хозянна повидать. Когда застать-то?
- Не вѣду. Спрошать развѣ Марью Андревну, коль не започивала.

Заперла дѣвка-чернавка калитку, ушла. Воротясь минутъ черезъ пять, сказала:

Въ вечерню приходите, не то завтра послѣ ранией обѣдни.

— Пу, завтра такъ завтра.

Мы съ путевымъ товарищемъ хотвли-было идти на постоялый дворъ, гдв остановились за неимвньемъ въ С. гостиницы; но двака-чернавка еще разъ спросила насъ, должнобыть, для удовлетворенія собственнаго любопытства:

— А сами-то вы изъ какихъ будете? Приказчики, что ли, чьи?

— Изтъ, не приказчики.

— Кто же вы?

- Чиновные.

— Изъ судовъ?

— Отъ губернатора.

Это слово им'вло чародъйную силу: не прошли мы ста саженъ, какъ за нами послышались крики:

— Обождите-ка, воротитесь-ка! Корнила Егорычъ васъ клик-

нуть вельлъ.

Босоногая дѣвка-черпавка бѣжала во всю прыть. Ее перегоняли собаки, одна вцѣпилась въ полу моего спутника.

— Лыска! Лыска! цыма-те! Экой пострѣлъ, кабанъ прокля-

тый!-кричала изо всей мочи довка-чернавка.

П, схвативъ валявшуюся на улицѣ слегу, принялась колотить направо и налѣво косматыхъ стражей Корнилы Егорыча. Собаки завизжали и побѣжали домой. Путеводимые спасительницей отъ ихъ ярости, вошли мы на дворъ Красильникова, обошли парадное крыльцо, гдѣ обглоданные мослы и сбитое сѣно указывали на жительство враговъ нашихъ, и тенерь еще исподтишка бросавинхся подъ ноги. Обогнувъ уголъ дома, но задиему крыльну вошли мы наверхъ, нагибаясь подъ протянутыми веревками, развѣшанными для просушки бѣлья. По всему двору крѣнко пахло дегтемъ и кожей.

Темными закоулками провела насъ девка-чернавка въ обширную комнату — въ «залу» и, молвивъ, что хозяниъ сей-

часъ выйдетъ, ушла.

По убранству компаты видно было, что Корнила Егорычь человькъ домовитый и, разбогатьвъ, изъ кожи льзъ, чтобъ на славу украсить жилище свое: денегь не жальль, все покуналь безь разбору, илатиль втридорога, и все невпопадъ. Отделавъ стены подъ мраморъ, раззолотиль каринзы, настлаль дубовый мелкоштучный паркеть, покрыль его шелковыми коврами, надъ окнами развесиль бархатныя занавёси, а на ствну наклеилъ литографию Василья Логинова, въ углу новъсиль клътку съ перенеломъ, а на окнахъ между кактусомъ и геліотрономъ въ полуразбитыхъ чайникахъ поставиль стручковый перець да бальзаминъ. Мебель въ гостиной за дорогую цену куплена была въ Петербурге да еще наперебой съ какимъ-то вельможей; но спитые изъ поношеннаго холста съ крашенинными заплатами чехлы снимались съ нея только въ Свътлое Воскресенье да въ хозяйскія именины. Въ великолѣпныхъ лампахъ, разставленныхъ по столамъ и по угламъ, масла съ розу не бывало, да во всемъ С. и зажигать-

то ихъ тогда еще никто не умълъ.

Неправычно Корнилъ Егорычу ходить по мелкоштучному паркету, не ум'ьеть онъ ни състь ни стать въ компатахъ, сгроенныхъ не на житье, а людямь на показъ, робфетъ громко слово сказать въ виду дорогихъ своихъ мебелей. Душно ему въ своемъ домъ, сбылась надъ нимъ пословица: «Своя воля страшиви неволи». Осторожно пробираясь межь затвиливыми диванами и креслами, ровно изгнанникъ бъжитъ Корнила Егорычъ изъ раззолоченныхъ налатъ въ укромный уголокъ, чужому человъку недоступный. Тамъ на теплой изразцовой лежанкв ищеть онь удобствь, какихь не сыскать въ разубранныхъ комнатахъ. Воть у лежанки стоитъ сосновый, крѣнкой водкой травленный столь подъ ярославской салфеткой; на пемъ счетная, псалтирь и «Московскія Вѣдомости»; у стола стулъ-складень: привыкъ къ нему Корнила Егорычь, еще сидя мальчишкой въ чужой лавки. Вотъ двуспальная кровать съ иуховикомъ чуть не до потолка и съ дюжиной подушекъ: крвико спится на ней Кориилъ Егорычу. Воть кафельная печь съ поливными фигурами балахонской работы: ровно баню, грветь она завътный уголь хозянна и приглядный ему быломраморныхъ стънъ залы и бархатныхъ обоевъ гостиной. А часовь съ кукушкой, что повъшены противъ кровати, не отдасть онъ за двъ дюжины дорогихъ часовъ, что на мраморпомъ подставъ красуются у средняго окна гостиной. Добровольно, по подчасъ съ досадой, жмется Коринла Егорычъ въ
тѣсной мурьѣ — хватилъ бы все по боку и зажилъ бы, какъ
хочется — да пельзя!.. Какъ отъ людей отстать? Попалъ въ
стаю — лай не лай, а хвостомъ виляй... Еще скрягой прозовутъ. Зато разъ отведена была у него квартира иля губернатора. На прощаньи генералъ сказалъ хозяниу: «Ну, Коринла
Егорычъ, домикъ-то у тебя на славу отдѣланъ — мебель хотъ
во дворецъ». И счастливъ и доволенъ былъ Коринла Егорычъ и сторищей вознагражденъ за досадныя минуты, когда,
проходя бочкомъ мимо дорогихъ мебелей, думаетъ самъ про
себя: «И на какой шутъ, прости Господи, такіе стулья надѣланы? Сѣсть порядкомъ нельзя—безъ споровки провалишься
совсѣмъ».

Не страино въ залѣ Корнилы Егорыча встрѣтить и логиновскую литографію, и стручковый нерець, и перепела въ клѣткѣ изъ лутошекъ. Дороги они хозяпну, добровольному заточеннику въ золотой тюрьмѣ своей. Вспоминали они ему былое, бѣдное, но свободное отъ несроднаго житья-бытья время — время молодости, когда жилось веселѣй, а на свѣтѣ Божьемъ было просториѣй и все смотрѣло яснѣй и радостнѣй. Кромѣ перепела да перца, остальное было чуждо, несродно хозяпну: здѣсь ему и свое не свое, здѣсь и самъ онъ ровно на выставкѣ — міру на показъ. Ничего для себя; все для чужихъ; даже гинсовыхъ Вольтера съ попугаемъ поставилъ онъ передомъ на улицу.

По лицу вышедшаго къ намъ Корнилы Егорыча видно было, что могучее слово «отъ губернатора» оторвало его отъ дорогой лежанки. Замътно было, что одъвался онъ наскоро; золотыхъ медалей однакожъ не забылъ надать. Это былъ широкоплечій старикъ средняго роста, волосы совсёмъ почти бѣлые, борода маленькая, клиномь, глаза подстви ватые, но живые, выразительные. По суровому сблику его видно было, что это старикъ своеобычный, крутой; а розсынью глядавшие глаза обличали въ немъ человъка, что всякаго проведетъ и выведеть. Но въ этомъ хитромъ, бъгающемъ взоръ крылась какаято грусть затаенная. Туманилось лицо Кориилы Егорыча горемъ душевнымъ, еще не выпошеннымъ, не выстраданнымъ. День меркиеть ночью, человъкъ печалью, а горе борозды по лицу проводить. Казалось, и Коришть Егорычу не годы убълили голову, а душевное горе. Оно не молодить, а косицу бѣлитъ.

— Покорно просимъ! - сказалъ Корпила Егорычъ. — Извините, позадержалъ: соснуть было-прилегъ.

И, при воспоминаньи о лежанкъ, зъвнулъ, набожно пере-

крестивъ ротъ. Мы извинились, что потревожили его, сказали свои имена и показали открытый листъ начальника губерніи, гдѣ было сказалю, что прівхали мы изъ Истербурга отъ министра внутреннихъ дѣть для собранія статистическихъ свѣдѣній. Послѣ того я попросилъ хозяйскаго дозволенія взглинуть на его кожевенный заводъ.

Безъ чашки чаю, безъ рюмки випа, безъ закуски отъ русскаго купца стараго закала никому не уйти. Старинное хлъбосольство не чуждо было и Корнилъ Егорычу. На столахъ появились вино, закуска, разныя сласти. Приказчикъ, стриженный въ скобку, въ длиннополой суконной сибиркъ съ борами назади и съ сильнымъ запахомъ кожи, подаль чай. Ръчь ила про торговлю.

— Ќожа илохо пошла! — говориль Кориила Егорычъ. — Въ прежни годы въ одну Одессу мы втрое больше ставили, въ Ливурну отголъ возили; теперь стало дъло, да и ша-

башъ.

-- Отчего-жъ такъ, Коринла Егорычъ?

— Сырьемъ повезли. У иностранцевъ, я вамъ доложу, на этотъ предметъ руки золотыя— не нашимъ чета. Нашъ братъ русакъ смѣткой взялъ, а нѣмецъ— териѣньемъ. Да въ нашейто смъткъ горе проявилось, да не одно, цълыхъ три... Русскій человікъ на трехъ сваяхъ стоить: авось, небось да какънибудь. Намъ бы тянъ-лянъ — и корабль, а тамъ — ивтъ-съ, тамъ на этотъ счетъ все въ акуратъ... Къ примъру хоть кожа: что наша русская кожа? Вонъ на дворь партія юхты лежить на урюнинску заготовиль — разваляйте-ка возъ: тутъ подръзь, туть гипль мясная, а туть и все дырье... Отчего?.. Оттого, что платишь рабочему поштучно, онъ тебе и делаетъ какънибудь, одно норовить: больше бы кожъ обрядить... Да какъ пошель ножомь съ плеча валять, туть ему не до подрѣзей. Небось, говорить, хозяннь не запримътить. А хозяннь, нашъ брать, не въ печку же ему бросать порчену кожу: авось. думаеть, на ярманкв сбуду. А какъ рабогникъ-оть двлаеть какъ-нибудь да хоронится за небось, да какъ и хозяннъ-отъ на авоські въ ярманку вытіжаеть — добра не жди. Правду надо говорить!.. Вотъ за границу наша кожа и нейдетъ, а сырье иностранцы съ рукамъ готовы рвать. Изъ русскаго сырья они такую теб'в кожу сработають, что нашей-то въ носъ кинется. Вотъ отчего, сударь, стала наша кожа. Красна юхта покуда еще пдетъ — это особь статья, эта завсегда пойдеть; у насъ березы-то не занимать стать, а за границей чуть не каждый сучокъ на перечетв.

— Какъ же сбыть юхты зависить отъ березы?

— Березы нѣть — дегтю пѣть; а безъ дегтю хорошей юхты пе сдѣлать.

Перешель разговоръ на смуты, возникшія въ то время на Западъ.

— Въ Венгріи, кажется, война будеть,— сказаль я:— для тамошнихъ войскъ кожа потребуется, нашей попросятъ...

— Пуда не попросять. Пошли бы туда наши кожи, сжели бы тамъ има война по Бежьему велёнью, сталь бы царь на царя, законъ на законъ. Тогда бы пошла... А теперь что намъ?.. Законная разв'ё война... Бунть богопротивный, усобица...

Подерутся и босикомъ!..

Таковы рѣчи Корнилы Егорыча. А учился за мѣдпу полтину у приходскаго дьячка, выѣзжалъ изъ своего городка только къ Макарью на ярмарку, да будучи городскимъ головой раза два въ губернскій городъ—ко властямъ на поклонъ. Кромѣ исалтыря, чети-минеи да «Московскихъ Вѣдомостей», сроду ничего не читывалъ, а говорилъ, ровно книга... Человъкъ бывалый. Природный, свѣтлый умъ бралъ свое. Заговорили о развитии торговли и промышленности.

— Чтобъ дёло торговое шло, — молвилъ Корнила Егорычъ: — надо, чтобъ ему не дёлали пом'єхи, а пуще того, чтобъ ему не помогали, на казенну бы форму не гнули. Не приказное это дёло: въ форменну книгу его не уложишь. А главная статья — сноровка... Везъ сноровки будь каждый день съ барыномъ, а вёкъ проходишь нагишомъ. А главн'я всего — Божья воля: благословитъ Господь — въ отрепь деньгу найдешь; безъ Божьяго благословенья корабли съ золотомъ ко дну пойдутъ.

— Такъ, Корнила Егорычъ, слова ивтъ на вашу рвчь: Божье благословенье первое двло; но, клжется, вы еще одно

позабыли.

— A что-жь такое?

— Науку, просвѣщеніе.

Нахмурился Красильниковъ, помолчалъ и такую рѣчь повель:

— Просвёщеніе!.. Это что въ книгахъ-то пишутъ?.. Эхъ, сударь! мало-ль что пишутъ да печатаютъ! Супротивъ нечатнаго не соврешь. Перо скрыпитъ, бумага молчитъ да все терпитъ... Вотъ, примъру ради, промысла хотъ, что ли, взятъ? Пишутъ да печатаютъ, что въ гору они пошли... Ръчи нътъ, прытко идутъ, шагаютъ широко, да не такъ, какъ пишутъ. Не въ ту силу говорю, что наша промышленность тише идстъ супротивъ того, какъ про нее печатаютъ: нътъ-съ, можетъ, она и попрытче того идетъ, а про то я говорю, что пишутъто нескладно, пеладно, ровно чортъ шестомъ по Пеглинной...

Воть въ «Вѣдомостяхъ» какъ-то разъ я про нашъ уѣздъ вычиталъ. Пишетъ какой-то баринъ — видио, такой же, что и вы: тоже свѣдѣнья собпралъ—пишетъ, что въ запрошломъ году и скота у насъ стало больше и крестьянскій промысель въ гору пошелъ; а видио-де это изъ того, что на базарахъ скота больше продано, саней и всякаго другого крестьянскаго издѣлья.

— Что-жъ, Корнила Егорычъ? Развѣ базарная торговля не

можеть показать степень крестьянскихъ промысловъ?...

— Врядъ ли, сударь! По-нашему, не можетъ... Вотъ хотъ бы пашу сторону взятъ... Сторона гужевая: отъ Волги четыреста, отъ Оки двъсти верстъ, ръки, пристани далеко — надо все гужомъ. Вотъ въ запрошлый годъ и уродились у насъ хлъба вдоволь, а промысла на ту пору позамялись... Мужикъ волкомъ и взвылъ, для того, что ему хлъбомъ одиниъ пе прожитъ... Крестьянско житье тоже деньгу проситъ. Спаси, Гоечоди, и помилуй православныхъ отъ педорода, да избавь, Царю Небесный, и отъ того, чтобы много хлъба родилось.

— Какъ такъ, Корнила Егорычъ?

— Да такъ-съ. Мы люди простые, зато седьмой десятокъ доживаемъ — всего пасмотрились. Привелъ Господь смолоду, когда еще въ бъдности находился, и голодъ изжить: макуху, дуранду, мезгу сосновую вли. И урожан видаль. Такъ ужъ я и знаю, что переродъ хуже недорода, что здѣшнему гужевому крестьянину не то біда, что гумпо не полно, а то горе великое, ежели работа замнется, промыслу не хватить, да на ту пору хльбъ въ низкой цьнь станетъ. Въ запрошлый годъ хльбъ-отъ здысь по полтины быль ассигнаціями. Серебряный иятиалтынный, значить, безъ семитки... Подушныя мужику надо платить: вези, значить, три воза за двёсти версть до пристани, для того, что по осени да по первозиминъ на мъстъ покупщиковъ ни души. Ну, и вези да считай, много-ль дорогой-то денегь прохарчишь... Да что подати?.. Подати у насъ. слава Богу, не больно еще тяжелы; такъ въдь не на однъ подати мужику деньги нужны: надо упряжь справить, надо кушакъ купить, шапку, платокъ женв, въ храмовой праздинкъ винца хльбнуть, а тамъ еще свадьбы да родины, молебны да крестины, попъ съ праздинчнымъ придетъ — ему хлѣбъ-отъ хлѣбомъ, а деньги деньгами. А какъ въ урожайный годъ хльбъ-отъ подешевьсть да промыслы-то ухнуть, и ньть ихъ совсёмь, заработки-то нойдуть дешевые, у мужика изъ рукъ все и отобьется. А на ту пору староста въ окошко стучить, «оброкъ, говорить, подавай». — «Денегь нѣть». — «Давай, говорить, срокъ пришелъ, а нътъ денегь, такъ корову продавай...» Повелъ мужикъ телку, повелъ другой снова телку, повелъ третій

бычка. На базарѣ ихъ сосчитали да въ «Вѣдомостяхъ» и принечатали: «скота-деу нихъ расилодилось»... Прошелъ мѣсяцъдругой, опять староста у окна. — «Денегь нъть», говорить ему мужичокъ. А староста ему на отвътъ: «у тебя двъ тельги нову-те продай». Повезъ мужикъ телъту, повезъ другой сани, повезъ третій дровни-на базар'в ихъ сосчитали, а ваша милость, что сведенья-то сбираете, и хвать въ «Ведомостяхъ» — «промыслы-де у нихъ въ гору пошли»... Не въ ту силу говорю, что ины кинги ровно шайтанъ помеломъ въ трубъ написаль... Годъ-отъ перерода минетъ, на хлъбъ станетъ цъна хорошая, промыслы подинмутся, глядишь-справился мужикъ: скотомъ обзавелся, сбруей, и въ мочинъ не пусто стало. Въ зимницъ три-четыре коровушки, подъ навъсомъ двъ-три телъги, и какъ староста подъ окно придетъ, оброкъ-отъ ему платить есть изъ чего. А на базарѣ ни коровъ, ни телѣгъ, ни саней, что въ прошломъ году нужда вывозила. Подметятъ господа, что кинги печатають, да, не справясь со святцами — бухъ въ большой, скота-де стало меньше: видно-де, надежъ у пихъ былъ, да п промыслы упали, должно-де быть, народъ объдиялъ... Объдиялъ!.. Какъ же!.. Лежитъ себъ на печи да бражку потягиваетъ.

Страннымъ казалось мив уклоненье Коринлы Егорыча отъ прямоге разговора. «Что-оъ это значило? — думалось мив. — Началь за здравіе, свель за упокой». Опять наклониль я рвчи на прежній предметь, опять сказаль, что для усивховъ тор-

говли надо купцамъ учиться и учиться...

 Въ ниверситетъ, что ли-съ? — съ горькой, по задорной усмішкой возразиль Красильниковъ. — Нівть-съ, увольте, ваше высокородіе!.. Покорньйше благодаримъ-съ!.. Знаемъ мы! Это дъло, сударь, ваше — барское, а нашему брату оно не по шерсти. Изъ нашего брата, изъ купечества, это тому пригодно, кто думаеть сыновей въ дворяне выводить, а намъ — нъть-съ, увольте!.. да и проку мало, ей-Богу, мало. Дѣдъ, отець конятъ деньги, скопять капиталь, большія дела заведугь, милліонами зачнуть ворочать, а ученый сынокъ въ карты ихъ проиграеть, на шампанскомь съ гуляками пропьеть, камедіянткамъ расшвыряеть, аль на балы да на вечеринки... Глядишь — и пошель Христовымъ именемъ кормиться... Да это бы еще не бъда... А какъ разумъ сгинетъ, какъ... Прохора Андреича Кранивина - изволите знать?.. Въ Москвъ суконная фабрика у него была. У него сынокъ-оть ученый... Въ чинахъ быль, въ карстахъ вздилъ, на дворянкв женился, да какъ профуфынился — изъ ружья себя и застрълиль... Воть-те и чины!.. Вотъ-те и ученье!.. Душеньку-то свою не уберсть, самому сатань се на руки отдаль...

— Не говорю я, Корпила Егорычъ, чтобъ молодые купцы, выучившись, оставляли свое званіе и проматывали отцовскіе капиталы. Дёльное, правильное ученье научитъ быть бережливымъ, научитъ и уваженіе имѣть къ сословію, въ которомъ

родился. Теперь у насъ слава Богу...

— Не говорите!.. Мив-то этого не говорите!.. Купцу ученье — пагуба, вотъ что!.. У меня у самого... Да позабавьтесь финичами-то, ваше высокородіе... Икорки-то нокушайте: перваго, сударь, багренья, прямо изъ Уральска... А ты что губыто распустить, Петровичъ?.. Что чашки не примаешь?.. Давай еще чаю-то!.. Да мадерцы еще рюмочку, ваше высокородіе!.. Кликин Сережу, Петровичъ!

Сережа, парець лѣтъ двадцати трехъ-четырехъ, румяный, здоровый, съ богобоязненнымъ видомъ и тихой поступью, робко вошелъ въ комнату. Инзко поклонясь, смиренио остановился онъ у притолки, глядя исподлобья на родителя. Тотъ

сказалъ ему:

— Сивую въ дрожки, савраску въ бъговыя. Ты со мной на

савраскъ поъдешь.

Я сталъ уговаривать Корпилу Егорыча самому не безпоконться, а отпустить съ пами на заводъ одного Сережу... Взгрустнулось, должно-быть, по лежанкъ Коринлъ Егорычу, согласился.

— Парень молодой, — сказаль онъ про сына: — мало еще толку въ немъ... Оно толкъ-отъ есть, да не втолканъ весь... Молодъ, дурь еще въ головъ ходитъ — похулить гръхъ, да и похвалишь, такъ Богъ убъетъ. Все бы еще рядиться да на рысакахъ. Извъстно, зеленъ виноградъ — не вкусенъ, младъ человъкъ пе искусенъ. Лътось женилъ: кажется, пора бы и умъ копить. Ну, да Господъ милостивъ: это еще горе не великое... не другое что...

Помутился взоръ Корпилы Егорыча. Иомолчавши, вздохнулъ

онъ и молвилъ вполголоса:

— На волю Божью не подашь просьбы!..

Вошелъ Сережа.

— Поважай на заводъ съ господами! — сказалъ ему отецъ: — Покажи тамъ все, какъ оно есть... Слышишь?.. Чего сталъ?.. Ношелъ, дожидайся!

Сережа пошелъ-было, по отецъ, воротивъ его съ полдороги,

тихонько молвиль ему:

— Митьку въ сушильню!.. Слышишь? — прибавиль опъ громко.

— Слышу, тятенька!

— Ступай же!.. На крыльць дожидайся... А послъ заводу,

ваше высокородіе, просимь покорно на чанку чаю. Сділайте такое ваше одолженіе, не побрезгуйте убогимь нашимь угошеніемъ.

Сережа, тихій смиренникъ на отцовскихъ глазахъ, не таковъ быль на заводь. Съ нами обходился подобострастно, насилу согласился картузъ надъть, но съ рабочими обходился круто и къ тому-жъ безтолково. Покрикивая ни за что ни про что, сурово поглядываль онъ то на того, то на другого, п пятились рабочіе и прятались другь за дружку, косясь на толстую, суковатую палку, что была въ сильныхъ, мускули-стыхъ рукахъ Сережи... Но вдругъ какой-то шальной, вывернувшись изъ-за зольнаго чана, мазнуль его по спинь мышалкой, обмакнутой въ известковый подзолъ. Сдёлавъ свое дёло, поворотиль онъ неровнымъ шагомъ назадъ. Рабочіе уступили ему дорогу и, казалось, другъ другу говорили глазами: «Ай да молодецъ!..» Увлеченный разсказомъ, черезъ сколько пересоловь преходить яловица прежде квасовь, Серсжа ничего не замётиль. Тоть шальной быль молодой человекь леть подъ тридцать, въ загрязненной, просаленной насквозь холщевой рубахъ и въ дырявыхъ сапогахъ. Взъерошенная голова, казалось, съ роду не была чесана, небольшая бородка свалялась комьями, блёдно-желтое, худощавое лицо обрюзгло, роть глупо разинуть; но въ тусклыхъ, помутившихся глазахъ видивлось что-то невыразимо-странное, что-то бользпенно-грустное... Потухающій умъ последней, прощальной искрой светился вътомъ взоре.

Мы проходили черезъ отдѣленіе, гдѣ толкутъ корье. Неочищенную ивовую кору подбрасывали въ толчею. Путевой товарящъ мой замѣтилъ, что онъ видѣлъ въ Бельгіи особую ма-шину для скобленья корья. Сказалъ это по-французски.

- Les meilleurs cuirs-maroquins qui se fabriquent... - про-

говорилъ за нами сиплый голосъ. Обернулся Сережа и крикпуль:

— Въ сушильню!

Оглянувшись, увидаль я того шального, что вымазаль синцу Сережѣ.

— Нейду!—закричалъ тотъ задорно. — Ты мнѣ не указъ... Наушникъ!.. Подлецъ!.. Ты ее погубилъ!.. Ты убилъ мою...

— Митька!.. Тятенькѣ скажу. Вздрогнуль шальной. Понуривъ голову, тихо поплелся онъ изъ толчеи, но вдругь быстро обернулся и заговориль умоляющимъ голосомъ:

- Сереженька, голубчикъ ты мой! Дай гривенничекъ.

— Въ сущильню!

— Хоть на шкаликъ!

— Слушай, Митька! — поднявъ налку, закричалъ Сережа: — Право, тятенькѣ скажу!.. Хоть бы при чужихъ постыдился!.. Сведи его, Өедька, въ сушильню. На замокъ.

Митька самъ пошель. За дверьми нестройно зап'влъ онъ

хриплымъ басомъ:

Quand le vin de Champagne Fait en echappant, Pan, Pan, La douce gaîté me gagne...

— А вотъ здѣсь дегтемъ бухтарму послѣ дубовъ мажутъ! говорилъ въ то время Сережа, переводя насъ въ другое отдѣленіе.

II.

Вечеромъ, сидя у Красильникова, опять я свелъ разговоръ па просвъщеніе. Говорилъ, что купцамъ ученье необходимо...

Заговорилъ и Кориила Егорычъ, сидя за пуншикемъ.

— Не говорите про это, ваше высокородіе... Мив-то не говорите!.. Говорять люди: красна итица перьемъ, человыть ученьемъ... Говорять: ученье свыть, неученье тьма... Вруть люди!.. Ученье—прямое мученье, а нашему брату погибель!..

«Купецъ знай читать, зпай писать, знай на счетахъ класть, шабашъ—дальше не забирайся!... Іучше не доучиться, чъмъ переучиться. Ученье-то въдь что дерево: изъ него и икэна и лопата... Аль что ножикъ: иной его на пользу держитъ, а нашъ братъ себя-жъ по горлу норовитъ... Купцу наука, что ребенку огонь. Это ужъ такъ-съ, это — не извольте безно-конться... Много купецкой молодежи промоталось, много и совсёмъ сгинуло, — а все отчего?.. Все отъ ученья, все моды проклятыя, все оттого, что за господами пошли тяпуться, имъ въ вёрсту стать. Иётъ-съ, быль бы купецъ смышленъ, да-

ромъ что не ученъ.

«Нынче за наши грѣхи не на ту стать пошло. Не то что сыповей, дочерей-то французскому стали учить, да на музыкѣ, илясать. Выучатся дочки, хвать—анъ забыли, которой рукой перекрестить лобъ слѣдуеть... У свояка моего, у Цетра Андренча Кирпишникова, дочка ученая есть: имя-то святое, при крещеньи богоданное—Матреной зовуть— на какое-то басурманское смѣняла, выговорить даже грѣхъ, Матильда, песъ ее знасть, какая-то стала... Замужъ вышла за дворянина: промотался голубчикъ, женился— карманъ починить. Стала дворянкой и пустилась во вся тяжкъя: верхомъ, сударь, на лонади катается... тъфу ты, галость какая!..

«Воть и у меня Митька... Погибъ, совевмъ погибъ, пропащій сталь человвкъ... А все ученье, все наука... А нарень-оть какой быль разумный, да тихій, смирный, разсудительный!.. Что передъ шимъ Сережка?.. Дурь нагольная, какъ есть одна дурь!.. Сердце коломъ повернеть, какъ вспомнишь... Охъ, Ты. Господи. Творецъ праведный!..

«Да-съ, безъ дётей горе, а съ пими вдвое... Далъ мив Госнодь двухъ сыновъ да дочку одну: Митька отъ нокойницы отъ нервой жены, Сережа да Пастя отъ Марьи Андревиы. Ну, дочь, извъстно дѣло, чужое сокровище — холь, корми, учи, стереги, да нослѣ въ люди отдай... А сынъ домашній гость — корми его да пой — тебѣ же пригодится. Да учи его, покамъстъ поперекъ лавки лежитъ; вырастетъ да во всю вытинется, тогда ужъ его не унять. Худъ сынъ глупый — родной отецъ къ кожѣ ума ему не пришьетъ, а хуже того сынъ ненаказапный — онъ безчестье отцу... Легло безчестье и на мою

съдую голову!.. Божья воля!..

«Смышленъ росъ Митька, отдаль я его здёсь въ уёздно училище. Учился бойко — три похвальныхъ листа получилъ. Выучился, въ гимпазію сталъ проситься, реветь мой парень: пусти да пусти. Думалъ и ременную гимназію ему въ спинуто засынать, да шуринь - покойникь уговориль... Присталь, отдай да отдай ему Митю на руки... Попуталь меня гръхъ послушалея... Въ гимназіи Митька учился льть пять и быль уменъ не по годамъ: лътомъ, бывало, на побывку прівдеть, на что у насъ пятницкой протопонъ отецъ Никаноръ, и тотъ съ нимъ не связывайся: въ нухъ загоняетъ, да все въдь полатынски... А благочестивый какой быль: ни объдни ни заутрени не пропустить... На крылост какъ пълъ... Голосъ-отъ, голосъ-отъ какой былъ!.. А смиренникъ какой!.. что твоя красная девка... И по заводу навострился: ни корья ни подзола при немъ, бывало, фунта не украдутъ, даромъ что не былъ пріучень къ заводскимъ порядкамъ... И думалъ ли я, на него радуясь, что погибнеть мой разумникъ, что покроетъ онъ горемъ старость мою?.. Господи, Господи!..

«Когда срокъ ученья ему отошель, былъ я на ту пору въ губернскомъ городъ: городскимъ головой служилъ, къ начальству ъздилъ. Сталъ Митька проситься въ Москву, въ ниверситетъ доучиваться. Въ ногахъ валяется — плачетъ: пусти да пусти его еще въ ученье. «Врешь, говорю, Митька, умиве не будешь: не пущу!» — Чуяло родительское сердце!.. А изъ гимназіи когда его выпущали, былъ онъ что ни на есть первый ученикъ, не то что своего брата, барчатъ всѣхъ за поясъ заткнуять. На экзаментъ на ихиій вельли мив побывать, пе-

чатный билетецъ прислади... Митька річь держаль по-французскому, качаль бойко, только ничего не поймешь. Его превосходительство господинъ губернаторъ изъ своихъ рукъ листъ да книгу эту отжаловаль, да, подозвавши меня, сказаль: «У тебя, говорить, Корнила Егорычь, не сынь, а звёзда». А быль на ту пору въ нашемъ губернскомъ городъ генераль. палъ гимназіей-то набольшій; онъ, слышь, допрашивалъ учепиковъ, кто что знаетъ и куда послъ выучки илти хочеть. Полюбись ему мой Митька, бойко, слышь, изъ книгь гораздо ему отвъчалъ. Спрашиваетъ его генералъ: чей сынъ, откуда родомъ и куда хочетъ. А Митька ему: «Такъ и такъ, ваше превосходительство, сынъ я первой гильдін купца Корнилы Красильникова, оченно бы хотелось въ ниверситеть, да тятенька не пущаеть...» Ладно, хорошо!.. Сижу я у шурина, глядь, губернаторскій лакей на дворь, въ золоть весь... Что за оказія?.. — «Гдь, говорить, Корнила Егорычь Красильниковъ?..» — «Здёсь, говорю, я самый и есть». — «Ступай, говорить, къ генералу объдать». Усомнился я, думаю — прошибся лакей: къ другому послали, а онъ ко мнъ... Нътъ, ко мнъ въ самомъ дълъ... Честь не малая: самъ губернаторъ объдать зоветь: «Ты, говорить, Корнила Егорычь, приходи моего хлібасоли кушать». Пошель, благо день-оть скоромный быль вторникъ.

«Посадилъ меня губернаторъ съ собой рядышкомъ; а тутъ еще сидътъ генералъ, которому Митька-то мой полюбился, да губернаторша, да двъ барышии— дочки губернатору-то— красовитыя изъ себя, только ужъ больно сухопароваты. Губернаторина сама изволила мив похлебки въ тарелку налить, губернаторъ изъ своихъ рукъ виномъ угощалъ... Вотъ оно что!... II стали они меня улещать: «Ты, говорять, Корнила Егорычь. понерекъ Митьки не ходи: изъ мальчугана, говорятъ, выйдетъ прокъ — пусти его до конца доучиться». А генералъ-отъ, что его возлюбиль, объщаль ему замьсто отца быть, «какь за роднымъ дътищемъ, говоритъ, пригляжу, баловаться не дамъ, да и парень-отъ, говоритъ онъ у тебя не такой, баловникомъ не смотрить...» Сами посудите, ваше высокородіе, можно-ль туть поперечить имъ? Два генерала ровно съ ножомъ къ горлу пристали: пусти да пусти Митьку доучиться! Губернаторша тоже: «Ты, говорить, Корнила Егорычь, не губи своего двтища рожонаго, не отымай у Митьки счастья. Богь, говорить, за это тебѣ не попустить!» Послушался... Больно не хотьлось, чуяло сердце... А послушался — потому нельзя: начальство не свой брать — стоя безь шанки да переступая съ ноги на ногу, много не накалякаешься...

«Собрать Митьку въ Москву. Марья Андреевна хоть не родная мать, а въ гору было - нолвзла. И руками и ногами: «Не пущу, говорить, Митеньку на чужу сторонушку»... Да что она?.. Баба, бабв плеть — воть и все... Призвавъ Бога въ номощь, Николу на путь, снарядилъ я Митьку; да на прощаньи, передъ благословенной пконой, взялъ съ него зарокъ, чтобъ послв выучки не ходилъ онъ ни въ офицеры ни въ приказные, а былъ бы всю жизнь свою кущомъ и кожевеннымъ заводчикомъ. А Митька, ну ужъ двадцать первой тогда ему шелъ, на полномъ смыслв значитъ: «Не бойтесь, говоритъ, тятенька, никуда не пойду, буду вамъ на старости печальникъ, на поконъ души помянникъ, а выучусь, буду то и то, заведемъ мы съ вами такое да этакое...» Да ужъ такъ красно говорилъ, что нехотя върилось!.. «Четыре года Митька въ Москвъ выжилъ, учился на пер-

«Четыре года Митька въ Москв выжилъ, учился на первую стать, а въ праздники тамъ какіе, аль въ другіе гуляющіе дни, не то чтобъ мотаться да бражничать, а все на фабрику какую, аль на заводъ, да на биржу... Съ первостатейнымъ купечествомъ знакомства свель, иять поставокъ юхты уладилъ мив, да разъ сало такъ продалъ, что, признательно

сказать, мит бы и во сит такъ не приснилось...

«Нашего увзда помвинкъ есть Андрей Васильнчъ Абдулинъ. Не изволите-ль знать? У него еще конный заводъ въ деревив... Тутъ вотъ неподалеку отъ Өедяковской станціи, — вхали сюда, мимо провзжали. Сынокъ у него Василій Андренчъ вмвств съ мониъ Митькой учился и такой былъ ему закадычный пріятель, ровно брать родной. Митька у господина Абдулина дневалъ и ночевалъ: учиться-то вмвств было новаднве... Охъ пропадай эти Абдулины!.. Завли ввкъ у

старика, погубили у меня сыпа любимаго!..

«Отучился Митька, дали ему медаль золотую: не то чтобъ на шею, а такъ, карманную... И въ газетахъ пропечатали: «выучился-де такой-то Дмитрій Красильниковъ въ кандидаты»... Домой прівхаль, заводомъ занялся: то уладить, другое персмѣнить, то чанъ, зольникъ, то другое что. Спервоначалу-то я было-нобанвался: испортить, думаю. Ивтъ: восемь конеекъ лишковъ на салѣ взялъ, семь конеекъ на юхтѣ. А все его разумомъ да старательствомъ. Отецъ вѣдь, кажись, отецъ, а—сыну родному позавидовалъ... Вотъ каковъ былъ уминца!.. А бережливый какой!.. Только и изводилъ деньги, что на кинги... Вывало, какъ мѣсяцъ прошелъ, такъ изъ Москвы коробъ съ книгами ему и шлють.

«Пожилъ Митька у меня мѣсяцевъ съ восемь. Андрей Васильичъ Абдулинъ той порой на теплыя воды собрался жену лъчить. Таль въ чужіе кран всей семьей. Сталь у меня Митька съ ними проситься. Что-жъ, думаю, избнымъ тепломъ далеко не уъдешь, псчка нъжить, дорога разуму учить, дамъ я Митькъ партію сала, пущай продасть его въ чужихъ краяхъ; а благословить его Богь, и заграничный торгь заведемъ!.. Тутъ ужъ меня шикто не уговаривалъ — врагъ смутиль!.. Захочеть кого Господь наказать — разумь отыметь,

слепоту на душу нашлеть!.. «Три года вздиль мой Митька, продаваль юхту бродскимъ жидамъ, по салу съ самимъ Лондономъ уладилъ дъла... Большіе пошли барыши— въ три-то года рубль на рубль нажиль я!.. Не нарадовалось сердце!.. Экой сынъ-отъ, думаю... На что московскіе купцы, и тв завидовали... Всвит сталь знасмъ мой Дмитрій Корпилычть Красильниковъ. А я? Чвить бы Бога благодарить, колоколь бы вылить аль иконостась поставить... согрышиль, окаянный, возгордился — барыши сталь считать да сыномъ хвалиться!.. Думы-то были за морями, а горе за нлечами!.. Гдв теперь мой разумникъ?.. Чъмъ теперь похвалюсь?.. Не родиться-бъ ему!.. Дай-ка мив пуншу, Петровичь, да

крвиче налей!..

«На четвертый годъ воротился изъ-за моря... Господи, что было радости!.. Письма отъ купцовъ заграничныхъ привезъ: товару просять, Митьку хвалять. Замышляли мы съ нимъ свой корабль снарядить, да еще бы года три-четыре побыль у меня Митька въ разумь, два снарядили бы... Думали въ Интерь контору открыть, домъ куппть, загадывали въ Лопдонв приказчика держать... И все тогда казалось мнв таково сбыточно, какъ вотъ теперь стаканъ пуншу выпить... Анъ ньть... людское счастье, что вода въ бредив!.. Величался ночетомъ своимъ, величался сыномъ разумнымъ и не зналъ никого счастливѣй себя!.. Все суета... Въ морѣ потопъ, въ нустынь звъри, въ мірь бъды да напасти!..

«Двадцать девятый Митьк'в пошель: давно пора своихъ дътей наживать. Правду говорять, что и въ раю тошно жить одному. Семейная каша погуще кипить, а холостой выкь про-

живеть да помреть — собака не взвоеть по немъ...

«За невъстами дъло не стало бы: ротъ разинь — изъ любого дома бери... Первостатейные, мильонщики, фабриканты сами съ дочками напрашивались, сами письма писали. И сталь и Митьк'в сов'втовать: пора-де теб'в и законь совершить... Только выбирай, говорю, жену не глазами, а ушами, слушай рычь, разумна ли, узнавай, въ хозяйстви какова. Съ лица не воду пить: красота приглядится, а щи не прихлебаются. А пуще всего смиренство да разумъ: это на всю твою жизнь пригодится. На богатство не зарься: у самихъ, слава Богу, довольно. Приданое что? Въ потравъ не хлъбъ, въ долгахъ не

деньги, въ приданомъ не животы...

«Говорю этакъ Митькв, а онъ какъ побледиветь, а потомъ лицо все пятнами... Что за притча такая?.. Пыталъ, пыталъ, педелю пыталъ — молчитъ, ни словечка... Ополовелъ индо весь, ходитъ голову повеся, отъ еды откинулся, исхудалъ, ровно спичка... Я-было за плеть — думаю, хотъ и ученый, да все же мит сынъ... И по Божьей заповеди и по земнымъ законамъ съ родного отца воля не сията... Поучу, умите будетъ — отцовски же побои не болятъ... Совестно стало: рука не поднялась...

«Той порой изъ чужихъ краевъ Андрей Васильичъ воротился. Домъ купилъ въ городѣ, рядомъ со мной. Митька тамъ и диюетъ и ночуетъ, отъ дѣла даже отсталъ, прівдетъ на заводъ — смотритъ въ оба, а не видитъ ничего. А рабочіе, сами изволите знатъ, пародъ бестія — тотчасъ смекнули и давай добро по сторонамъ тащить... Да что заводъ?.. Пропадай онъ пропадомъ, огнемъ гори, стинь все, что пажито!.. Митька-то разумъ терялъ — вотъ гдѣ напастъ-то!.. Кровавыми слезами ее не вымоень!.. Вѣрите-ль Богу? Старикъ я, старикъ, а плакалъ, бабой ревѣлъ и ему, сыну-то своему, рожденью-то своему, покорился!.. Да, покорился... Слезами обливаючись, упранивалъ, умаливалъ его разсказать про кручину, что его одолъва... Не вытерикъ слезъ моихъ Митька—сказалъ!.. Лучше-бъ на ту нору языкъ у него отнялся!.. Пуншу, Петровичъ!.. Да

лей рому побольше, собака!...

«Нѣмка жила у Андрея Васильича, за дочерью ходила. По найму жила, полторы тысячи ассигнаціями ей давали... Дѣвка безродная, откуда — Богъ вѣсть, такъ шаверь какая-то!.. А вѣры ихней еретицкой, пе то люторской, не то папежской — да это все равно — такая ли, сякая ли, одна нехристь... Митька и бухъ миѣ: за моремъ-де слюбился съ ней и окромя ея ни на комъ въ свѣтѣ не женится... Такъ меня варомъ и обдало!.. Въ землю бы легъ, гробовой бы доской укрылся, только бы этихъ словъ не слыхать!.. «Въ умѣ-ль?» — говорю. А онъ свое!.. Корнями обвела, еретица, на богатство польстившись!.. Да чтобъ этому быть, чтобъ я самъ себѣ бороду оплевалъ!.. Дъ весь мой родъ переведись!.. По міру пойду, на гнонщѣ середь улицы лягу, а такого срама не возьму на себя, не возьму покора отъ роду отъ илемени!.. «Слушай, — говорю Митькѣ: — вотъ тебѣ счеты: поѣзжай въ Коренную, оттоль прямо въ Нижній къ Макарью, но осени въ степь за скотомъ». Провѣтрится, думаю, дурь-то вытрясетъ. «А поѣдешь, говорю, Мо-

сквой, побывай у Архипа Иваныча Подколесшикова: у иего дочка не нѣмкѣ чета: тоже на всякихъ языкахъ говоритъ, въ купеческомъ собраніи плящетъ, а на музыкѣ позакатистѣй пѣмки играетъ... А главное — благочестивыхъ родителей дочь, не еретица поганая...» Митъка было-перечитъ, а я ему: «Слушай, говорю, хотъ ты и бариномъ глядишь, а воля съ меня не снята: возьму варовину — не пеняй!» — Замолчадъ.

«Вечеромъ Андрей Васильнчъ пришелъ ко мив. Спервоначалу такъ себв о томъ, о семъ покалякали. Потомъ рвчь на ивмку свелъ, хвалить ее пуще Божьяго милосердія. Я слушаю да думаю: что еще будетъ? Говоритъ, она-де и креститься можетъ; господа-де женятся же на нъмкахъ. Смекнулъ, къ чему рвчь клонитъ, говорю ему:—«Господамъ и воля господская, а нашему брату то не указъ. Вы мой гость, Андрей Васильнчъ, грубой рвчи вамъ не молвлю, а перестанемъ про еретицу толковатъ... ну ее къ бъсу совсвиъ!»

«— Да мив, говорить, Димитрія Корнилыча жалко.

«— Вамъ, говорю, жалко, а мнѣ вдвое жалчѣй: я вѣдь отецъ, хоть дѣтское сердце и въ камнѣ, да отцовское въ дѣткахъ... Да знаете, говорю, Андрей Васильнчъ, русскую пословицу: «Свои собаки грызутся, чужа не приставай». — Залиолчалъ.

«Митька всю ночь проревёль. Я ужъ даль волю... Проревстся, думаю, легче будеть. Самого меня отъ хлёба откинуло: отець вёдь, каковъ ни будь сыпъ—все болёзнь утробы моей!.. «Поутру въ садъ я пошель. Обрёзываю съ яблони сухіе

«Поутру въ садъ я пошелъ. Обрвзываю съ яблони сухіе сучья у самаго абдулинскаго забора. Слышу, Митькинъ голосъ!.. Приналъ ухомъ къ забору — и ея голосъ!.. Говорятъ не но-русски!.. Изъ моего-то сада калитка тогда была въ абдулинской садъ — я туда. Свъту не взвидълъ... Митька съ иъмкой обнявшись сидятъ, илачутъ да цълуются!.. Увидавши меня, бъжать шельма, — знаетъ кошка, чье мясо съъла... А Митька въ ноги... «Батюшка, говоритъ, мы въдь повънчаны!..»

«Остамѣлъ я, услыхавни срамоту на мою сѣдую голову... Зелень въ глазахъ заходила, къ сердцу ровно головня подкатилась!.. На лежанкѣ очнулся, не помню, какъ и добрелъ!.. Выдался денекъ!.. Нятъ лѣтъ на кости накинулъ!.. Андрейотъ Васильнчъ хорошъ!.. Пріятелемъ звался, хлѣбъ-соль водилъ, денегъ когда займовалъ, а у Митьки на свадьбѣ въ посажёныхъ!.. Гдѣ-то за моремъ, песъ ихъ знастъ, свадьбу сыграли... Безъ моего-то вѣдома, безъ родительскаго благословенья!.. Вотъ они друзья-то!.. За наше добро намъ же рожонъ въ ребро!.. Да и теперь на меня во всемъ вину валитъ! Сына, слышь, я погубилъ! Сами посудите, ваше высокородіе,

чёмт же я туть причинень, чёмь виновать?.. Вёдь я отець а вёдь и змёя своихъ дётей бережеть?.. Ученье всему виной, ученье!.. Не я-жь въ самомъ дёлё!.. Еще, слышь, Сережка да Марья Андреевна на Митьку-де наговаривали!.. Какъ же!.. Не догадался-бъ безъ нихъ!.. Такъ воть!.. Языкъ-оть безъ костей!.. Вотъ что!..

«На другой день иду отъ раиней об'єдни— и імка встрічу. Не стерпіло— зашно́ъ: ударилъ маленью. Откуда ни возьмись Митька— отнимать ее... Сердце меня и взяло: его въ сторону, ивмку за косу да оземь... Насилу отняли... Ужь очень распалился я...

«Тяжела, видно, свекрова рука пришлась!.. Зачахла. Мѣсяцевъ черсэъ восемь померла. Ха-ха-ха!.. Слава Богу, думаю, теперь у Митьки руки развязаны, пореветъ-пореветъ да и справится... Быль молодцу пе укора, будетъ опять человѣкъ... Да бѣда не живетъ одна: ты отъ горя, оно тебѣ встрѣчу: придстъ чаша горькая — пей до дна...

«На другой день похоронъ пришелъ Митька домой... Господи батюшка!.. Никогда этого за нимъ не важивалось!.. Вотъ оно

гдв горе-то неизбывное!.. Митя, мой Митя!..

«Крћинсь, Корнила!.. Терпи, голова, благо въ кости скована!.. Эхъ, извъдалъ бы кто мое горе отцовское!.. Глуби моря шапкой не вычернать, слезъ кровавыхъ родного отца не высушить!.. Нуншу, пуншу, Петровичъ!»

— Что-жъ потомъ сталось съ нимъ? — спросилъ я посяв

долгаго молчанья.

— Не нытайте отца!.. Горько!.. Упился я бѣдами, охмелился слезами!.. Петровичъ! лей до краевъ!..

дъдушка поликарпъ.

Разсказъ.

Прівхавни на Валковскую станцію, вышель я изъ тарантаса, веліль закладывать лошадей, а самъ ношель пвикомъ впередь по дорогів. За околицей, у вітряной мельницы, сиділь старикъ на завалникъ. На солнышкъ лапотки плелъ. Я подошель къ нему, завелъ разговоръ. То былъ крестьянинъ деревни Валковъ, отецъ стараго мельника, вст его звали «дітушкой Поликарномъ».

Сколько ему лѣть—никто не зналъ, и самъ онъ не помиилъ. Одно только сказывалъ, что несъ тягло еще въ ту пору, какъ «царица Катерина землю держала». Крѣпко жаловался старина на пыпѣшни времена, звалъ ихъ «останными», потому-де, что восьмая тысяча лѣтъ въ доходѣ и антихристъ во Египетской странѣ народился. Слово за слово, разговорились мы съ дѣдушкой.

- Что, спросиять я ero: много-ль номолу на мельинцѣ-то?
- Какой помоль, родименькій! Какой помоль! Наши міста безхлібныя. У нась, кормилець, по всей волости хлібов-оть плохо родится. Каковъ ни будь урожай, долів Святой своего хліба не хватить; пной годъ съ Тимоося-полузимника *) на базарів покупаємъ.
 - Земли-то у васъ, кажется, довольно.
- Эхъ, родименькій, какая земля по нашимъ мѣстамъ! Много ея, да пути-то пѣтъ. И велико поле, да не родимо. Погляди, какова землица-то: лѣсъ да песокъ, болота да мочажины... Какой у насъ хлѣбъ?.. Земля же холодная: овсы иной годъ уродятся, ну и льны тоже, а рожь завсегда плоха бываетъ. А ежели насчетъ шпеницы аль проса, такъ этихъ

^{*)} Двадцать второе января.

хявбовъ у насъ и въ заведеніи пѣтъ, сѣмена погубить, ежель посѣять. Гречей тоже мало займуются, для того, что каждый годъ морозами се, сердечную, бьетъ. Такія ужъ наши мѣста!

- А въ старину какъ бывало?

— Какъ можно въ старину! Въ старину все дучше было, па что ин взглянень, все лучше было. П люди были здоровъе, хворыхъ да тщедушныхъ, кажись, и вовсе не бывало въ стары-то годы. И все было дешево, и народъ-оть быль проще, родимый ты мой. А урожан въ стары годы и по нашимъ мвстамъ бывали хорошіе. Всв благодарили Создателя. У мужичка, бывало, года по два да по три немолоченный хльбъ въ одоньяхъ стоитъ... А въ нынѣшии остаины времена не то... Объвзжай ты, родимый, всв наши мёста: и Заўзолье, и Ячменскую волость, и Лыковщину, и Жары, нигде ты единаго одоныя не увидишь, чтобы про запасъ заготовленъ былъ. Въ стары-то годы, родименькій, «кулижки» *) жгли, на нихъ рожь-то, бывало, самъ-восемь да самъ-десять. А въ нопршни года кулижекъ жечь не велять — лісные завелись, полісовные. Отъ этихъ отъ самыхъ лёсныхъ кулижка теперь въ такую цёну станеть, что палить ее ужъ и не изъ чего... А бывало, въ старину-то, въ лътнюю пору, передъ Ильпнымъ днемъ, куда ин поглядишь — тамъ изъ лесу дымокъ, въ другомъ мёсть, въ третьемъ... Иной разъ мъстахъ въ десяти разомъ горитъ... А нынче не велять, запреть положонь.

— Что-жъ это за кулиги такія, дідушка, для чего онт?

— А видишь ли, родной... Пойдеть, бывало, мужикъ въ льсъ, свалить ельнику, сколько ему надо, да, сваливши деревья, корни-то выроеть, а потомъ все и спалить. А чтобъ землю-то получше разрыхлить, по веспь-то на огинщъ ръны насъоть. А къ третьему Спасу **) хлъбцемъ засъеть. Землица-то Божья безо всякаго удобренья такой урожай дасть, что Господа благодарить... Самъ-восемь, самъ-десятъ урожай-отъ бывалъ. А теперь не то, — съ глубокимъ вздохомъ прибавиль дъдушка: — теперь не велятъ кулижекъ палить.

— Да нельзя же, дѣдушка, волю надъ лѣсомъ дать. Пожжешь его безъ толку, такъ послѣ не то что на отопку, на

лучину инчего не останется.

— Вѣстимо, родименькій. Извѣстно дѣло, мужику нельзя въ лѣсу воли дать... Какъ можно! всякое запрещеніе для порядковъ дѣлается. Только земля-то у пасъ ужъ больно скудна, безъ навоженья ничего не родитъ. Такія ужъ наши мѣста!

**) Шестнадцатое августа.

^{*)} Кулига—то же, что валки, чища, чищоба, огиище—расчищенный, выкорчеванный и выжженный подъ пашию лесъ.

Сѣмена надо сгубить, коль хорошенько не унавозины полосу. А на кулижкахъ-то и безъ навозу хлѣбецъ родился. Такъ-то оно и хорошо было.

— Что-жъ вы получие не навозите землю-то? Навозьте се

больше.

— Вѣстимо такъ, родимый, землю по нашимъ мѣстамъ какъ можно больше надо навозить. Какого хлѣба съ ней безъ навозу взять? Безъ навозу никакъ нельзя... Только скотинка-то у насъ больно илохонька. Вотъ что, кормилецъ!.. Ужъ куда съ нашими коровенками землю удобрять какъ слѣдустъ!.. Никакъ невозможно... Посмотри-ка ты, какая по нашимъ мѣстамъ скотина? Сама лядащая, именно, какъ пословица молвится: «коровенка меньше котенка». Слава только одна, что скотина. Вонъ на Горахъ *) скотина хорошая, крупная: кажда корова барыней смотритъ, оттого тамъ и хлѣбъ родится хорошъ. Лу насъ что? Мѣста ужъ такій у насъ.

— Такъ заведите хорошую скотину.

— Извѣстно дѣло, родименькій, что отъ хорошей скотины больше навозу... Это такъ, это ты истинну правду молвиль... А намъ безъ удобренья никакъ невозможио... Вотъ начальники-то наши, дай имъ Вогъ многолѣтно здравствовать, хермы **) тоже у насъ завели и скота хорошаго пригнали на нихъ... Такой славный скотъ, что любо-дорого посмотрѣть. И мужичкамъ было - хотѣли давать на племя такую скотину, строгостью даже приказывали разбирать ее по дворамъ безданнобезпоилинно... Дай Богъ имъ здоровья, господамъ начальникамъ... Ужъ такое они объ насъ глупыхъ попеченіе принимають, что сказать нельзя. И не стоимъ мы такихъ милостей. Право слово, не стоимъ.

— Нарасхвать, чай, разобрали жалованныхъ-то коровь?

— Какъ возможно, родимый? Намъ ли таку скотину держать?.. Нътъ, печего Бога гнъвить, помиловало начальство: ин единой коровки не дали... Всей волостью поклонились тогда мужички управляющему, по чемъ тамъ съ души пришлось, поблагодарствовали... Далъ Господь — откупились. Помиловали начальники, дай Богъ имъ, нашимъ добродъямъ, здоровья — не роздали коровушекъ. Прописали, гдъ слъдуетъ: «желающихъ не оказалось».

— Какъ же такъ, дъдушка? Даромъ такое добро вамъ дагали, а вы не брали? Что-жъ это значитъ?

**) фермы.

^{*)} На «Горахъ»—значить на правой стороић Волги. «Нагорные»—жители правой стороны Поводжыя,

— А то значить, родимый, что ужъ такія у насъ мѣста... Мѣсто мѣсту вѣдь рознь. Начальники-то наши, извѣстно дѣло, каждому человъку добра хотять, одначе ихне добро въ иномъ месть впрямь добромъ выйдеть, только надобно будеть Бога ввино молить за него, а въ иномъ, можетъ, и неподалеку гдвнибудь, отъ того добра мужикъ-оть волкомъ взвоеть... Земли-то наша святорусская больно ужъ велика стала, кормилецъ: съ одного-то мѣста ее не обозришь... Вотъ, примѣрно сказать, про казенну скотину мы съ тобой калякали: по здёшнимъ мвстамъ наши лядащія коровенки певиримвръ способный крупнаго скота. А какихъ-нибудь за тридцать верстъ, хоть у нагорныхъ, крупна скотина — истинно безцанное сокровище. У насъ въдь по всъмъ нашимъ мъстамъ поемныхъ луговъ вовсе нътъ, и пожней-то, сънныхъ-то, значитъ, покосовъ маловато. По плантамъ и мпого, да въ наличіи не предвидится... Да и что за покосы? Бѣлоусъ, да осока, да донникъ — и все тутъ. На что наши коровенки, и тъ по раменямъ пасутся, а сыты пе бывають, зимой стоять на соломь, для того, что посыпки-то взять негдь, и на свой-оть обиходь хльбушко съ базару покупаемъ... Ну, отъ такого корму не диви, что здъшняя скотина — кожа да кости. По этому по самому крупному скоту у насъ и невозможно быть: зимнимъ дѣломъ и самъ голодомъ насидинься и жалованну корову сморинь; а лѣтомъ гдѣ ее пасти? У насъ по покосамъ да по раменямъ: собашникъ, болиголовъ, лютикъ, бъщеница, молочай, жабникъ *). Ну какъ казенна-то корова да нахватается этой дряни, съ голодухи-то? Вези подъ оврагъ да принимай отъ начальства остуду, не умъль-де, мошенникъ, жалованной скотины соблюсти. И то сказать, въ способныхъ-то мъстахъ не хитро дъло мужику казенну корову во дворъ взять, да хитрое дело держать ее. Дадутъ тебъ корову и надзоръ приставять къ ней. Зачнутъ къ мужику наважать: понавъдаться, здоровенько ли, моль, жалованна-то коровушка поживаеть, держить ли хозяинь ее въ тепл'в да въ холь. А въдь самъ ты, родименькій, знаешь, что навздъ-отъ начальства изъ мошны деньгу волочитъ: и курочку ему заколи, и говядинки купи, и калачика, а по питейной части, окром'в простого, виноградненькаго потребуется. По этому по самому, родимый, мужички наши отъ казеннаго скота и откупились, для того, что жалованна-то корова невиримфръ дороже купленной обойдется. Ифтъ, на что ужъ намъ

^{*)} Собашникъ — Cynoglossum officinale; болиголовъ — Chaurophyllum; лютикъ — Aconitum; бъшеница — Cicuta virosa; молочай — Euphorbium palustre; жабникъ — Ranunculus bulbosus — травы болье или менъе ядовитыя.

хороши коровы?.. Намъ бы вотъ кулижки позволили, вѣкъ бы стали Бога благодарить.

— Самъ же ты, дедушка, сказаль, что кулижки лесь гу-

бятъ, и что запретъ на нихъ положенъ ради порядковъ.

— Въстимо, родименькій. Знамо діло, для порядковъ. Какъ же намъ жить безъ порядковъ?.. Никакъ пельзя... Приміромъ сказать, хоть объ лісів, пельзя не молвить, что губленье губленью розь... Самъ посуди, кормилецъ, какое губленье лісу отъ кулижки? Много ли міста подъ нее надоть?.. И то сказать — лісь-отъ на кулижки палятъ відь не строевой, не дровяной, а больше все заборникъ да присельникъ. А заборнику да прясельнику по нашимъ містамъ такое місто, что, какъ ты его ни руби, онъ изъ земли такъ и лізетъ, ровно преть его оттуда кто.

— Дъдушка! да въдь отъ прясельника и хорошій лъсъ за-

горится. Тогда что?

— А какъ ему загоръться-то, родимый?.. Хорошему-то лъсу? Лъсной-отъ пожаръ по низу не ходитъ, верхомъ все. А кулижку-то прежде повалятъ да потомъ зажгуть — она и горитъ низомъ, по верху ходу ей нътъ.

— Какъ же можно попусту лъсъ губить? Жечь его зада-

ромъ? Жаль такого добра.

— Точно, правда, родимый. Лість вещь дорогая, дорогая, кормилець; какъ не жаль лѣса, когда онъ горить? Ужъ такъ его жаль, такъ жаль, что и сказать не можно. Какъ этакъ увидишь, что лісокт-отъ гдів-нибудь загорівлся, такъ горько стансть, подумаешь: «Воть ростиль его Господь долгія льта, и стояль онь, человька дожидаючись, чтобъ извель на показанную Богомъ потребу, а теперь за грѣхи наши — горить безъ пути»... Да воть неподалску оть нась, въ Наумовской волости такая палестина лісу выгоріла, подумать страшно: отъ Рожествина почитай до Толмазина, версть на тридцать выхватило. А лъсъ-отъ былъ кондовый, дерево-то не охватишь. Загоралось отъ Божьей воли, отъ молоньи, а друго дало; не знаю. Ну, дерево-то хоша и обгорило, а все-таки было годно для того, что въ лисномъ-то пожари только хвоя да сучья горять, а самому дереву вреды нътъ. Изши мужички и хотели - было купить тотъ горелый лесъ, на сплавъ чтобъ его въ низовы города. И купцы прівзжали, не по одинъ разъ смотрили, тоже хотили купить. За весь-оть, что его погорило, два ста тысячь на монету давали, а Василій Трофимычь, что нами въ ту пору заправлялъ, отписалъ къ самому большому начальству, что тъхъ денегъ взять мало, коли, дескать, сдълать торги, такъ больше дадутъ. Требовалъ, видишь, родименькой, Василій-отъ Трофимычъ двадцать тысячъ благодарпости, а его не ублаготворили. Поэтому и прописалъ, чтобы лъсъ не продавать, казиъ-де убытки будутъ. На третій годъ после пожару межевой наважаль, велено ему было доподлинно вымърять, много-ль погоръло казеннаго льсу, и сосчитать, сколько придется на продажу бревень, и какой толщины будуть опи. Ну, палестина не малая—скоро ли се вым'тряещь? Навзжаль года по два,—да все-то, кормилець, въ саму рабочую пору. Понятыхъ сбивалъ, подводы, ну и благодарности тоже требоваль, безъ того ужъ нельзя. Да окромя благодарпости: харчевыя, да свъчныя, да питейныя. Одижхъ питейныхъ что вышло! Человъкъ-отъ быль пьющій, народъ-оть съ нимъ тоже до винца охочій; бывало, каждый Божій день два либо три штофа ивинику. Ну, посладъ межевой планты, куда слідуеть; по времени и вышло объ ліст рішенье: торги произвесть, кто больше дасть, тому его и продать. А рвшенье-то выслали послѣ пожару на восьмой годъ: той порой лесь-отъ подгиня, ветромъ его повалило, и остались одне гнилыя колоды: лежать комлемь вверхъ и новому лъсу расти не дають, корпи-то выворотило, землю оть того всю изрыло. Не то, чтобъ купить, — съ казиы еще стали просить, мѣ-ето-то бы только очистить... Такъ и запропало Божье мѣсто: гарь теперь одна, не пролъзень. Грибы даже не растуть, только и пользы, что малиннику много разродилось. Мъсто хоть совсимь брось, только бытлымь да скрывающимь скитникамъ жилье уготовали, а больше ничего... Такъ вотъ оно что, родненькой! — промолвиль дедушка, немного помолчавши. — Какъ можно сказать, чтобъ мы не жальли льсу! Сердце кровью сбольется, какъ завидишь явсной пожаръ. Думаешь: «Ну какъ и этотъ лъсъ задаромъ пропадеть?» Какъ намъ пе жальть лвсу, редимый? Ведь его Богь не про кого, что про насъ, сыростиль.

— Ты сказаль, дедушка, что хлёбъ-оть у вась плохо ро-

дится. Что-жъ, промыслами кормитесь?

— Какъ же, родименькой. Промысломъ только и живемъ, издълемъ то-есть. Хлѣбца-то мало, кулижекъ-то палить не велять, такъ мы все больше около лѣску промыниляемъ. Котора деревня ложки точить, котора чанки, по другимъ мѣстамъ смолу сидятъ, лыко дерутъ, рогожи ткутъ: только лѣскомъ и живемъ, родимый! Оттого-то лѣсокъ-отъ и любъ намъ, оттого-то мы его и жалѣсмъ— вѣдь онъ пашъ поилецъ, кормилецъ.

— За попенныя лѣсъ-отъ берете?

[—] За попенныя, кормилець, за попенныя. Какъ же можно

безъ попенныхъ? Не велятъ. Да попенныя что? Деньги не великія, заминки только много отъ нихъ... Лѣсной-отъ тоже вѣдь баринъ, стало-быть, благодарности требуетъ. Да это бы еще ничего — безъ благодарности какъ же ему и быть, на то онъ лѣсной. А вотъ иные больно неподходящи бывають и на руку крѣпки: чуть ему слово, онъ тебя изобъетъ, какъ ему хочется. Станешь съ нимъ порядкомъ говорить, а онъ свое: «Развѣ, говоритъ, не знаешь, что ты весь въ моихъ рукахъ — застану, говоритъ, съ тепоромъ въ лѣсу, до смерти могу убить... Знаешь ли, говоритъ, что, когда лѣсной порубку преслѣдуетъ, дозволяется сму вора чзъ ружья застрѣлитъ? Такъ поэтому ты, говоритъ, и долженъ ухо востро держать и меня почитать больше, чѣмъ псправника аль окружного, потому что тѣ только синиу тебѣ вздерутъ, а я, ежель захочу,

до смерти могу застрѣлить».

«Нашъ лѣсной Иванъ Васильнчъ — добрый, хорошій баринъ — а этакъ же иной разъ нашего брата попугиваетъ. Спервоначалу-то думали — морочитъ: «Какъ же можно ему человъка застрълитъ», этакъ, знаешь, думаемъ. Да грамотен изъ нашихъ мужичковъ доподлинно въ законныхъ книжкахъ вычитали, что лѣсная стража, ежели кого преслъдуетъ, можетъ того человъка убитъ, и смертное убійство въ грѣхъ ей не вмѣнястся. Такая статъя естъ, кормилецъ... Отъ этого лѣсной нашему брату страшнѣй всякаго: другой баринъ, какъ великъ ни будъ, все-таки живота лишитъ не можетъ, а лѣсному это, стало-бытъ, можно. Правду сказатъ, таковыхъ случаевъ не слыхать, а все-таки страху много. Какъ же послѣ того не ублаготворишь ты его? Умирать не своей смертью кому охота? Хотъ, можетъ-бытъ, онъ только для острастки такія рѣчи говоритъ, однакожъ все дѣло въ его рукахъ. Ну, а какъ стрѣльнетъ? Тогда что?

«Вотъ ещеэти издёльны билеты унасъ! Такую заминку дёлають, что просто не приведи Господи! Что мужикъ ни сработаеть: смолы-ль насидить, кадушекъ ли, ведеръ ли надёлаеть, чашекъ ли наточигь, — на всяко издёлье, какъ его на продажу везти, долженъ у лёсного билеть выправить. И въ тотъ билеть на дорог всякій у тебя смотрить, лёнивый развё про билетъ не спрашиваеть... И на перевозахъ съ нимъ задержка, и на базарё хлопотъ не оберешься. А въ города да на ярмонки лучше не ёзди. Всякій тамъ съ тебя сорвать норовить: и городничій, и квартальный, и исправникъ; будочникъ привяжется—и будочника ублаготвори, не то скажетъ, что издёлье изъ краденаго лёса: тебя послё по судамъ и затаскають. А билетъ даютъ одинъ, сколько мужикъ ни наработаетъ то-

вару, ему все одинъ билетъ. Ипой разъ и повезъ бы издѣлье самъ на базаръ, а сына на другой бы послалъ, да страшно: билетъ-отъ не разорвать стать, а куда безъ билета пріѣхалъ, тамъ скажутъ, что ты воровское издѣлье привезъ, и такътебя оборвутъ, что долго будешь помнитъ, каково безъ издѣльнаго билета на базаръ выъзжатъ.

«Тоже вотъ и насчетъ штрафиыхъ за неуборку вершипъ и сучьевъ. Это ужъ выходить для насъ немножко и обидно, родименькой. Самъты носуди, кому хочется штрафованнымъбыть? Штрафъотъ хоть не великъ, да слово-то будто обидно. Да этотъже штрафъ льсной береть напередь, заодно съ поненными, точно тому дълу такъ и надо быть, чтобы каждый человъкъ штрафился. Ты возьми хоть два, хоть три гривенника — за тъмъ мы не стоимъ — да штрафомъ-то не зови, а то въдь, что тамъ ни говори, все же выходишь ты человіки нехорошій, коли штрафи сь тебя взять. Да что еще ласной-оть говорить, какь придешь къ нему за билетомъ: «Ты, говорить, вершины-то да сучья не убирай, а какъ отъ этого казенному лѣсу порча, такъ и подай за то гривенникъ штрафу, да подай напередъ, чтобъ послъ мнъ тебя не разыскивать». Оно и обидно таки рвчи слушать: ввдь это все одно, что скажуть тебв, казну-де ты обвороваль. Такимъ деломъ обзывать невиноватаго, кажись бы, не надо.

«А куда убирать вершины да сучья — ни у насъ ни по другимъ волостямъ мъстъ не отведено... А мъста наши ровныя: ни горъ ни овраговъ верстъ на сотню во всѣ стороны нътъ, валить-то вершины да сучья и некуда. Разъ было - кучились мужики лесному, всемь міромъ кланялись, «укажите, моль, ваше благородіе, такое м'ясто». Такъ онъ поди-ка какъ разлютовался. «Учить, говорить, меня вздумали? Объ васъ же, говорить, начальство заботу принимаеть, нарочно штрафы учредило, чтобъ васъ отъ дъла не отрывать, а вы же, мошенники, еще неблагодарны остаетесь! Да пикни, говорить, у меня кто-инбудь хоть единое слово, не то что безъ промыслу — безъ дровъ, безъ лучины оставлю. Лишу и тенла и свъта на всю зиму зименскую». Да весь міръ въ зашей. Опосл'в еще похвалялся нашему головъ: «Воть, говорить, отведу я имъ мъсто версть за иятьдесять, такъ узнають кузькину мать». Что ты станешь делать, родимый мой?

«Да нашъ баринъ — добрый и смирный, Иванъ-отъ Васильичъ. Бога надо благодарить за такое начальство. Просто сказать душа-человъкъ. Другой разъ и покричитъ, и побьетъ, и убить изъ ружья погрозится, а все же съ нимъ говорить хоть можно — на ръчи охочій. И много еще милости оказываетъ,

дай Богь ему многольтняго здравія. Хоть бы пасчеть лажу. Въдь прежде, родименькій, цілковый-оть четыре рубля двадцать пять конеекъ ходиль, а потомъ его на три съ полтиной поворотили. Теперь деньги у мужика хоть и тв же, да счетомь-то ихъ стало меньше, оно будте ихъ и не хватаетъ. И по всемъ местамъ въ пынешни времена, где ни послышишь — лажъ-оть вездв порвшился, а нашъ Иванъ Васильичь. дай Богь ему здоровья, до сихъ поръ лажемъ милуеть. Попенны деньги, ть на серсбро береть, а насчеть иныхъ сборовъ, которы ему следують: за тронцки березки, за веники, грибной сборъ, орфховый, за струльбу дичины, дровяныя, лучинныя, харчевыя, это все, дай Богь ему здоровья, съ лажемъ принимаетъ. Оно нашему брату и повыгодней... Поэтому — хоть иной разъ Иванъ Васильичъ какого непослушника и поизобидить, а все-жь мы довольны имъ остаемся: отекъ родпой — не баринъ.

«За такимъ лёснымъ, какъ Иванъ Васильнуть, дай ему Богъ многолётняго здравія, жить можно, и только Богъ надо благодарить... А вотъ въ Линовской волости лёсной-отъ Петръ Егорычъ — вотъ ужъ бёда: строгій настрогій и самый не подходящій. Слова съ мужикомъ не молвитъ, глядитъ волкомъ и все норовитъ тебя въ зубы. Какъ ты его ни ублаготворяй, ему все мало. «Мѣсто мое, говоритъ, въ Питерѣ, не у васъ въ трущобѣ съ волками да съ медвёдями, такъ за это за самое, говоритъ, ты и долженъ меня ублаготворитъ. Да номни, говоритъ, расканалья ты этакая, что надо мной есть палата, и потому я самъ подъ сборами нахожусь». Что съ такимъ баринемъ подѣлаешь? А нашему брату безъ лѣсу никакъ невозможно; лѣсомъ только и живемъ.

«Придеть къ Петру Егорычу мужикъ за билетомъ, попенны принесеть, ну и почести сколько слъдуетъ, да коли баривъ на ту пору въ сердцахъ — въ карты проигрался, аль жену въ городъ за нокупками снаряжаетъ, заломитъ онъ такую благодарность, что затылокъ затрещитъ. А какъ мужикъ зартачится, да въ цъвъ не сойдутся, Иетръ Егорычь ему и молвитъ: «приходи завтра». Завтра да завтра, да дъло-то до Евдокен-илющихи *) и дотянетъ. Придетъ мужикъ на Евдокею, онъ билетъ ему выдастъ и окромъ попепныхъ, — каковъ есть мъднит грошъ, — не возьметъ. И даватъ станетъ, еще зарычитъ, ровно медвъдъ: «я человъкъ благородный, на подлости не пойду, муждира маратъ пе стану. Какъ ты смътъ, говоритъ, мошенникъ этакой, взятку миъ даватъ? Да за это, говоритъ, въ Сибиръ

¹⁾ Первое марта.

можень угодить, коли я захочу». Швырнеть благодарность-то, обругаеть, иной разъ поколотить. А въ билетъ процишеть, что выдаль его не на Евдокею, а на Крещенье, либо на Спиридона-поворота *). Мужикъ, коли не былъ ученъ, сдуру-то, ножалуй, обрадуется, что дешево выправиль билеть, да на радостяхь за топоръ— и въ лъсъ. И только-что успъеть онъ свалить деревья, что въ билеть прописаны, Петръ Егорычъ предъ нимъ ровно изъ земли выросъ. Вспороть прикажеть, веревками руки-ноги скрутить и велить польсовнымь въ городъ его везти, - рубилъ-де не въ урочное время. Потому видишь ты, родименькой, съ Евдокенна-то дня рубкъ лъсу запреть, для того, что туть въ соку онъ бываеть. Пу, ладно, хорошо. Наругается досыта, ружье на мужика наставить, говорить: «Убыо и отвъчать не буду: чорту баранъ готовъ ободранъ. Давай иятьдесять цёлковыхъ, не то по суду больше возьмуть». Есть у мужика деньги — дасть, нѣть — подъ судъ его. Тамъ и распоясывайся какъ знаешь, да еще въ тюрьмъ насилинься.

«Попался этакъ ему мой внучекъ, деревпи Жужелки крестьянинъ, Василій Влинниковъ. Моя-то дочка, видишь ты, въ Жужелку выдана: такъ Васька-то внучкомъ мнѣ и приходится. Затребоваль съ него Петръ Егорычь шесть золотухъ; тотъ заупрямился, не даль. Онъ возьми да діло-то и затяни за Евдокею, на Сорокъ мучениковъ **) билетъ-то выдалъ, а прописаль, что выдань за день до Рождества. Васютка, деломъ не волоча, въ лъсъ: свалилъ нятьдесять, никакъ, деревъ, что въ билеть прописаны, да только-что свалиль, Петръ Егорычъ и шасть на то самое мъсто. Поругаль, поколотиль, убить погрозился, иятьдесять цълковыхъ спросиль. Васька не даль: онъ его въ городъ. Что-жъ ты думаешь, родимый? Оцфиили каждое бревно, по расписанію, въ два цёлковыхъ, да съ Васютки по суду семьсоть рублевъ на монету безъ лажу и взяли. Вдвое, вишь, по закону взысканье-то полагается. Что станешь дълать? Мужикъ былъ справный, по всей волости немного такихъ было, теперь въ разоръ разорили его. Пять лошадокъ держаль, полная чаша, а теперь ровно бобыль какой, и коровенки-то ребятишкамъ на молоко даже нъть. И въ палату ходили, къ губернатору: везде сказали, что дело сделано, какъ быть ему следуеть.

«Ужь браниль же я Васыку и клюкой нобиль. «Зачёмь, говорю, несъ ты этакой, не ублаготвориль лёсного шестью золо-

^{*)} Дивнадцатое декабря. **) Девятое марта.

тухами, зачёмь опять, говорю, не даль ты ему пятидесяти цёлковыхъ, какъ онъ въ лёсу тебя накрылъ?..» Да что толковать?—стараго не воротишь. Да, родименькой, супротивъ вётру не подуешь... Воть за Васькино упрямство и покаралъ его Господь. И самъ-отъ разорился, и ребятишкамъ по міру придется идти.

«Да, родименькой, ужъ оно такъ и следуеть. На то и порядки установлены, чтобы ихъ исполнять. Ведь они для насъ же, глуныхъ, пачальствомъ ставятся, безъ порядковъ како ужъ житье? А кто супротивъ порядковъ пойдстъ, тотъ отвечай спиной и мошной. Это ужъ такъ следуетъ. Вотъ и внучку такія же речи я баялъ, да ужъ нечего делать. Ну какъ ему можно было согрубить передъ Петромъ Егорычемъ? Ведь лесной — начальство, а по нашимъ местамъ начальство-то самое первое, для того что лесомъ только и дышимъ. А передъ начальствомъ имей голову наклоппу, а сердце покорно. Начальство должно во всемъ слушаться, и велено за пего Бога молить. Какъ же можно было ему огорчать Петра Егорыча? И ближній человекъ, и болезиь утробы моей, а надо правду говорить. Что въ самомъ деле?

«И какой еще чудной Васютка-то! Чему скорбить! «Мпъ, говорить, не то обидно, что меня ободрали да нищимъ пустили, а то, что судили меня съ Прошкой Малыгинымъ: — ему особенныя права дали, а меня разорили». А Прошка Малыгинъ, родименькой, ихней же деревни мужичонка есть — воръ отъявленный — давно ему м'есто въ Сибири аль въ «рестанской» роть, да все только въ подозрвнін остается. Спервоначалу-то и онъ былъ справный мужикъ, да хмелемъ зашибся, ну, а зелено на нагубу дано, къ добру оно не приведетъ. Съякшался Прошка съ кабацкими сидъльцами, пропилъ, что было у него. сталь изь дому таскать, да старикъ-отець еще живъ, пріостановиль. Связался Прошка съ ворами да съ бъглыми солдатами и ношелъ за добромь черезъ заборъ ходить да на большой дорогь у тарантасовъ чемоданы рызать. Маялись съ нимъ, маялись жужельски мужики — однакожь поймали съ поличнымъ. Судъ набхалъ-временное, значить, отделение. Проживало въ деревив педали двв. Дорого обощлось жужельскимъ Прошкинс дело!.. Ведь кто по суду ли набхаль, всякому принасай и чаю съ сахаромъ, и вина, и всякихъ харчей. Въ двъ-то недъли вску куриць въ Жужелкъ переръзали, что барановъ перекололи, а свиней, гусей и всякой животины не столь перевди. сколь озорствомъ разбросали... Да что тутъ говорить — извъстно дёло: воръ ворусть — міръ горюсть; а воръ пональ — такъ и міръ пропаль. У Прошки обыскъ дёланъ быль: нодъ поломъ

много краденаго нашли. Посадили Прошку въ острогъ; сидить годъ, сидить другой, отъвлся на острожныхъ-то калачахъ быкъ быкомъ сталъ. На третій годъ Прошкино діло рішили. Привели его въ судъ выслушивать решенье, и Васютку моего туда-жъ пригнали. Спервоначалу Васькъ ръшенье вычитали: взять съ него семьсоть на монету, а после того Прошке стали вычитывать. Вычитывають Проингв такой судь: «Следовало бы тебя, деревни Жужелки вора, Прошку Малыгина, за твое великое воровство послать на житье въ дальны губерніи, да но стать вакона замына выходигь, и по этой стать следуеть тебя, Прошку, въ «рестанску» роту на полтора года. А какъде въ нашей губерніи «рестанской» роты покамфсть еще не завели, такъ по этому самому случаю тебв, Прошкв, но другой стать в друга замьна выходить: сидьть тебь, вору, въ рабочемъ дом'в два года три м'всяца. А какъ въ рабочемъ дом'в и безъ тебя, вора Прошки, много сидельцевъ и посадить тебя, мошенника, некуда, такъ по этому случаю выходить тебв по третьей стать в третья заміна: веліно тебь, Прошкі, дать восемьдесять пять розогь при полиціи». Прочитавши такой судъ, судья спросиль Прошку: «Доволенъ ли, говорить, ръшеньемь?» А Прошка ногь подъ собой не слышить: радърадешенекъ, что замъсто дальней губерній спиной отвътить можеть. Поклонился судь вы ноги: «Много, говорить, доволенъ вами, по гробъ жизни, говоритъ, не забуду вашей милости». А судья ему: «Погоди, говорить, ведь тебе, вору, грабителю, еще особенны права будуть». Прошка призадумался. «Что-жъ, думаетъ, спину-ль вдругорядь стануть драть, въ острогв-ль еще сидеть доведется, али деньги потребуются?..» А судья ему: «Перво діло, говорить, не бывать тебі сиротскимъ опекуномъ; второе дело: не будутъ тебя въ свидетели брать; третье діло: не стануть на мірской сходь пускать; четвертое, говоритъ, дъло: — ни въ головы, ни въ старшины, ин даже въ сотскіе аль въ десятскіе не стануть тебя выбирать во всю твою жизнь». Повалился Прошка въ ноги, слезами заливается: «Отцы мои родные, говорить, благодътели вы мон, ужъ коли такія есть до меня ваши милости, нельзя ли приписать, чтобъ и подводъ-то съ меня не брали?..» Однакожь подводами Прошку не помиловали, гоняетъ очередь съ другими наряду.

«Воть на это на самое и обижается Васютка: «Какт же, говорить, это такъ? По Прошкину двлу — воръ Прошка; а но моему двлу — воръ не я. Какт же съ меня семьсотъ цвлковыхъ взяли, а ему права дали и сталъ опъ теперъ счастливъ на всю жизнь?» Я говорю: «Ты, Васька, молчи, на то порядокъ,

и всякому свое счастье, а надо всёми Вогь. И ты, говорю, Бога не гнёви: — лёсного почитай, супротивничать не моги, а кому какое счастье Госнодь на судё посылаеть: не тебё, снволаному, о томъ разсуждать. Какъ ты себё ни мудри, а Богь падъ нами, и супротивъ начальниковъ ходить не велёно. А такая супротивность, говорю, какъ твоя передъ Истромъ Егорычемъ, по всему хуже Прошкина воровства...»

Въ это время послышался колокольчикъ. Тарантасъ подъъхалъ къ мельницѣ, и я простился съ дѣдушкой Поликариомъ.

 — А не можень ли ты, родименькій, кулижки-то намъ выхлопотать? — проговорилъ онъ, когда и садился въ тарантасъ.

— Эхъ, ты!.. Еще съ кулигами тутъ! А ты знай ковыряй свои лапотки да языкъ-то не больно распущай, — мольилъ лищикъ. — Еще кулиги захотълъ!.. Какія ужъ тутъ кулиги!.. ъхать, что ли, ваше высокородіе?

— Повзжай. Прощай, двдушка.

И лихой ямицикъ номчалъ но гладкой дорогв. Встрвчались мужики съ бочками смолы, съ ведрами, кадушками, корытами и другимъ лвенымъ издвльемъ. Они торопливо сворачивали съ дороги и, издали сиявъ шанки, инзко кланялись. Ждали, что и я потребую издвльнаго билета.

поярковъ.

Разсказъ.

Вхаль я большой торговой дорогой, обсаженной березками. Туть когда-то быль ночтовый тракть, потому и обсадили его. Торный путь набить сажень на шесть вы ширину, и обозы по немь взады и впереды тянутся безпереводно, другь дружки не мышая, а широкая тридцатисаженная дорога впусты лежить; давно отдана вы распоряженые гуртовщиковы, что гоняють скотину изы уральскихы степей сы Нарыны-Песковы, ярмарки у Хапской Ставки.

Провхавъ версты четыре, яминкъ остановился, слвзъ съ козелъ, сталъ поправлять упряжь на коренной и посвистыватъ пристяжной. Колокольчикъ замолкъ. Въ стороив послышался дрожащій старческій голосъ: *Блаженъ мужъ, аллилуія, иже че*

иде на совыть нечестивыхь, алманія, алманія.

Я оглянулся: у дороги подъ ракитой сидъть старичокъ въ изношенномъ сюртукъ, съ котомкой за илечами; на травъ возлъ него клюка и кожаный картузъ. Утреннее солнце ярко освъщало непельнаго цвъта лицо его и раскинутые по илечамъ съдые, какъ лунь, волосы.

— Кто бы это? — сказаль я путевому товарищу.

— Богомолецъ. И вврно изъ дворовыхъ. Былъ исаремъ либо музыкантомъ у богатаго барина, ввкъ свой брилъ бороду, ходилъ въ форменномъ казакинъ, до свдыхъ волосъ звался Мишкой либо Гришкой и служилъ вврой и правдой. А какъ пришла старость, руки-неги стали отставки просить, да увидалъ Гришка, что во дворив онъ лишнимъ сталъ: то бабы на рубаху холста забыли ему наткать, то въ застольной мъсто сму на сажень отъ чашки — бухъ въ ноги барину: «Увольте въ Кіевъ ко святымъ мощамъ на поклоненіе да къ святителю Митрофацію». Такихъ много по большимъ дорогамъ.

Завидя насъ, старикъ подошелъ и низко поклонился.

— Не въ Ключищи-ль изволите ѣхать, ваше высокородіе? спросилъ онъ.

— Въ Ключищи, а что?

— Окажите милость старику; позвольте на облучокъ присъсть. Дъло хворое — ноги болять. Самъ Богъ не оставить васъ.

Садись, пожалуй, да ты кто такой?
Титулярный совътникъ Поярковъ.

— Садитесь, пожалуйста... Да куда-жь вы? Воть зд'ёсь. Тарантасъ широкъ, троимъ не будеть тёсно.

— Помилуйте, ваше высокородіе, смію ли я?.. Не извольте

такъ много безпоконться.

Насилу уговорилъ его състь съ нами.

— Гдв служили? — спросилъ я, думая, что это одинъ изъ оставленныхъ за питатомъ чиновниковъ... Ихъ тоже довольно на большихъ дорогахъ.

- Приставомъ второго стана Пискомскаго увада Хохлом-

ской губерніи.

— Долго служили?

— Больше десяти льть. А до того секретаремъ земскаго суда быль, инсьмоводителемъ въ городническомъ правленіи— все въ полицейскихъ должностяхъ...

«Десять лътъ становымъ — и на больщой дорогъ инщимъ!

Чудеса!..» — подумалъ я.

— Отчего-жъ не продолжали службу?

— Я-съ... отръшенъ отъ должности съ тъмъ, чтобъ виредъ инкуда не опредълять.

— Чъмъ же занимаетесь?

— Какъ вамъ доложить?.. Ничвиъ-съ... По святымъ обителямъ странствую... Работать не могу — года ужъ такіе.

— Частной бы должности поискали...

- --- Нельзя-съ.
- --- Oruero?
- Указомъ Правительствующаго Сената объявленъ лбедникомъ, хожденіе по частнымъ дівламъ воспрещено... Къ другому ни къ чему не пріобыкъ. Оно, конечно, вона теперь много містовъ по нароходству на Волгів и въ компаніяхъ, и жалованье хорошее, и можно бы приспособиться... И пытался... Да съ моимъ аттестатомъ кто возьметь?

«Воть подхватиль я гуся лапчатаго», — подумалось мив.

— А впрочемъ, благодарю Создателя, что не попалъ на мѣсто! — заговорилъ Поярковъ послѣ короткаго молчанія: — а то не сподобиль бы Господь столько святыни видѣть и недостойными устами своими къ ней прикасаться, не привель бы

узнать матушку Русь православную, какъ живется, какъ думается народу. Былъ я, ваше высокородіе, въ Кіевв и у Почаевской Богородицы, въ Воронежв и въ Соловкахъ, у Кирилла Вѣлозерскаго, у Симеона Верхотурскаго, вкругъ Москвы вездв, всю почти Россію пѣшкомъ выходилъ. А вѣдь нашему брату, убогому страннику, въ дворянскіе да въ чиновничы дома ходу мало: у мужичковъ больше привитаемъ, отъ ихъ транезы кормимся. Отъ нихъ-то и узналъ я русскій народъ... Познавать его вѣдь можно только лежа на полатяхъ, а не сидя за книгами да за бумагами, да разъвзжая по казенной надобности.

Спачала подумаль и, что если это не закоренёлый мошенпикъ, такъ, по крайней мёрё, плуть и ужь навёрное пьяница. Недаромъ говорится: воръ слезливъ, плутъ богомоленъ. Но, вслушиваясь въ звуки рёчей, всматриваясь въ лицо Пояркова, больше и больше удивлялся... Ни сизаго носа, ни багровыхъ иятенъ на щекахъ, ни мутности въ глазахъ, ни отека въ лице, ии одного изъ признаковъ знакомства съ чарочкой не было. Напротивъ, въ глазахъ выражалось много ума и благодушія, въ лице — много твердости характера.

— Послушайте, господинь Поярковь, — сказаль я: — скажу вамь прямо: вы меня удивляете... По вашему лицу, по вашимь

рвчамъ не видно, чтобъ вы были...

— Шельмованный негодий? — перебилъ Поярковъ. — Не роппу на судъ человъческій: творился онъ волею Божіей. Подъядомъ я наказанъ.

— Но...

— Какъ пи будь кривъ судъ человѣческій, — перебилъ меня Поярковъ: — все-таки онъ творится по Божьему велѣнью.

— Бываетъ однако, что певинные страдаютъ!

— Бываеть, что судь мзда глаза дереть, бываеть, что судья неопытенъ и дъла не разуметь, вершить не по закону, не но совети... Такъ... Но поверьте, что за каждымъ невинно осужденнымъ были другіе грёхи, до людей не дошедшіе, а къ Богу вогіявшіе... За эти-то тайные грёхи и осуждается человеть подъ предлогомъ такихъ, какимъ онъ не причастенъ... На человеческомъ судь всего одинъ только разъ былъ осужденъ не имфенцій грёха. Судьей тогда былъ Пилатъ.

«Правда, — продолжалъ Поярковъ: — судья, что илотинкъ: что захочетъ, то и вырубитъ, а у всякаго закона есть дышло: куда захочешь, туда и поверпешь. Да вѣдь и надъ судьей и падъ подсудимымъ есть еще Судія... Неужли Онъ допуститъ безвиппо страдать? Пе налачъ Онъ людей, а весь — любовь безконечная... Судья дѣломъ кривитъ, волю дъявола тѣмъ тво-

рить, на душу свою грвхъ накладываеть, а въ то же время, по судьбамъ Божьяго правосудія, творить и волю правды не-бесной, за ту вину карастъ подсудимаго, которой и не зналъ за нимъ. Такъ-то на всякую людскую глупость находить съ

неба Божья премудрость.

мости воть за что. Въ деревиъ баня загорълась, ее раскидали. Подають объявление о пожаръ: до деревии восемьдесять версть, а у меня сорокъ важныхъ дълъ на рукахъ, въ томъ числъ иятнадцать арестантскихъ. Становому всъхъ обязанностей исполнить нельзя, будь у него въ суткахъ сорокъ восемь часовъ. Потому и держать они вольнонаемныхъ писцовъ. Набираютъ ихъ изъ вольноотпущенныхъ, исключенныхъ изъ духовнаго званія, изъ службы выгнанныхъ, изъ лицъ, состоящихъ подъ надзоромъ полиціи. Они и заправляють деломъ, а становой тыть только занять, что поважные да прибыльные. И у меня человыть съ пятокъ такихъ было. Одного и послалъ я на слъдствие о пожаръ; онъ допросы сняль, дъло какъ слъ-дуетъ очистилъ, я подписалъ, въ уъздный судъ представили, ръшили тамъ: «предать волъ Божіей». А мужичонка, али хо-зяинъ, кляузникъ былъ, подалъ губернатору жалобу: былъ-де у меня поджогъ, а такой-то отпущенникъ поджигателей скрылъ. Губернскаго чиновника прислали, тотъ нашелъ, что мужикъ вретъ, поджога никакого не бывало, а слъдствіе въ самомъ дъть отпущенникъ производилъ, а я на немъ учинилъ фальшивую, значить, подпись и совершиль допросы и очныя ставки заднимь числомъ... Подлогь, значить!.. Губернаторь быль внов'в, а нова метла чисто мететь — подъ судъ меня. Въ уголовной 391 статейку и подвели: «лишеніе вс'яхъ правъ состояній и ссылка въ Сибпрь на поселенье». Подмазалъ — смилостивились: уменьшающія вину обстоятельства нашли, рёшили «уволить оть должности». А туть другое діло завязалось: «о похоро-неніи на огороді безь священническаго отпіванія некрещенненіи на огород'є безъ священническаго отп'єванія некрещеннаго младенца матерью его, состоящею въ расколів». Другой чиновникъ прібхаль. Прикосновенными были государственные крестьяне, стало-быть, надо депутата. Чиновникъ меня и проситъ: «Пельзя ли, говоритъ, поскорій депутата прислать, всего бы лучше безграмотнаго прислать, да прислаль бы свою нечать поскорів, мы бы діло-то разомъ кончили. У насъ, видите ли, говорить, на будущей неділів въ Хохломскі благородный театръ будеть, я, говорить, съ губернаторшей «Женщину-лунатика» представляю, такъ достаньте, пожалуйста, поскоріве депутата, да непремівно безграмотнаго». Написаль я въ волостному писарю записочку высладь бы такого-то старь къ волостному писарю записочку, выслалъ бы такого-то старшину къ чиновнику. Года черезъ три попадись эта записка къ моимъ лиходѣямъ. Завели новое дѣло «о разглашеніи тайны», подъ 453 статью меня: за сообщеніе бумагъ, отмѣченныхъ надписью «секретно»,—отрѣшеніе отъ должности. Вѣдь изволите знать, что каждая бумага про раскольниковъ, какая ни будь пустячная, сверху-то «секретно» надписывается. Бабы на базарѣ про дѣло толкуютъ, а ты «секретно» пиши... По совокупности преступленій меня и приговорили— отрѣшить отъ должности, чтобы впредь никуда не опредѣлять. Кому ни разсказать — всякъ подумаетъ, что не по винѣ страдаю. А осужденъ я достойно и праведно.

«Теперь такъ говорю, когда Госнодь умягчилъ мое сердце, а въ тё поры мыслилъ другое... Когда отрёшили меня, остался я, на старости лътъ, безъ куска хлъба. Еще слава Богу, что ин передо мной ни за мной никого тогда не было — одинъ какъ перстъ. Конечно, депьги были, да лихомъ нажитое прочно не бываетъ, — что было нажито, мірской слезой облито, а мірская слеза у Бога велика. Подъ судомъ бывши истерялся: судъ въдь докуку да деньги любитъ; да и жилъ-то пироконько — привыкъ, знаете, къ хорошей-то жизни, сразу отвыкнуть не могъ. Въ картишки любилъ поиграть, ну и выпала мнъ такая линія, что дело хоть брось — ни пголки съ елки, ни иконы — помолиться, ни ножа, чъмъ заръзаться. Работать силъ нътъ: и годы стары и руки мягки, а мягки-то руки чужой хлъбъ въ ротъ кладутъ, а печь своего пе умъютъ. Такъ горько пришлось, такъ прискорбно, что руки на себя хотълъ паложитъ.

«И воть злость-то какая во мив была: пришель къ проруби топиться; о душь, объ отвыть на Страшномъ судь на умъ не приходить, а про чувашъ вспоминать, какъ они недругу «суху бъду дълаютъ». На кого золь, пойдеть къ тому да у него на дворъ и удавится, судъ бы на него навести... И сталъ я думать, какая-жъ мив польза, ежели утоплюсь — унесеть меня подъ вешнимъ льдомъ и не знай куда, гдъ-нибудь сыщуть, въ губернскихъ въдомостяхъ напечатають, найдено-де неизвъстное мертвое тъло, и станутъ вызывать наслъдниковъ или владъльцевъ съ ясными на принадлежность онаго доказательствами. Нътъ, думаю себъ, коли класть на себя руки, такъ ужъ съ темъ, чтобъ лиходею суху беду сделать: пусть же знасть, что безрога корова и шишкой бодаеть. А лиходвемь почиталь губернатора, что велель меня подъ судъ отдать. И такое веселье врагь вложиль въ меня, что съ проруби-то я ровно съ праздника воротился.

«Сведаль, что у лиходен дельце есть тяжебное. Въ Малороссию верстътысячу изикомъ отщагаль и усталости не знальвотъ какова злость-то была. У него, видите ли, дядя бездѣтный быль, имѣнія тысячи двѣ душъ благопріобрѣтеннаго. Покойникъ женѣ завѣщалъ его, а мой лиходѣй сталъ духовную оспаривать. Вотъ, думаю, привелъ же Господь поплатиться да еще и за правду постоять. Взялъ у тетки довѣренность, ѣздилъ, хлопоталъ, писалъ и «записался»... У племяниика-то, у губернатора, то-есть, сильна протекція была: тетку по міру пустилъ, а миѣ хожденіе по дѣламъ воспретили...

«Указт засталь меня въ Малороссіи. Денегъ ни конейки, дъваться некуда. Опять хотъль руки на себя наложить, опять къ ръкъ пошелъ; по тутъ Господь мнъ помощь явилъ... Встрътился я со старцемъ, сказывалъ, что идеть онъ изъ Кіева въ Саровскую пустынь. Кто такой, не знаю, по человъкъ Божій и даръ прозорливости имълъ. Сталъ разговаривать и всю-то мою жизнь ровно по книгъ вычиталъ. И самъ не знаю, что со мпой сдълалось; заилакалъ я — благодать-то Божія коснулась окаменълаго сердца. «Научи, говорю, старче, какъ горю помочь». — «Ступай, говоритъ, въ Кіевъ, помолись Іоапну Многострадальному, и твоимъ страданьямъ будетъ конецъ».

«Слова старца умилили мое сердце; въ тотъ же день побрелъ въ Кіевъ. Много разъ хотѣлъ съ дороги воротиться, врагъотъ дѣйствовалъ. У самыхъ даже воротъ монастырскихъ смутиль онъ меня, такую тоску нагналъ, что хотѣлъ-было я, не
заходя во святую лавру — на Днѣпръ да въ воду. Но за молитвы праведнаго старца, давшаго мнѣ благой совѣтъ, избавилъ Господь отъ врага... И самъ не помню, какъ очутился
у мощей Іоаппа Многострадальнаго... И тутъ во мнѣ ровно
что просіяло, и заплакалъ я сладкими слезами... Мерзка и
печестива показалась мнѣ прошлая жизнь!.. Вотъ теперь доватый годъ по обѣту, данному въ кіевскихъ пещерахъ, странствую по святымъ обителямъ».

Между тыт подъвхали мы къ Ключищамъ. Старикъ сивкинлъ туда къ храмовому празднику. Въ церкви того села стоитъ чудотворная икона, и къ ней на поклоненье изъ окрестныхъ мъстъ сходится много богомольцевъ. Послъ объдни залучилъ я къ себъ Пояркова. Слово за слово, зашла ръчь про бытъ увздныхъ чиновниковъ. Вотъ что онъ разсказалъ:

— Кто кого сильней да важней въ увздномь городе, — вы не такъ говорить изволите. Ежели хотите знать, кто кого въ увзде больше — въ табель о рангахъ не смотрите; тамъ своя табель. Первое мъсто въ городе — управляющій откуномъ: будь онъ чиновникомъ, будь борода — все одно. Ему и честь и уваженье, его и въ кумовья зовутъ и на свадьбы въ отцы посаженые. Каждый Божій праздникъ всё отъ обедин къ

пему на закуски, каждое первое число всёмъ чиновникамъ онъ шлетъ и вина, и шва, и меду, и наличными много-ль кому слъдуетъ, по «расписанью». Ротъ это самое расписанье и есть табель о рангахъ: кому откупщикъ больше платить, тоть чиновникь важнье, силы въ немь больше. Важиве вскув, конечно, исправникъ, а ежели городъ большой, богатый, кунцовъ живущихъ въ немъ много, аль ярмонки при немъ знатныя есть, — то городничій. Если же городъ не важный, то городничій посл'єдняя спица въ колесниці, и знать его никто не хочеть, и не слыхать совствить про него; только-что въ мундирный день въ соборт на первомъ маста станеть — въ томъ и весь его авантажь. Послъ исправника — становой, потомъ секретарь земскаго суда да секретарь увзднаго. Эти люди первые, за ними пойдеть мелкая сошка: судья, непремънный членъ, казначей, стрянчій, винный приставъ. А вскхъ ниже штатный смотритель да учителя: ими никто не занимается, и никакого къ нимъ уваженія нътъ, откупъ имъ конейки не даетъ, къ самой даже Насхѣ полштофа полугару не пришлеть. И въ гости ихъ не зовуть: развъ когда изъ милости, аль для счету. Не во всякомъ городу окружные есть да лъсничіе; а это люди первой статьи: окружной съ исправникомъ можетъ вровень стать, помощникь его да лъсничій выше станового, чуть-чуть не исправниками смотрятъ. «А ежели насчетъ грёховъ, такъ ихъ во всякомъ городу и

во всякихъ чинахъ довольно... Про другихъ не стану говорить, зачѣмъ осуждать?.. А про свои грѣхи для чего не раз-

сказать?.. Всенародное покаяніе очищаеть відь ихъ...

«Вырось я въ канцелярін; за приказнымъ столомъ и соста-рълся. А зналъ людей по одной только бумагь. Написано въ дёль: «Въ деревнъ Колосковой крестьянинъ Василій Сидоровъ», пу и знаешь, что есть на свътъ Василій Сидоровь. Явится онъ къ тебъ по дълу, только и думы, какъ бы побольше сорвать съ него. Не думаень, будеть ли Сидоровъ съ семьей завтра ужинать, объ одномъ помышляещь, губа-де у меня, у барина, къ сладкому наважена, а мужицкое горло, что суконное бердо, проглотить и долото. Пишешь, бывало, бумагу: «Съ крестьянина Миронова деньги взысканы», и знаешь, что у Миронова были деньги. Пишешь: «Кондратьевъ розгами на-казанъ», и знаешь, что есть у Кондратьева спина. А не сидять ли у Миронова ребятишки безь молока, зажила-ль спина у Кондратьева, про то и не думаешь. Со всякаго берешь, а себя праведникомъ ставишь. Что-жъ? бывало, думаешь: по праздникамъ церковь Божію не объгаю, поповъ съ празднымъ принимаю, говью каждый годъ, въ больше посты не скоромлюсь, нищимъ по силъ помощи подаю, въ тюремномъ комитетв состою членомъ, ежегодимя пожертвованія на дітскіе пріюты, по письмамъ губернаторши, плачу исправно. Чего еще?...

«Святымъ себя считалъ, а врага слушалъ. Шенчетъ, бывало, вь душу-то: «Карпушку-то Власьева прижми, денегь у него, у шельмы, много, пущай не забываеть, что ты его начальство». И прижмешь Карпушку бумаги листомъ, а бумаги листокъ на рукв легокъ, а выйдеть изъ-подъ руки, такъ иной

разъ тяжелъй каменной горы станеть.

«Разъ были нужны деньги до зарѣзу: наличныя въ горку спустиль, праздники подходять, покойница-жена шляпки требуеть, салопъ съ куньимъ воротникомъ ей подай, въ губернское правленіе дань посылать срокъ дві неділи ужь минуль. Хоть вь дом' отъ мірского приносу всякаго припаса и вдоволь, да надо хорошенькаго винда купить, неравно губернскій чиновникъ набдетъ, не подашь ему мадеры деверье — шампанскаго подавай, да настоящаго, по три целковыхъ бутылка. Просто бъда: какъ бредень ни закидывай, рыбешка не ловится. Что делать, какъ быть? А главное дело — губернское! Во-время не представинь — шесть выговоровъ на недвав за-

катять, и ношель подъ судъ, купайся тамъ.

«Почту получаю. Посмотримъ, думаю, — нътъ ли благостыни. Подтвержденій штукъ сорокъ, помѣчаю — «къ дѣлу». Пачка публикацій о сыскъ липъ и имуществъ: ну, это извъстно ділоподъ столъ, инсьмоводитель подбереть, напишеть: «на жительствъ не оказалось», и конецъ. Отъ губернатора предписанія, да все пустяковыя: статистику требуеть, да двухъ старыхъ дъвокъ въ консисторію на увъщанье переслать... Объявленія объ умершихъ солдатахъ, о взысканіяхъ, о скотскомъ падежь, много всякой дряни, а путнаго нёть ничего. — Эхъ, несчастная ты доля моя!.. Еще распечатываю: губернаторша еще разъ пожертвовать въ пользу детскаго пріюта приглашаеть. «Неть, думаю, шалишь, ваше превосходительство, — не до твоихъ поросять свиных, коль ее самое палять на огиз». Съ горя да съ печали за печатны циркуляры принялся. Видно, тяжело было, что за нихъ принялся... Ихъ, бывало, никогда не читаешь, только сбоку пометишь: «къ сведению и руководству».

«Десятка полтора прочель — ничегохонько... Вдругь, гляжу милость-то Господня! У циркуляра сбоку принечатано: «объ отдачь малольтних крестьянских дьтей въ Горыгорьцкую школу Могилевской губерніи». — Э!.. Не штука — деньги, штука выдумка!.. Воть она благодать-то гдф! Съ мъста даже вско-

чиль, зап'вль оть радости: Заутра услыши гласт мой!

«— Лошадей! Въ Ермолино!»... Прівхали.—«Къ волостному Сочиненія II. Мельникова, Т. L.

головѣ!..» Достучались. Вошли. Хозяйка въ задней избѣ самоваръ ставитъ, а хозянеъ, стоя у притолки, въ кулакъ зѣваетъ: на разсвѣтѣ дѣло-то было.

«— Что, говорю, Корней Сергвичь, здоровенько ли поживаещь? «— Слава Богу, говорить, ваше благородіе, Богь грвхамь

терпитъ.

«— Ну, слава Богу — дороже всего, говорю... Домашніе что?

Хозяющка здравствуеть ли?

«— Что ей дълается?.. Вонъ съ самоваромъ возится... Ины надымила какъ въ съняхъ-то!.. Грунька! Чего въ угли-то налила?.. Эка дурь-баба!.. Дымъ сюда пройдетъ — у барина головка разболится.

«— Ничего, говорю, Корней Сергичъ... Ну, дочки что?...

Землемфръ-отъ, чать, недаромъ мфсяцъ у тебя выжилъ.

«— Эхъ, ваше благородіе, чего туть ворошить?.. Мало-ль чего толкують?.. Чужи річи не переслушаень.

«— Ну, да про это что? Давки молодыя! По-вашему, мо-

жеть, такъ и надо. Парнишка-то что?

«— Ничего, ваше благородіе, растетъ. Часословъ скои-

чаль, на второй скамейкъ сидить.

«— Діло хорошее... А відь я, Корней Сергінчь, къ тебі съ повісткой... Читай-ка: человікть ты грамотный. — И подаю ему циркулярь. А народъ-отъ по захолустьямь глупъ: видитъ, печатна бумага, да сбоку «министерство» стоитъ — глаза-то у него и разбіжались. Ученъ еще мало, знаете.

«Прочель бумагу Корней, повертиль вы рукахъ, на столь

кладеть.

«— Мы, говоритъ, ваше благородіе, люди слѣпые, — извольте

приказать, какое тому дёло есть.

«— Что ты за слѣной человѣкъ, Корней Сергѣнчъ!.. Зачѣмъ на себя клепать? Читай-ка вотъ, сбоку-то: «объ отдачѣ мало-лѣтнихъ крестьянскихъ дѣтей въ Горыгорѣцкую школу, Мотилевской губерніи». Видишь?

«— Вижу, ваше благородіе.

«— А слыхаль ли ты про такую губернію? Про Могилевскую-то?

«— Ипкакъ нътъ, ваше благородіе, не слыхивалъ, что есть

такая Могилевская губернія. Впервой слышу!

«— Эта губернія за Снбирью, на самочъ краю свѣта, — говорю ему. — И вся-то она, братецъ ты мой, состоить въ могилахъ. А на тѣхъ на могилахъ гора, и на той горѣ школу, вотъ видишь, завели... Крестьянскихъ ребятишекъ тамъ ко всякому горю пріобучають: оттого и прозвана «на горѣ горецкая школа». Понялъ?

«— Невдомекъ, ваше благородіе: ваши рѣчи умныя, да паши головы глупыя.

«— Да полно малину-то въ рукавицы совать! Что въ самомъ дълъ на себя клеплешь! У него и Власка каоизмы читаетъ, а самъ будто и печатнаго разобрать не можетъ. Бери бумагу-то, читай; не морочу въдь тебя... Печатное. Не самъ же я печаталъ. Видишь? «Объ отдачъ малолътнихъ крестьянскихъ дътей»... А ты читай самъ!

«Корней ни живъ ни мертвъ: только пальцами сѣменитъ. Смекнулъ, куда дѣло-то клоню. А все-таки спрашиваетъ:

- «— Какое-жъ тутъ до меня касательство, ваше благородіе?
- « Какъ какое касательство? Власкъто который годъ?
- «--- Двънадцатый на масленицъ пошелъ.
- «- Такихъ и требуется. Читай-ка вотъ.
- Нельзя ли помиловать, ваше благородіе?
- «— Да какъ же я тебя помилую? По ревизскимъ сказкамъ извъстно въдь, у какого крестьянина какихъ лътъ сыновъя. Что-жъ мнъ изъ-за твоего Власки на свою голову бъду брать... А?..

«Замолчалъ Корней. Повъсилъ голову, лицо пятнами пошло. А я себъ прималкиваю, изъ сундучка бумаги вынимаю да раскладываю ихъ по столу.

«— Нельзя ли какъ помиловать, ваше благородіе? — заголо-

силь Корней.

- «— Какъ мив тебя миловать-то, Корней Сергвичъ? Своего, что ли, сына замвсто Власки по этапу высылать? Такъ у меня и сына-то ивтъ.
- «— Все въ вашихъ рукахъ, ваше благородіе... Какъ Богъ, такъ и вы!.. Помилуйте, заставьте за себя вѣчно Бога молить.
- «Корнеева жена въ избу вошла, знаетъ ужъ, о чемъ дёло идетъ. Повалилась на полъ, ухватилась мий за ноги, воетъ въ источный голосъ на всю деревию. Услыхавши материнъ вой, дёвки прибёжали, тоже завыли, тоже въ ноги. А Власка, войдя въ избу, сталъ у притолки, самъ ни съ мёста. Побёлёль, ровно полотно, стоитъ, ровно къ смерти приговоренъ.

«— Душно что-то здісь, — молвиль я Корнею: — на крыльцо

выйду. Хочешь, вивств пойдемъ.

«Вышли на крыльцо. Хозяйка почти безъ дыханія. Д'ввкибыло за нами, да Корней цыкнулъ па пихъ.

«Сѣлъ на крыльцѣ, трубочку закурилъ, покуриваю себѣ...

Говорю Корпею таково пріятно да ласково:

«— Избы не хочу сквернить этимъ куревомъ... Зпаю, что старинки держишься, скитамъ въруешь... Такъ я на крылечкъ, чтобъ у тебя боговъ не закоптить... Садись-ка рядкомъ, Корией Сергъичъ, потолкуемъ...

«Потолковали. На ияти золотыхъ покончили. Написалъ я Власку нёмымъ и увёчнымъ, въ Горыгорецкую, значитъ, негоднымъ.

«Съ легкой Корисевой руки у меня дело какъ по маслу пошло. Сколько ни было въ стану богатыхъ мужиковъ, — всехъ объёхалъ, никого не забылъ. Сулилъ могилы да на горахъ горе, получилъ за каждаго парнишку по золотенькому, въ глухіе, въ нёмые писалъ ихъ... Мужики рады-радешеньки, отбывши такое великое горе. Всёмъ праздникъ, а мнё вдвое: — у жены салопъ и инляпка съ бёлымъ перомъ, точь въ точь какъ у вицъ-губернаторши; у полюбовницъ, что въ стану держалъ: у одной шелково платье, у другой золотная душегрёйка; шампанскаго вдоволь, хеть на мёсяцъ пріёзжай губернскіе... А главное, въ губернскомъ правленіи остались довольны: крёпко, значитъ, на мёстё сижу.

«Да-съ, бывалъ я коткомъ, лавливалъ мышекъ.

«Вся штука въ томъ, что надо остроту имѣть, чтобъ показать мужику дѣло не съ той стороны, какъ оно есть. Это у насъ называлось «перелицовать». Кто мастеръ на это, будетъ сытъ, и дѣтки безъ хлѣба не останутся. Законъ, какъ толково ни будь написанъ, все въ нашихъ рукахъ: изъ каждой бумаги хочешь — свѣчку Николѣ сучи, хочешь — посконну веревку вей... А мужикъ что понимаетъ? Опъ человѣкъ простой: только охаетъ да въ затылкѣ чешстъ. До Бога, говоритъ, высоко, до

царя далеко. Похнычеть-похнычеть — и перестанеть.

«А нѣтъ ничего прибыльнѣй, какъ раскольники. Народъ ужъ такой: обижаются даже на того, кто не беретъ. Кто взялъ, на того надѣются, что не выдастъ и все по-ихнему сдѣлаетъ; а кто не взялъ, того боятся, притѣснителемъ обзываютъ, и пронесутъ имя его, яко зло — до самыхъ высокихъ степеней... Такая ужъ вѣра у нихъ: имъ шагу ступить нельзя, чтобы чего-иибудь супротивнаго закону не сдѣлатъ. Паспортовъ, по-ихнему, не надо, для того, что антихристову печать означаютъ. Отгого безнаспортнымъ у нихъ пристанище, къ тому-жъ безъ бѣглыхъ имъ во всемъ невозможно: попы ли, большаки ли ихніе, народъ все «скрыющійся», попросту сказать — бѣглый. А это нашему брату и на руку. У меня въ стану скиты были — дно золотое.

«Въ каждомъ по десяти, по двънадцати обителей, въ каждой обители настоятельница, старицъ и бълицъ штукъ пятьдесятъ и побольше. Это «лицевыхъ», значитъ, такихъ, что съ
наспортами живутъ... Кромъ того «скрыющихся» много.
Каждая настоятельница за «лицевую» въ годъ золотыхъ по
два платитъ, а за «скрыющуся» меньше тридцати взять нельзя.

А у богатыхъ раскольниковъ еще такое заведение есть, что ежели купеческой дочкъ пошалить случится и она тяжела станетъ, ее посылаютъ въ скиты, будто бы къ тетушкъ тамъ какой-нибудь погостить, въ своемъ-то бы городу огласки не было, женихи бы послъ не объгали. Тутъ, бывало, пожива хорошая: дъвка-то прібдетъ съ деньгами, съ нея за то, чтобъ дъвичьей тайны не огласить, а ребеночка принесеть — слъдствія-бъ пе производить!..

«Большой праздникъ подходитъ: изо всѣхъ обителей къ тебѣ съ подносами: къ Пасхѣ— на куличи, къ Петрову дню— на барана, къ Успенью— на медъ, къ Покрову— на брагу, къ Рождеству— на свинину, къ масленицѣ— на рыбу, къ Вели-

кому посту — на рѣдьку да на капусту.

«А то еще за сборами по городамъ матери ѣздятъ. Пріѣдутъ передъ зимнимъ Николой, воротятся къ Благовѣщеньеву дию... ѣдучи въ путь, приходятъ паспорты явитъ... Со сбору воротятся, опять являются — и чего тутъ, бывало, ни натащатъ. Котора въ Саратовъ ѣздила — рыбы да икры, котора въ Казань — сафьяну на сапоги, котора изъ Екатеринбурга пріѣхала — нельмы-рыбы да печатокъ изъ камней самоцвѣтныхъ, съ Дону — балыковъ, изъ Москвы — сукна, матерій разныхъ, всякаго, значитъ, фабричнаго дѣла. Самому ни съѣсть ни износить, лишки нужнымъ людямъ въ губернію илешь... Они довольны, и оттого насчетъ непріятностей опасенія не предъидится.

«Въ скить прівдешь — угощенье туть тебв богатой рукой. Спервоначалу все чинно: сядешь за столь съ чиновниками, что прихватишь съ собой разгуляться, матери во всемъ чину у дверей стоятъ: въ вънцахъ, во иночествъ, — шапочка такая илисовая у нихъ есть, иночествомъ зовется! — на плечахъ у вськъ манатейки — пелеринки этакія черныя съ красной выпушкой. У каждой въ рукъ лъстовка: стоятъ смиренно, глядять умильно, ръчь ведеть одна игуменья, да развъ еще ксларь, стряпка значить, примолвить: «милости просимь», когда на столъ нову перемъну ставить. Рядовыя старицы только <mark>вздыхають да молитвы про себя шенчуть. Бѣлиць туть не</mark> бываеть, — тв по свытлицамъ сидять. И велишь, бывало, матерямъ пить, ихнимъ же добромъ ихъ угощаешь. Хоть всв онв, кромв престарвлыхъ, до винца и охочи, — а спервоначалу тоже блюдуть себя, церемонится. Выругаешь хорошенько, примутся за чарочки... Переньются, потому что не сміють ослупаться...

«Тогда къ бълицамъ въ гости. А бълицы бывали хорошія, молодыя, красивыя, полныя такія да здоровенныя— кровь съ

молокомъ. Ходятъ чистенько: юбки, рубашки миткалевыя, кофточки полотняныя... При сторониихъ въ черныхъ сарафанахъ съ цвѣтными широкими ситцевыми передниками. Пойдешь по свѣтлицамъ: тамъ опѣ сидятъ, бисерны кошельки вынизываютъ, шелковы пояски ткутъ, по канвѣ шерстями да синелью вышиваютъ... Такая тутъ возия пойдетъ, что безъ грѣха никогда, бывало, кончиться не можетъ... Насчетъ этого слабеньки...

«А відь ихъ винить пельзя. У крестьянской дівки хоть много работы, да въ году три радости есть: на маслениці покататься, на Святой покачаться, на Тронцу вінки завивать. А келейны білицы тяжелаго діла не знають, снують цілый день изъ часовни въ світлицу, изъ світлицы въ часовню, каноны читають да кошельки вяжуть — воть и работа вся. А інфарть сладко, спять мягко, живуть пространно, всякому пальчику по чуланчику — дурьто въ голову и лізеть. По-ихнему же это и не гріхть, а только паденіє: безъ гріха, слышь, ніть покаянія, а безъ нокаянья и спасенія ніть. Потому дівний и дозволено согрішить, было бы въ чемъ каяться и тімъ

спасеніе получить. Такая ужъ вѣра.

«А когда благодътели, значить, богатые кунцы, прівдуть въ скить, туть не то... Не тымь обитель смотрить, точно въ самомъ дъль истинное благочестие въ ней обитаетъ. Поведутъ матери благольтеля въ часовию, тамъ старицы стоять чинно, рядами, въ полиомъ чину, на венце у каждой креповая «паметка», все лицо она покрываеть. Вездв лампадки, вездв сви горять. Въ середини стоить «уставщица», смиренно въ землю глаза опустивъ, внятно читаетъ старинныя кинги. Чистыми, звонкими голосами стройно былицы поють по крюкамъ, демественнымъ разводомъ. Кланяются разомъ, передъ земными ноклонами бросають на поль подручники разомъ, подымають ихъ разомъ, лъстовки перебираютъ разомъ. Слова сторонняго не молвять, въ сторону не взглянутъ — да этакъ часовъ пять либо шесть сряду. Благодітель-отъ упарится, умается и самъ себъ думаеть: «Воть оно гдъ благочестіе-то, воть она гдъ старая-то віра!..»

«И пригоринями благостыни отвалить... А домой прівдеть, брать своей зачисть говорить: «Виділь я, братія, скиты... Ужь такое тамь благолініе, ужь такое тамь благочестіс: истинио земные апгелы, небесные же человіки». А небесные человіки — только-что благодітель вонь изъ скита, на радостяхь оть хорошей выручки, — старицы за рюмочку, а білицы

за мила дружка за сердечнаго.

«Благодьтели на каноны и на негасимую денегъ скитницамъ

пересылають много. Ежели гдв-нибудь, хоть въ дальнемъ какомъ городв, богатый раскольникъ умретъ, родственники носылають милостыни «на кормъ братіи». Тв деньги идутъ настоятельницамъ, у нихъ въ каждой обители общежительство: пьютъ, вдятъ на общій счетъ. Кромв того, на «негасимую сввчу» присылають, значить, чтобъ читать исалтирь по покойникв денно-нощно шесть недвль, либо полгода, либо годъ, глядя по деньгамъ, и каждый день пвть «канонъ за единоумершаго». Иной разъ придется рублевъ по пяти на скитницу, богачи-то присылаютъ на всв скиты тысячъ по десяти, на ассигнаціи... Двлежъ бываеть въ скрытности, опричь игуменій да какихъ-нибудь знативющихъ, никого тутъ не бываеть... А сборы имъ закономъ воспрещены; потому онв завсегда у насъ въ рукахъ.

«Случится узнать, — привезли панафидныя деньги и будуть делить въ такой-то обители. Поедешь, бывало; но какъ ни прівдешь — ничего не застанешь, а по всему видно, что воть сейчась изъ кельи вопъ разбежались... Когда и во-время попадешь, да у нихъ въ скитахъ дома нарочно такіе построены: ходы въ нихъ да переходы, темные коридоры, чуланы да тайники, скрытные проходы межъ двойными стенами, подъ двойными полами, и подземные ходы изъ одной обители въ другую есть. Имъ безъ того нельзя, — такая ужъ у нихъ вера, что вся на беглыхъ стоитъ. Прячутъ ихъ въ тайникахъ-то

въ случав надобности.

«Разъ мив удалось на двлежъ попасть. Узналъ, что изъ Сибири большую сумму привезли и будутъ двлить у матери Принархи въ обители. На ту пору былъ я у матери Принархи по какому-то двлу, а у нея купеческая дочка изъ Москвы жила и со мной, грвшнымъ двломъ, по тайности въ любви находилась. А скитскія дввки, я вамъ доложу, бъда какія неотвязчивыя; ежели съ которой сошелся, требуетъ, чтобы въ гости жаловалъ, а ежели долго въ скитъ не бывалъ, плачетъ, укоряетъ — забылъ-де меня...

«— Знаешь ли что, — говорю возлюбленной своей: — выдь у васъ завтра собраніе будеть, а миж больно хочется носмотрить на него. Я бы сегодни такъ сдылаль, будто ужду изъскита, а самь у тебя въ свытлици останусь, ты миж ихнее-то

собраніе изъ тайничка и покажешь.

«Обрадовалась моя Варвара Абрамовна, что цёлыя сутки у ней въ свътлице пробуду... Велълъ я письмоводителю мою шубу надъть, да чтобъ по голосу его не признали, приказалъ ему пьянымъ быть, и вышло такъ, будто я напился до безчувствія, и меня, положивни въ сани, изъ скита вонъ увезми.

Цѣлыя сутки пробыль я у Варвары Абрамовны, а подъ вечерь черезь тайничокъ внизь спустился и сталь возлѣ Иринархиной кельи. Дырочка тамъ проверчена: все видно.

«Собрались матери, приказчика привели, что деньги привезъ, помолились, письма прочитали, канонъ за умершаго пропѣли, кутън поѣли и усѣлись — деньги дѣлить. Самая полночь была. Только-что деньги на столѣ опѣ разложили, я изъ тайника да середь честной компаніи и сталъ.

«— Здорово-ль, говорю, ноживаете, преподобныя матери?..

Что-жъ меня-то въ долю не принимаете?

«Заметались. А при мнв охотничій рогь быль. Затрубиль... Сотскіе да разсыльные—а имъ напередъ велвно было тайнымъ образомъ къ ночи вкругъ обители собраться— голосъ стали подавать.

«— Слышите, говорю, матери? Мон-то молодцы русака въ скиту учуяли! Да не ты ли русакъ-отъ, почтенный? — говорю приказчику. — Кажи наспортъ!

«— Паспорта нѣтъ; въ городъ на квартиръ, говоритъ, по-

кинулъ.

«— Это мит все равно. Ежели при тебт паспорта изть, милости просимъ въ кутузку.

«— Да я, говорить, купеческій сынъ.

«— А хотя ты и купеческій сынъ, да есть пословица: отъ тюрьмы да отъ сумы никто не отрекайся. Сидять въ тюрьмы и дворяне, не то что ваша братья, купцы.

«Такъ да этакъ, смиловался я, отпустилъ приказчика. Три тысячи на ассигнаціи мив досталось. Читали-ль матери за-

казной псалтирь, итть ли — того не знаю.

«А ужъ какъ легковърны онъ, такъ просто на удивленье! Жила въ Чернушинскомъ скить среднихъ лътъ дъвка, звали се Пелагея Коровиха. Жила у матерей долго, скитскіе порядки знала; да скружилась, — ее и прогнали. Въ городъ перевхала. Сайки на базаръ продавала, съ печенкой у кабака сидьла-перебивалась этакой торговлей. Познакомилась она съ отставнымъ солдатомъ Ершовымъ, что летъ съ десятокъ при земскомъ судъ въ разсыльныхъ быль, по всему увзду знали его. Запивать сталь — потерпили-потерпили, однако выгнали наконецъ. Приходить онъ къ Коровихв, на судьбу плачется: «не знаю, говорить, что и будеть со мной; удавиться думаю, хуже будеть, какъ съ голоду номру». Посовътовались — да и придумали штуку! Обрезала Коровиха косу, добыла где-то вицмундиръ, чиновникомъ одълась, орденъ св. Станислава на шею надъла. Достали лошадей; Коровиха въ сани, Ершовъ на козлы, да ночнымъ временемъ въ скитъ, только не въ

тоть, гдв Коровиха жила, а въ другой, гдв не знали ее. А по увзду еще не было извъстно, что смененъ Ершовъ, и опъ по дорогъ сказываетъ, что посланъ исправникомъ при чиновникъ, что по раскольничьему дълу изъ Петербурга прівхалъ. Передъ Коровихой всв шапки ломаютъ; видятъ, баринъ большой: крестъ на шев.

«Прівхали. Разбудиль Ершовь настоятельницу. «Вставай, говорить, скорвії, мать Евфалія: бёда твоя до тебя дошла. Чиновникь изъ самаго Питера пріёхаль. Чуть ли часовню не

станеть печатать». Евфалія заохала, Ершовъ ей свое:

« — Меня, говорить, исправникь нарочно съ нимъ послаль, чтобъ тебъ, по силъ возможности, какую ни на есть помощь подать.

«— Кормилецъ ты мой!.. — завопила Евфалія. — Помоги ты миѣ старой старухѣ, а ужь я тебя не оставлю... Заставь за себя Бога молить!.. — А сама межъ тѣмъ Ершову въ руки зелененькую.

- «— А ты вотъ что, мать Евфалія, говоритъ Ершовъ: сдълайся-ка съ нимъ, какъ знаешь; поблагодари его честь. Исправникъ велъть сказать, что онъ подходящій, благодарить его можно.
- «— Дай Богъ здоровья его высокородію Петру Өедорычу, говорить Евфалія: что на разумъ наставляеть меня старую да глупую.

«А чиновникъ-Пелагея ужъ въ кельѣ... Очки на носу, бумаги разбираетъ. Вошла къ нему мать Евфалія ни жива ни мертва.

«— Какъ тебя звать? — крикнула ей Коровиха. «— Евфалія грышная, ваше превосходительство.

«— По отцѣ?

«— То-есть по-бѣлически-то зовутъ меня Авдотья Маркова; а это значитъ по-иночески: Евфалія грѣппая.

«— Да развѣ ты смѣешь иноческимъ именемъ называться?—

закричала Коровиха и ногами затопала.

«Да приподнявши платокъ, что Евфалія на себя въ роспускъ пакинула, увидала подъ нимъ и манатейку и вѣнецъ... Пуще прежняго закричала:

- «— Это что такое? Это что надѣто на тебѣ?.. Не знаешь развѣ, что за это вашу сестру въ острогь сажаютъ? Въ кандалы старую каргу, крикнула Ершову Коровиха: въ острогь ее, шельму, вези!
 - «— Слушаю, ваше превосходительство! говорить Ершовъ.
- «— Подай изъ саней кандалы! крикнулъ онъ, выйдя въ съни, извозчику.

«Ровно громъ грянулъ въ обители: въ ногахъ валяются, милости просятъ. Туть и промахнись Коровиха. «— Давай, говорить, десять цёлковыхъ да штофъ пви-

нику.

«Тотчасъ принесли и деньги и пѣппику... Только тутъ всѣ и поусуминлись: что-жь это за важный чиновникъ, коль за дѣло, что тысячи сто̀итъ, только десятъ цѣлковыхъ потребовать... Опять же ни мадеры, ни рому, ни другого дворянскаго нойла ему не надобно, а вдругъ подай пѣнинку! Неподалску отъ скита исправникъ въ то время на слѣдствіи былъ. Ему дали знать, тотъ нагряпулъ. Входить въ келью, а Коровиха съ Ершовымъ, штофикъ-отъ опорожнивши, по лавкамъ лежатъ. Такъ и взяли се въ вицмундирѣ и съ крестомъ на шеѣ. По суду три года въ рабочемъ домѣ потомъ просидѣла.

«Чего въ тъхъ скитахъ ни творилось! Да вотъ хоть про друга моего, про Кузьку Макурина разсказать. Былъ онъ изъ удъльныхъ крестьянъ, парень еще молодой. Отецъ у него кузнечиль, а когда померъ, довольно деньжонокъ сыну оставилъ, и домъ — полну чашу, и кузницу о двухъ наковальняхъ. Неразумному сыну родительское богатство въ прокъ не пошло; не понравилось Кузькъ ремесло отцовское: ковать жарко, продавать холодно. Черной работы не жаловалъ; захотълось ему бълоручкой житъ — значитъ, отъ кузницы подальше, меньше бы коноти было. Годика въ два родительское добро все по интъв спустилъ. Къ випцу да къ сладкой ъдъ привыкъ, а въ мощиъ-то пусто. И почалъ деньги ломомъ да отмычками добывать. Разъ пять попадалея, да каждый разъ по суду въ подозръны только оставляли. Поймали наконецъ на дътъ, въ солдаты приговорили, потому что недъли до совершенныхъ лътъ у него пе хватало.

«На другой же день, какъ сдали его, онъ бѣжалъ. По деревиямъ проживать опасио было, — онъ въ скиты. Пришелъ къ матери Маргаритѣ: — «Бѣгаю, говоритъ, отъ антихриста, и

ты, матушка, меня въ стенахъ своихъ сокрой».

«Маргарита разжалобилась, взяла Кузьку на конный дворт въ работники. Туть онъ зажилъ принвваючи: сыть, пьянъ, одъть, обуть... А главное, живучи подъ крылышкомъ Маргариты, никого не бойся, даромъ что бъглый... Мы съ ней жили въ добромъ согласіи. Иногда развъ что скажешь ей: «Кузькато у тебя больно пространно живетъ, спрячь его до грѣха». Ну и припрячетъ.

«Кузька со мной подружился черезъ то, что Маргаритину илемяницу Евираксію Михайловиу мив предоставиль. Изо Ржева была, купеческая дочка — съ офицеромъ провинилась, се и послали къ теткв стыдъ прикрывать. Скитское житье ей по праву пришлось — осталась въ кельяхъ... Ну, Кузька, спа-

сибо ему, помогалъ, очень даже помогалъ. Оттого и завелась

у меня дружба съ нимъ.

«Неспокойный быль человікть. Чімть бы, кажется, не житье ему было у матерей? Такъ ніть, накостить началь и скитниць мий выдавать. Шеннеть, бывало: «Приходите, ваше благородіе, тихими стопами ночью подъ Успеньевъ день къ матери Өеозві въ моленную; біглый попъ прійхаль, въ потняной церкви станеть служить».

«Нагрянешь, во всемъ чину службу застанешь. «Это что? Ты кто такой? Вяжи!» Матери забъгають, ровно мыши въ подпольъ: котора антиминсъ за пазуху, котора сосуды въ карманъ, съ попа ризы деретъ. А попъ ровно хмельной, самъ шатается, а норовить въ уголъ, чтобъ оттуда въ тайникъ да скрытыми переходами въ другу обитель, а оттолъ въ лъсъ. Зналъ я эти штуки-то: «Нътъ, говорю, отче святый, отъ меня не улизнешь, знаю я ваши мышиныя норки, а протяни-ка ты лучше стопы свои праведныя, вонъ сотскій-отъ хочетъ кандалы на тебя набивать».

«Старицы въ ноги.

«— Батюшка, ваше благородіе, положи гнівть на милоств! «— Дамь я вамъ милость, говорю: вяжи всіхть да подводы

«— Дамъ я вамъ милость, говорю: вяжи всёхъ да подводы подъ нихъ снаряжай... Всёхъ въ острогъ.

«А онъ:

«— Помилосердуй, мплость на судѣ хвалится.

«— Дамъ я вамъ милость!.. Вяжи всёхъ да гаси свёчи: часовию-то запечатаю.

«А самъ изъ кармана шнурокъ, печать да сургучъ. Всегда при себъ держалъ: страхъ внушаютъ.

«- Да заставьте же, ваше благородіе, за себя Бога мо-

лить, — вопять старицы: — помилосердуйте!...

- «— Да что вы, говорю, пристали ко мнь?.. Ничего не могу сдылать, губернаторъ предписалъ. Сами знаете: твори волю пославшаго.
- «— Да все въ твоихъ рукахъ, батюшка, ваше благородіе!.. Какъ Богъ, такъ и ты!..

«Дали. Йопа въ кибитку, а мы къ Өеозвѣ чай пить да съ бѣлицами балясы точить.

«Провѣдаетъ Кузька: подъ моленну новы столбы подв<mark>ели; скажетъ. Пріѣдешь въ скитъ, найдешь починку, запечатаешь моленную. Пообѣдаешь, разгуляешься, возьмешь, распечатаешь.</mark>

«А на Кузьку ни одна изъ матерей подозрвнія не имвла. Думають: «Свой человікь, состоить по древнему благочестію, какъ же ему Іудой-предателемъ быть». А въ своей обители у Маргариты пакостей онъ не творилъ.

«Не сдоброваль однако у скитниць мой Кузька: очень ужт безобразную жизнь новель, стали матери имъ тяготиться, а прогнать боялись, потому что, ежели прогнать, скить сожжеть. Напился онъ разъ съ попомъ Патрикіемъ до-нельзя и зачаль спорить съ нимъ о божественномъ... Спорили они, спорили — Кузька въ ухо попа: «я, дескать, тебя, ревнуя по истинной въръ, аки Никола святитель Арія — заушаю!..» А попъ-отъ черезъ день возьми да Богу душу и отдай... Слъдствія не было: бъглый бъглаго убилъ, оба люди не лицевые. Такъ оно и заглохло.

«Послё того его и прогнали. По деревнямъ шататься сталь гдё день, гдё нечь. Тяжело пришлось житье: въ водкё вкусъ позабылъ. Конокрадствомъ вздумалъ промышлять, да на первой клячонке попуталъ грёхъ: поймали Кузьку, — ко мнё.

«— Что, говорю, попался?

« Попался, говорить, ваше благородіе, такая ужъ судьба моя проклятая!.. А у меня до васъ есть сепреть.

«— Какой?

«— Важный секретъ, ваше благородіе. Могу сказать только одинъ на одинъ... Потому секретъ по первымъ двумъ пунктамъ, государственный секретъ, ваше благородіе...

«Пошли въ боковушку. Сказалъ.

«Вышли мы съ нимъ въ канцелярію, сталъ я съ Кузьки показаніе снимать.

«- Зовутъ меня Иваномъ; какъ по отцѣ и чей родомъ, не помню, сколько льть, не знаю; грамоть россійской читать и писать умію, въ штрафахъ и подъ судомъ не находился, по девятой ревизіи покуда никуда не приписанъ, движимаго и недвижимаго имънія за мной нътъ никакого, опредъленнаго промысла или занятія не имбю, а прибывь въ прошедшемь году въ здешній Пискомскій увзда, занимался деланіемъ фальшивой монеты. На таковое ремесло быль склоненъ торгующимъ по свидътельству третьяго рода крестьяниномъ Маркомъ Емельяновымъ, каковый Маркъ Емельяновъ и научилъ меня, съ помощію собственныхъ его инструментовъ, какъ россійскую, такъ и иностранную монету чеканить. А ту фальшивую монету, изъ опасенія подозрвнія и законнаго по суду воздаянія въ случай открытія, производили мы въ разныхъ містахъ... — Послъ того и пошелъ перечислять мужиковъ, что самые богатые были... Во свидетельство представляль два фальшивые талера и старинный цёлковый, тоже фальшивый. — И сильно скорбя о содъянномъ преступлении и жестоко мучась угрызеніемъ сов'єсти, різшился я въ присутствіи вашего благородія чистосердечно объяснить о содівянномъ мною преступленіи, что вы уже и слышали отъ меня. Имію неотъемлемое право на справедливо заслуженное мною наказаніе и, предаваясь въ волю закона, прошу со мною учинить, что правосудіе повеліваетъ.

«Сдълавъ такое показаніе, Кузька бойко подписался по всѣмъ статьямъ: «Къ сему показанію Иванъ, непомнящій родства,

руку приложилъ».

«Вел'єть я заковать Ивана Непомнящаго и по'єхаль съ нимъ да съ понятыми къ Марку Емельянову. Обыскъ произвели—ничего не отыскали. Маркъ, изв'єстно д'єло: «Знать не знаю, в'єдать не в'єдаю, впервой того челов'єка и вижу». Поставиль ихъ на очную ставку.

«Кузька говорить: — Побойся Бога, Маркъ Емельянычь, какъ же ты меня не знаешь? Да не я-ль у тебя двѣ недѣли выжиль? Да не ты-ль меня училъ монету дѣлать? Да не ты-ль хвалился,

что сдълаешь монету лучше государевой?

«Маркъ и руками и ногами, а Кузька ему:

«— Иѣтъ, постой, Маркъ Емельянычъ, у меня вѣдь улика есть.
 «— Какая улика? — спрашиваетъ Маркъ Емельяновъ.

«— А вотъ какая: прикажите, ваше благородіе, понятымъ въ избу войти.

«Я велёль, Кузька и говорить имъ:

«— Воть смотрите, православные, подь этой подъ самой лавкой я гвоздемъ нацарапалъ такія слова, что съ 1 по 22 октября съ Маркомъ Емельяновымъ вотъ въ этой самой избъя триста талеровъ начеканилъ.

«Посмотрали подъ лавку, - въ самомъ дала та слова на-

царапаны.

«Вязать-было Марка—въ острогъ сряжать, да сладились. Отъ него къ другимъ богатымъ мужикамъ повхали... И всвхъ объвхали. А какъ объвхали всвхъ, велвлъ я Кузъкъ бъжать, кандалы подпиливши, самъ и пилочку далъ ему. Дъло заглохло.

«А Кузька, извольте видѣть, когда по деревнямъ шатался, падписи такія у богатыхъ мужиковъ царапалъ. Попросится почевать Христа ради, ляжеть на полу, да почью, какъ всѣ за-

снутъ, и ну подъ лавкой исторіи прописывать.

«Посль того Кузька попомъ оказался и до сихъ, слышь, поръ попитъ. Есть на рубежь двухъ губерній, Хохломской да Троеславской, деревня Худякова; половина — въ одной губерніи, другая — въ другой. Въ той деревнь мужичокъ проживалъ, Левкой звали—шельма, я вамъ доложу, перваго сорта, а промышлялъ онъ попами. Содержать бъглыхъ поповъ на губернскомъ рубежь было ловко: изъ Троеславской губерніи нагряпутъ — въ Хохломскую попа, изъ Хохломской — въ Троеславства

скую его. Левку всё раскольники знали, отъ него попами заимствовались. Съ этимъ самымъ Левкой и сведи дружбу Кузька Макуринъ — диюетъ и ночуетъ у него, такіе стали друзья, что водой не разольень. Рыбакъ рыбака далеко въ илёсё видитъ, а воръ къ вору и нехотя льнетъ.

«Лежить разъ Кузька у Левки възадней избѣ па полатяхъ, а попъ, подъ вечеръ взъѣхавин къ Левкѣ да отдохнувши послѣ дороги, сидить за столомъ. Избу заперъ, зачалъ деньги считать, что за требы набралъ по окольности. Смотритъ Кузька съ полатей, а самъ тоже считастъ: считалъ - считалъ и счетъ потерялъ. Слѣзъ тихохонько съ печи, отомкнулъ дверь, вышелъ—попъ не видитъ, не слышитъ... Кузька въ переднюю.

«Будитъ Левку: — Вставай, говоритъ, дѣло есть. — Левка всталъ, Кузька ему говоритъ: — Попъ деньги считаетъ, я подсмотрѣлъ. Такая, братецъ, сумма, что за нее не грѣхъ и въ тюрьмѣ посидѣть. Съ такими деньгами, Левушка, вѣкъ свой можно счастливу быть, на Низъ можно сплавиться, въ купцы тамъ приписаться.

«Соблазнилъ.

«— А видываль ли когда тебя отецъ-оть Пахомій? — спрашивасть Левка.

«— Отродясь, — говоритъ Кузька: — не видывалъ.

«— Дылай же воть какъ да воть какъ.

«Поніли пріятели въ заднюю, гдѣ понъ-отъ свои дѣла правилъ... А хоть дверь и отперта была, все-таки, чтобъ Цахомію подать сомитьья, Левка постучался, входную молитву творя.

«— Аминь! — отв'тиль понь изъ избы. — Кто тамъ?

«-- Я, батюшка, отецъ Пахомій, хозяннъ.

«— Сейчасъ, свътъ, отопру... Эко диво како! Дверь-то была отомкнута!.. Забылъ, видно, запереть, вотъ въдь память-то какая у меня стала.

«Вошли Левка съ Кузькой. А деньги у попа ужъ припрятаны. Началъ положили у Пахомія, простились и благо-

словились.

«— Вотъ, батюшка, отче Пахоміе, — говориль Левка: — нашъ христіанинъ, именемъ Косьма, исправиться желаніе имѣетъ, давно мнъ кучился свести его къ іерею древляго благочестія.

«Кузька въ ноги попу. — Прими, говорить, отче святый, на

духъ.

«— Богъ благословитъ, чадо, — отвътилъ Пахомій: — время

теперь тихое, исправлю, пожалуй.

«Левка вышель, Пахомій епитрахиль над'яль, требникъ на палой положилъ. — Клади началъ! — говоритъ.

«Положили началъ. Легъ Кузька инчкомъ, Пахомій ему голову епитрахилью нокрыль и началь «исправу»:

«— Рцы ми, чадо Косьмо...

«А Кузька подняль голову, говорить ему:

«- Отче святой, совъсть-то моя очень сумлениа. - рцы ми прежде: но отлучени отъ великороссійскія церкви приняль ли

ты «исправу втораго чина» съ проклятіемъ ересей?

«— Нѣтъ, чадо, — говоритъ Пахомій: — «исправѣ втораго чина» и проклятію ересей азъ грѣшный по правиламъ пе подлежу, того ради, что и крещение имбю старое и рукоположение старое.

«— А гдѣ-жъ ты старое-то рукоположенье сыскалъ? — спросилъ Кузька, ставъ на ноги передъ Пахоміемъ. — Кто тебя въ

попы-то ставилъ?

«— Да не смущается сердце твое, чадо Косьмо, в'вдай, яко имамы нынъ архіереевь древляго благочестія. Пачало же сему произволению бысть сицевое.

«— Ну, послушаемъ, пожалуй, какое тутъ у васъ было произволеніе, — молвилъ Кузька, садясь на лавку. — Садись и ты, огецъ Пахомій, разсказывай, какое было произволеніе.

«— Есть, мой свъть, киновія Білокриницкая. Исперва обитаема была едиными токмо минхами, священныхъ же особъвъ себъ не имъла, нынъ же Божісю къ намъ милостію получила архипастыря. Вси несумнящеся о семъ христіане, елико обратается ихъ въ поднебесной, въ томъ уварены. Та киповія, влекуще сёмя свое отъ древнихъ оныхъ кубанцевъ, рекше пекрасовцевъ, зашедшихъ туда съ большимъ количествомъ народа, съ женами и дътъми. И тако сін вышереченные кубанцы, рекше некрасовцы, поселившася въ Туречинъ, по ръкъ Дунаю, и во упражнени своемъ занятиемъ рыболовства...

«— Да ты балясы-то не точи, говори настоящее дѣло. Ка-кое произволеніе-то было?.. Кто тебя въ попы-то поставилъ?

«— Внимай, чадо Косьмо, дивному промышленію и не борзися... Симъ бо случаемъ дивная вещь содъяся и памяти достойна

«— А ты лишняго-то не мели, сказывай, кто таковъ?

«— Азъ многогрѣшный прежде быль господскимъ крестьяниномъ и немалое время находился приставникомъ при псовой охоть. Обаче распалихся желаніемь ісрейства, оставя господина, пріидохъ къ епископу нашему Софронію и молихъ сго, да поставить мя во ісрея. Онъ же по многомъ испытаніи рукоположи мя у единаго мужа благочестива, на пчельникѣ, и даде ми одиконъ, рекше путсвой престолъ, и церковь по-.OIVHRHTOL

«- Такъ ты, попросту сказать, бѣглый цеарь?

«-- Не глумися, чадо Косьмо, рцы же ми своя согрѣшенія...

«— А въдь ты мошенникъ, отецъ Пахомій! Изъ исарей въ попы на ичельникъ поставлеит!.. Ай да святител!ь.. Знаю Софрона-то я. Въдь это Степка Жировъ, что въ Москвъ постоялый дворъ въ Вороньемъ переулкъ держалъ, что попа Егора утопилъ?.. Знаю, все знаю, и другого вашего пастыря знаю, Антонія, что прежде Шутовымъ прозывался. Такъ ты изъ этакихъ!.. А сколько ты, собашникъ, христіанскихъ-то душъ погубилъ, ихъ исправляючи? Да знаешь ян ты, что твое мъсто въ Сибири?

«Хвать его за честную браду, и «караулъ» закричалъ. Левка съ веревкой вбіжалъ, скрутили пона, вытащили его на улицу, сбіжался народъ: кто за попа, а кто кричитъ: «Вези его въ городъ!..» Котятъ ему Кузька въ полы-то положилъ: «Вотъ, говоритъ, твои прихожане!» Поглумилисъ этакъ надъ Пахоміемъ и пустили его на четыре стороны, а деньги и весь

скарбъ у Левки остались.

«На другой день приходить уставщикь отъ Пахомія. — «Деньги-то, говорить, возьмите, подавитесь ими, окаянные, ящикъ-отъ только отдайте... Безъ него отцу Пахомію никакъ невозможно.

«— Эка что вздумаль!.. — молвилъ Кузька Макуринъ. — Да я такого ящика пятый годъ добиваюсь. Пойду на Урень, — сторона глухая, народъ слъпой, — стану попить не хуже твоего псаря. Такъ ему и скажи.

«Заплакалъ индо уставщикъ: за ящикъ-отъ Софронію никакътысяча была заплачена, а теперь все пропало ни за денежку.

«Вскрыли ящикъ: тамъ и одиконъ, и полотняная церковь, и

прочее, что нужно, и ставлена грамота.

«— Эка уминца этоть Жировъ! — молвиль Кузька: — не пишеть примъть въ ставленой-то... Хоть я Пахомію во внуки гожусь, а съ этой ставленой могу и Пахоміємъ быть. Прощай, Левушка — деньги всъ себъ бери, съ меня и ящика довольно. Воть какимъ попомъ буду, самъ ко мнъ на исправу придешь... Приходи, Левушка: всъ гръхи отпущу и гроща невозьму.

«Такъ и подълились. Левка съ деньгами на Низъ увхалъ — и тамъ расторговался. А Кузька за Пахомія и до сихъ поръ попитъ...

«Такъ воть съ какими я людьми хороводился! Воть какія дёла дёлываль! Да мало-ль чего ни бывало... Всего не перескажешь.

«Ничего въ свое время не огласилось, предъ судомъ человъческимъ ничего не явилось. Но все было ясно предъ неумытнымъ Судіею... И послалъ Онъ мив наказаніе достойно и праведно».

СТАРЫЕ ГОДЫ.

Разсказъ.

Довелось мив разъ побывать въ большомъ селв Заборьв.

Стоить оно на Волгъ. Мъсто тутъ привольное:

Это гивздо угасшаго рода князей Заборовскихъ. Теперь оно принадлежитъ разбогатвишему откупщику Кирдянину, родитель же его нвкогда былъ подносчикомъ въ Разгуляв. А Разгуляй—любимвйшій народомъ кабакъ въ селв Заборьв. Стоить онъ между пристанью и базаромъ: мвсто веселое, бойкое.

Мѣстность въ Заборьѣ живописна. Крутой, высокій берегь Волги туть перемежается, образуя общирную, покатую къ рѣкѣ лощину, въ ней построено Заборье. Тамъ до десятка златоглавыхъ церквей, сорокъ либо иятьдесятъ двухъэтажныхъ каменныхъ домовъ, больше тысячи деревянныхъ городской постройки, общирный гостиный дворъ, нѣсколько фабрикъ и заводовъ: всюду книучая дѣятельность. По волжскому берегу тянется длинный рядъ амбаровъ для складки хлѣба и другихъ товаровъ, у пристани стоитъ не одна сотня барокъ, расшивъ, ладей, паузковъ и другихъ разной величины парусныхъ судовъ. Поодаль, у особой пристани, устроенной въ Кривоборскомъ затонъ, дымятся пароходы. Въ сторонъ мель, на ней обсохшам коноволка.

И справа и слѣва тѣсно застроеннаго и шумно оживленнаго Заборья великанами высятся крутыя горы изъ краснаго мергеля. На одной красуются величественные храмы XVII вѣка, украшенные снаружи стѣнописью, увѣнчанные золотыми шатрами и куполами. Вмѣстѣ съ громадными двухъэтажными зданіями, опи обнесены зубчатыми бѣлокаменными стѣнами, высокими башнями и бойницами. Ни казанскіе татары, ни лисовчики, ни сообщники Разина не могли взять тѣхъ твердынь, хоть не разъ пытались овладѣть Заборскимъ монасты-

ремъ, зная о сокровищахъ, въ немъ сохранявшихся. Теперъ не то, теперъ здѣсь тихое и безмятежное пристанище немногихъ иноковъ, просторно размѣстившихся по уголкамъ громадныхъ келій, гдѣ въ старые годы тѣсно было житъ многочисленной братіи и толиамъ слугъ и служебниковъ Заборской обители.

По другую сторону Заборья высятся на горѣ налаты князей Заборовскихъ. Величественный дворецъ, строенный въ проиломъ столѣтіи по плану Растрелли, окруженный полуразваливинмися флигелями и службами, господствуя падъ Волгой
и Заборьемъ, угрюмо смотритъ на новую, развившуюся подъего ногами дѣятельность. Запустѣлый, обветшалый, точно
переглядывается онъ съ древними зданіями монастырскими...
Ведутъ межъ собой каменные старцы беззвучную бесѣду о
суетѣ мірской, что винзу гуломъ тысячи голосовъ и звуковъдаетъ знать о себѣ, о привольѣ мѣста и о довольствѣ народа.
Ведутъ угрюмые старды бесѣду, а сами будто сокрушаются,
что мину́ли старые годы, когда наверху было людно и шумно,
а внизу говорить громко не смѣли...

Исправникъ предложить мив показать заборскій дворедь, по нескоро добился ключей. Трое дворовыхъ, приставленныхъ для охраненья гивзда угасшихъ князей Заборовскихъ, разсчитавъ, что злонамъренные люди пе украдутъ ввъреннаго имъ зданія, отправились на пристань шить кули, чтобъ, заработавъ по пятналтынному на брата, провести веселый вечерокъ въ Разгуляв.

Покам'всть сотскій ихъ отыскиваль, мы пошли въ садъ. Садъ огромный, версты на полторы тянется онъ по вѣнцу горы, а но утесамъ спускается до самой Волги. Прямыя аллен, обсаженныя вѣковыми линами, не пропускающими свѣта Божьяго, походили на какіе-то подземные переходы. Мѣстами, гдѣ стволы деревьевъ и молодыхъ побѣговъ срослись въ силошную почти массу, чуть не ощупью падо было пробираться по сырымъ грудамъ обвалившейся суши и листьевъ, которыхъ лѣтъ восемьдесять не убирали въ запущенномъ саду.

Кой-гдв уцфлели каменные постаменты, на нихъ въ старые годы стояли статуи. Извъстный богачъ прошедшаго въка, князь Алексъй Юрычъ скупилъ много статуй за границей и поставиль ихъ въ своемъ Заборьв. Куда после дъвались онв, Богъ знаетъ... Вотъ на одномъ постаментъ уцфлели буквы: «Iov... omnipoten...». На другомъ яспа надпись: «Venus et Adonis».

Повернувъ изъ главной аллен въ сторону, очутились мы передъ глубокимъ оврагомъ, что, простиралсь до самаго волж-

скаго берега, раздёлнеть садь на двё части. Сийлой аркой перекинуть быль черезь тоть оврагь каменный мость, на днв шумёль родникъ, скрывавшійся въ сочной густой зелени. За мостомъ каменный павильонъ — это Parc aux cerfs Заборья старыхъ годовъ... Давно свалились его двери, давно вышиблены изъ оконъ его рамы, вътеръ да зимнія выоги свободно гуляють по комнатамь, гдв чего-то ин бывало въ старые годы!... Въ одной комнатъ уцълъли фрески, и какія фрески! Недюжинный малярь ихъ работаль. Воть Венера въ объятіяхъ Марса — хорошо сохранились свёжія, роскошныя перси и руки богини красоты, досадная улыбка безобразнаго Вулкана до сихъ поръ мерещится мив, только-что вспомню павильонъ заборскій... На другой стінів нагая Леда страстно прижимаеть лебедя, на третьей свіженькая нимфа літиво отталкивасть обхвативнаго ее сатира, а на четвертой сладострастно раскинулась юная вакханка, и ся

> Налитыя пѣгой груди, Чуть прикрытыя плющомъ, И бѣлѣе сиѣга зубы И пурпуровыя губы— Манять поцѣлуй...

Плафонъ осыпался, но по сохранившимся остаткамъ замътно, что онъ изображалъ торжество Пріапа... Сколько бълобрысыхъ Акулекъ и чернявыхъ Матрешекъ перебывало здъсь, въ качествъ живыхъ нимфъ и вакханокъ.

- Вонъ тамъ былъ другой такой же павильонъ! сказалъ исправникъ, указывая на груду кириичныхъ осколковъ, выглядывавшихъ изъ лопушника, полыпи и чернобыли.
 - Развалился?
 - Нарочно сломали.
 - Зачѣмъ?
- Да видите ли, что здѣсь болтаютъ: киязь Данила Борисовичь, годовъ тридцать тому назадъ, пріѣзжалъ въ Заборье и въ томъ павильонѣ находку, слышь, какую-то нашель, да послѣ того и приказалъ его сломать.
 - что-жъ онъ нашелъ?
- Да болтаетъ народъ... оно, можетъ, и вздоръ, а все-таки намолвка идетъ, будто въ томъ навильопъ одна комната изстари была заложена, да такъ, что и признать ее было исвозможно. А князь Данила Борисовичъ тайно ото всъхъ своими руками вскрылъ ее.
 - Hv?
- Вѣдь это одна намолвка, Андрей Петровичъ, а правда ли, пѣть ли, Госиодь вѣдаетъ. Кладъ, что ли, какой-то тамъ

нашли, только на ствив, слышь, гвоздемъ было что-то нацаранано. Какъ только князь Данила Борисовичъ прочиталъ, тотчасъ ствну своими руками топоромъ зарубилъ, а потомъ и весь навильонъ сломать приказалъ.

— Что-жъ такое тамъ было?

- Чего здёсь въ старые годы ин бывало?.. Да вы изволили, конечио. читать «Удольфскія таннетва» госпожи Ратклифь?
 - Читалъ. А что?
- У насъ по увзду старики помвинки говорять, будто госпожа Ратклифъ тв тапиства съ Заборья списывала. Правду ли, пустяки-ль говорять, доложить не могу... А болгають.

— Скажите, пожалуйста, не осталось ли стариковъ, что

жили въ Заборь в при княз В Алекс в Юрьич в?

— Гдѣ же? Помилуйте! Вѣдь князь-отъ Алексѣй Юрьичъ льть сто тому какъ померъ. За пятнадцать льть до Пугачевщины скончался, считайте, сколько тому времени. Сынъ его, князь Борисъ Алексвичь, и внукъ, князь Данила Борисовичь, подолгу здёсь не живали, а княжна Паталья Даниловна и вовсе здёсь не бывала. Послё нея имініе за долги продано. теперь стало кирдининское. Старина и забылась. А долготаки кос-что поддерживалось... Вотъ и я еще помню псарню зд'всь, музыкантовъ, арапа стараго да карлика — древній-надревній быль. Мало-по-малу переводили все, а какт вотчина къ Кирдининымъ перешла, все порышилось. Сами изволите внать, ужъ какъ оно ни на есть, а все чужое. Оттого и не жаль... Быль здёсь старикъ Прокофыичъ. Чуть-чуть его иомню. Да вотъ ужъ лътъ сорокъ, какъ и онъ померъ. Вотъ онъ такъ ужъ всю подноготную про здешне старые годы зналъ. Дожиль до ста льть, а въ молодые годы, при князъ Алексъв Юрьичь, въ стремянныхъ бывалъ. Мнв про того Прокофыча Валягинъ Сергъй Андреичъ много разсказывалъ, управляюцимъ здъсь былъ... Посаженъ былъ на вотчину Сергы Апдренчь княземъ Данилой Борисовичемъ, умеръ при княжит. Славный быль человькъ, хорошій, умный такой. Онь даже заинсываль все, что ни разсказываль ему Прокофычть. Видаль и я у покойника такую тетрадку.

— Куда-жъ она дъвалась?

— У наследниковъ, должно-быть, коли на подвертку свёчъ да на пироги не извели. После Сергеи Андреича две дочеридевушки остались, у нихъ должиа быть.

— А гдв его дочери?

— А какъ Сергъй-отъ Андреичъ номеръ, уъхалионъкъ теткъ ие то въ Херсонскую, не то въ Костромскую губерию, хорошенько сказать не могу. Слышно было, что замужь повышли, а за кого — тоже доложить не могу.

Между тѣмъ сотскій привелъ одного изъ хранителей заборскаго дворца. Исправникъ приличнымъ образомъ поругалъ его, посулилъ березовой лапши съ ременнымъ масломъ и прика-

залъ отпереть домъ.

Сыростью и затхлою гнилью пахнуло, когда отворили двери чертоговъ князей Заборовскихъ. На каждомъ шагу изъ-подъ ногъ густая пыль поднималась, а ворвавнійся въ растворенныя двери потокъ свъжаго воздуха колыхаль отставиня оть ствиъ и лохмотьями висвышія дорогія, редкостныя когда-то шиалеры. Не грустью, не цечалью вѣяло со стѣнъ запустьлаго жилища былой роскопии и чудовищиаго своенравія: будто сь насмъшкой и сожальныемь смотрыли эти напудренные настухи и паступки, что видиблись на обветпиалыхъ дырявыхъ гобеленахъ, а въ портретной галлерев потемнъвшие лики людей старыхъ годовъ спѣсиво и презрительно глядъли изъ потускивыших резныхъ рамъ... «Зачемъ вы зашли сюда, незваные гости? — будто спрашивали они: — чего не видали?... Вопъ ступайте, жалкіе люди, мы васъ не знаемъ, да и вамъ никогда не извъдать нашей раздольной, веселой жизни, нашего буйнаго разгула, барскихъ затъй и ничъмъ неудержимыхъ порывовъ!..»

Воть князь Алексѣй Юрьичъ! — сказалъ исправникъ.

Высокій, тучный князь стояль передъ нами. Открытое лицо съ римскимъ носомъ и выдавшеюся впередъ нижнею губой выражало спѣсь непомѣрную и крутую волю, никогда и ни въ чемъ не знавшую противорѣчія. Князь улыбался, по улыбка лукава была и коварна. Вотъ-вотъ сейчасъ нахмурится это высокое чело, и хитрые, слегка пришуренные, черные глаза заблестятъ неукротимымъ гнѣвомъ... Рядомъ стоялъ портрегъ статной высокой женщины въ желтомъ атласномъ помпадурѣ съ черными кружевами. Лицо было прекрасно, въ глазахъ много ума, но тихая затаенная грусть виднѣлась въ нихъ. Немпого радостей, должно-быть, видѣла она на вѣку своемъ!

-- Это княгиня Мареа Петровна, -- сказалъ исправникъ:--

супруга князя Алексвя Юрьпча.

Одинъ портреть особенно поразилъ меня. Въ голубой робь на фижмахъ, съ тонко и кокстливо перегнутою таліей, стояла, въроятно, молодая женщина: прекрасная ея рука, плотно обтинутая длинною перчаткой, играла розою. Но лицо, все лицо было густо замазано черною краской...

Это что значить? — спросиль я у исправника.

- А Господь ихъ знаетъ, должно-быть, не похожа была.

- Однакожь что у васъ про это толкують?

— Да говорить-то много говорять... Сказывають, что это первая супруга князя Бориса Алексвенча. Въ замужествв, слышь, недолго находилась, а взята была откуда-то издалека. Только-что молодые усивли, слышь, сюда къ отцу прівхать, князь Борисъ Алексвенчъ на войну ушелъ, супруга его стосковалась, въ полкъ къ нему повхала, да на дорогв и померла. А скоро послв того и самъ князь Алексви Юрьичъ померъ. Говорять, будто по смерти молодой княгини очень онъ тосковалъ... Иошелъ, слышь, разъ въ портретиую одинъ да и упалъ безъ намяти передъ этимъ портретомъ. А какъ въ чувство пришелъ, велвлъ замазать лицо. И какъ замазали, на другой же день Богу душу отдалъ. А другіс говорятъ, что хлебнулъ чего-то... Съ мышьячкомъ, должно-быть, потому что передъ смертью онъ ввдь подъ судъ поналъ...

Въ кабинетъ на стънъ висъла писанная на пергаментъ родословная. Похвальцо поступили господа Кирдяпины, оставивъ чуждый имъ пергаментъ въ запустъломъ жилищъ князей Заборовскихъ. Будто живой повъствователь объ угасшемъ родъ,

онъ здёсь на своемъ мёсть.

Воть у корня родословнаго древа красуются имена Гедимина литовскаго, Монтевида корновскаго, Любарта волынскаго... Вотъ киязь Минигайло Зимовитовить... Прівхаль онъ въ Москву на службу къ великому князю Василію Дмитрісвичу, крещенъ самимъ митрополитомъ Фотјемъ и прозванъ княземъ Заборовскимъ. И пошелъ отъ него рядъ бояръ, воеводъ и думныхъ людей: водили Заборовские московские полки на крымцевъ и другихъ суностатовъ; бывали Заборовскіе въ отвътъ *) у цесаря римскаго, у короля свейскаго, у польскихъ пановъ рады и у галанскихъ статовъ; сиживали Заборовскіе и въ приказахъ московскихъ, были Заборовскіе въ городовыхъ воеводахъ, но только въ городахъ первой статьи: въ Великомъ Новъгородь, въ Казани или въ Смоленскъ... А воть сынь окольничаго, князь Юрій княжь Никитичь боровскій, уже бритый, сидить оберъ-штеръ-кригсъ-комиссаромъ въ кригсъ-комиссаріатской контор'є военной коллегіи... Скончался въ Питербурхв-городкв послв попойки съ голландскими матросами и знатными персонами изъ россійскаго шля-

Единственный сто сыпъ, киязь Алексъй Юрьичъ, большой службы не сослужилъ, а съ случан бывалъ. При Петръ Великомъ ходу ему не было, потому что въ дъло не годился,

^{*)} Въ послахъ.

зато ловкій князь послѣ умѣль наверстать и взять свое: вовремя подбился къ Меншикову, вовремя вошель въ дружбу съ молодымъ Долгоруковымъ, вовремя съвздиль въ Митаву на поклоненіе Бирону, вовремя перекинулся къ Миниху, вовремя сблизился съ Лестокомъ. И когда правительственныя перемѣны сопровождались казнями и ссылками, благополучіе князя Алексѣя Юрыча оставалось неизмѣншымъ: чины и деревни летѣли къ нему при каждой перемѣнѣ.

Нельзя сказать, чтобы онъ быль человъкъ умный: образованіе получиль плохое, а оть природы быль коварень, тщеславень, къ тому же быль великій мастерь лгать и хвастать пеномърно. При Петръ Великомъ приходилось ему сдерживать свой неукротимый правъ, въ то время могъ онъ давать нолную волю одной только страсти — бражинчанью. Много тогда было важныхъ людей, сбрившихъ бороды, надъвшихъ нъмецкіе кафтаны, но оставшихся вірными той стороні русской народности, про которую еще равноапостольный Владиміръ сказаль: Руси есть веселів пити. Но, напиваясь, подъ защитой вельможныхъ бражинковъ, князь Алексей Юрьичъ велъ себя такъ увертливо, что ни разу не отвъдалъ родительскаго паставленія оть петровской дубинки. Не понимая и не сознавая важности дела сближенія русскаго общества съ Европой, Заборовскій полюбиль однако общество иностранцевь, вь особенности близокъ былъ съ вънскимъ резидентомъ Гогенцоллерномъ, съ голитинскимъ барономъ Стамбкеномъ, съ прусскими баронами Мардефельдами, а они, какъ гласить исторія, были горькіе пьяницы *).

Никогда киязь Алексый Юрычт не быль такь доволень судьбой, какъ въ короткое царствованье Петра И. Хоть въ то время было сму ужъ подъ сорокъ, но вошель онъ въ тъслую дружбу съ даровитымъ, обаятельнымъ, но безпутнымъ юношей, княземъ Иваномъ Алексычемъ Долгоруковымъ и былъ съ нимъ всь три года его могущества неразлученъ. Киязь Заборовскій, подъ защитой всесильнаго кутилы, далъ полную волю своему разгулу. Подъ прикрытьемъ драгунъ, ровно сумасшедшій, скакалъ опъ съ княземъ Иваномъ по московскимъ улицамъ, буйствовалъ днемъ, а по ночамъ нагло врывался въ мирныя семейства частныхъ людей... Но когда Долгоруковъ девятилътней ссылкой и смертью на колесъ платиль за гръхи молодости, ловкій князь Алексый Юрьичъ, ругая на чемъ свыть стоить павшаго собутыльника, съ прекраснымъ ашпетитомъ изволнять кушать за роскопиными объдами гер-

^{*)} Записка Дюка де-Иріа.

цога Эриста-Іоанна Курлиндскаго. Будучи знатокомъ въ лошадяхъ и проводя ночи въ попойкахъ съ братомъ герцога, Карломъ, быть онъ въ ходу при Биронв, достигь генеральскаго ранга и получиль кавалерію Александра Невскаго... По въ 1743 году счастье повернуло къ нему спину: сказано было князю Алексью Юрьичу Ехать въ свой деревни. Такую пемилость современники объясняли близкими отношеніями его къ царицъ всъхъ баловъ и ассамблей, графинъ Ягужинской, и дружбою съ первой красавицей Петербурга, Натальей Осдоровной Лопухиной. Подъ шумокъ поговаривали, будто Ягужинская въ числъ немногихъ принимала князя Заборовскаго во время своего таинственнаго затворничества, будто фавориту Натальи Өедоровны, графу Рейнгольду Левенвольду, князь Алексый Юрынчь пропрываль въ фаро огромныя суммы, будто близокъ онъ былъ съ евнскимъ резидентомъ, маркизомъ Воттой, будго разъ на охотъ аранникомъ отдулъ самого Разумовскаго. Правда ли, нътъ ли — кто теперь разберетъ?..

Когда вътреныхъ красавицъ, пріятельницъ князя Заборовскаго, постигла плачевная участь, самъ онь хоть не совсемь чисть вышель изь дёла, но такъ сумёль обдёлать делишки, что ему только вельно было отправиться въ свои вотчины для приведенія въ порядокъ разстроенныхъ діль. Такимъ образомъ живъ, здравъ, невредимъ пріфхаль князь Алексьй Юрьичъ въ свое Заборье; здъсь онъ началъ строить великольный дворець, разводить сады и вести жизнь самую буйную, самую неукротимую... Въ деревенской глуши, въ забытомъ уголкъ, никъмъ и ничъмъ не удерживаемый, онъ предался той жизни, что такъ по сердцу пришлась ему во дни могущества князя Ивана. Не только въ Заборыв, — по всей губерніи все ему кланялось, все передъ нимъ раболъпствовало, а онъ съ каждымъ днемъ больше и больше предавался неудержимымъ порывамъ необузданиаго права и глубоко-испорченнаго сердца... Вскорт для князей не стало иной законности, кромъ собственныхъ прихотей и самоуправства... При такомъ состоянии человіка до преступленія одинь шагь, и князь Алексій Юрьичь, совершая ихъ, нимало не помышлялъ, что гръшитъ нередъ Богомъ и передъ людьми. О последнихъ-то, впрочемъ, онъ не заботился и, щедро одвляя вкладами монастыри, строя по церквамъ иконостасы и платя за молебны пригоршнями серебра, твердо уповаль на Божіе милосердіе... ІІ до того дошель князь Заборовскій, что разсказы про его житье-бытье вь наше время кажутся страшною сказкой...

Женатъ былъ князь Алексви Юрынчъ на княжив Маров Истровив, последней въ роде князей Тростенскихъ. Своимъ приданымъ увеличила она и безъ того огромное богатство князей Заборовскихъ. Единственный сынъ ихъ, князь Борисъ Алексевнить, крестникъ императрицы Анны Іоапновны, вахмистръ гвардін въ колыбели, двадцати лётъ уёхалъ изъ Заборья въ Петербургъ искать счастья. Находясь съ полкомъ въ какомъ-то захолустье Россіи, влюбился онъ въ дочь небогатаго дворянина Коростина, женился на ней безъ родительскаго благословенья и, за неименіемъ наличныхъ денегь, пріёхалъ черезъ годъ после свадьбы въ Заборье, кинуться вмёсте съ женой къ стопамъ оскорбленнаго родителя... Ждали страшной грозы, дёло кончилось благополучно. Молодая княгиня была такъ прекрасна, такъ была образована, такъ умиа, что съ перваго свиданья умёла растопить каменное сердце суроваго свекра... Вскорё пачалась Семилётняя война; молодой князь Заборьек молодую жену. Стосковавшись по мужё, поёхала она къ нему въ новопокоренный Мемель, но умерла

но дорогв...

Посль войны вдовый кпязь Борисъ Алексвевичъ поселился въ Петербургв, женился въ другой разъ и, проживъ до 1803 года по-барски, скончался отъ песваренія въ желудквиослв плотнаго ужина въ одной масонской ложь. Цвлую жизнь, будто по заказу, старался онъ разстроить свое до-стояніе, но д'ёдовскія богатства были такъ велики, что онъ не могь промотать и половины ихъ, оставивъ все-таки три тысячи душь единственному своему сыну и наслёднику, князю Данилѣ Борисовичу. Этотъ послѣдній князь въ древнемъ родѣ князей Заборовскихъ какъ ни старался поправить грѣхи родительскіе, но не могъ возстановить дѣдовскаго состоянія. Впрочемъ, и самъ онъ протпралъ-таки глаза отцовскимъ депежкамъ исправно. Съ воронцовскимъ корпусомъ во Франціи быль, денегь, значить, извель немало; въ мистицизмъ, но тогдашнему обычаю, пустился, въ масонскихъ ложахъ да въ хлыстовскомъ кораблъ Татариновой малую толику деньжонокъ ухлоналъ; дълалъ большія пожертвованія на Россійское Библейское общество. Душь восемьсоть спустиль понемножку. Дочь его, кияжна Наталья Даниловна, какъ только скончался родитель ся, отправилась на теплыя воды, потомъ въ Италію, и двадцать пять лёть такъ весело изволила проживать подъ небомъ Тасса и Петрарки, съ католическими монахами да съ оперными п'ввцами, что, когда привезли изъ Рима въ За-борье засмоленный ящикъ съ останками княжны, въ вотчин-ной кассъ было двънадцать рублей съ полтиной, а долговъ на милліоны. Близкихъ родственниковъ у княжны не было, изъ дальнихъ не оказалось ни въ одномъ столь ивжныхъ родственныхъ чувствъ къ покойницв, чтобъ воспользоваться Заборьемъ да кстати ужъ принять на себя и должишки итальянскіе. Кончилось твмъ, что Заборье пошло подъ молотокъ. Сынъ подносчика въ Разгуляв сталъ владвльцемъ гивзда знаменитаго рода князей Заборовскихъ, за кредиторы княжны получили по тридцати ияти конеекъ за рубль...

О, Гедимины и Минигайлы! Какъ-то встрётили вы послёднюю благородную отрасль вашего благоцвітущаго корня—княжну Паталью Даниловну?.. Князь Алексій Юрынчы! Вы-то, батюшка, ваше сіятельство, какъ изволили встрітить свою правнучку?.. Ну, онъ-то разві пожалівль только, что встрітился съ нею не въ здішнемъ світі. Здісь-то бы онъ рас-

правился...

Лёть черезь иять послё того, какъ быль я въ Заборьй, въ одномъ степномъ городки на верховьяхъ Дона, по случаю, досталась мий связка бумагъ, принадлежавшихъ какому-то господину Благообразову. Онй состояли большею частью изъ черновыхъ просьбъ, сочинениемъ которыхъ, какъ видно, занимался господинъ Благообразовъ. Но, представьте, каково было мое удивление, когда, разбирая кипу, въ заглави одной тетради и прочелъ:

СТАРЫЕ ГОДЫ.

Писано по словамъ столътняго старца Анисима Прокофьева съ надлежащими объясненіями коллежскимъ секретаремъ Сергъемъ Андреевымъ сыномъ Валягинымъ 17-го мая 1822 года въ селъ Заборьъ.

- Записки Валягина!
- Это, должно-быть, тестя,—замітиль случившійся на ту нору у меня одинь старожиль того городка.—Влагообразовьоть на дочери Валягина быль женать.

Вотъ Записки Валянина.

I.

Розовый павильонъ.

Вскор'в по прівздів нашемъ въ Заборьс, только-что приняль я въ управленіе вотчину, пошель я поутру съ докладомъ къ князю Данилів Борисычу. Онъ быль не въ дух'в.

- Я, говорить, сегодня ни на волось уснуть не могь.

Что это за вой быль у насъ на разсвътъ?

 Должно-быть, на псарномъ дворъ собаки звъря учуяли, докладываю ему. А князь спрашиваеть съ неудовольствіемъ:

- Развъ, говоритъ, у меня есть псарный дворь?

 Какъ же, говорю, пеария у вашего сіятельства хорошая; собакъ пятьсотъ борзыхъ да сотии полторы гончихъ.

Исарей и добажачихъ при нихъ до сорока человъкъ.

— Какъ!—закричалъ князь:—пнестьсоть пятьдесять собакъ и сорокъ псарей-дармовдовь!.. Да ввдь эти проклятые неы столько хльба съвдають, что имъ на худой конецъ полтораста обядныхъ людей круглый годъ будутъ сыты. Прошу васъ, Сергъй Андреичъ, чтобъ сегодия же всё собаки до единой были переввшаны. Псарей на мъсячину, кто хочетъ идти на заработки—выдать паспорты. Деньги, что шли на неарню, употребите на образование въ Заборъв отдъления Россійскаго Библейскаго общества.

— Слушаю, ваше сіятельство, — сказаль я и тотчась же

отдаль приказь вышать собакъ.

Черезъ полчаса приходить къ князю древній старецъ. Лицо у иего все сморщилось; длинные, по плечамъ лежавшіе волосы пожелтьли, во рту ни единаго зуба, а черные глаза такъ и горятъ. Одьтъ быль онъ въ старинный чекмень съ золотымъ галуномъ, опоясанъ черкесскимъ поясомъ.

— Я вѣковѣчный холопъ вашего сіятельства, Анисимъ Прокофьевъ, — зашамкалъ старикъ: — а былъ, государь мой, первымъ стремяннымъ у вашего дѣдушки, у князя Алексѣя

Юрынча.

— Здравствуй, здравствуй, старикъ, садись - ка, усталъ,

чай! — говорить ему князь.

— Сидъть мнъ передъ вашимъ сіятельствомъ по приходится. А пришелъ я къ вамъ, государь мой, челомъ ударить.

— О чемъ, Аписимъ Прэкофынчъ?

Да слышно, ваше сіятельство, что изволили на насъ свой княжескій гнѣвъ положить.

— Я?.. Что ты, Прокофынчъ?.. Въ умѣ ли?

- Не мудрое двло, ваше сіятельство, и ума лишиться отъ такого безчеловвиія!.. Избить шестьсоть шестьдесять восемь собакь, ничвиь неповинныхь!.. Это двло, сударь, не малое!.. Ввдь это все едино, что какь царь Продъ неповинныхъ младенцевь избиваль!.. Чвить бедныя собачки провинились передъ вашимъ сіятельствомъ? Ввдь это не шутка: шестьсотъ шестьдесять восемь собакъ задавить!.. Надо ведь будеть вашему сіятельству и Богу на страшномъ судищё отвёть отдавать...
- Полно, старикъ, успокойся, перестань... говорить ему князь.

— Чего мив перестать?.. Коль я не буду говорить, кто тебв скажеть? — гиввно вскричаль старый стремянный. — Да какъ же тому статься, чтобъ всвхъ собакъ переввшать?.. Дъдами, прадъдами исария установлена, больше ста годовъ держится, прошла про нее слава по всему, почитай, свъту, и вдругъ ни съ того ни съ сего разомъ перевести ее!.. Да отъ такого дела, князь Данила Борисычь, кости твоихъ родителей во гробахъ повернутся, всь твои деды, прадеды изъ гробовъ встануть, руки на тебя протянуть, проклятье тебъ парекуть... Знасиь ли ты, государь мой, что исарня-то наша со дней царя Петра Алексвича нерушимо стоить?.. За что-жь ее порушить хотите?.. Да въдь это роду вашему въчный покоръ, всему вашему княжому племени безчестье, не говорю ужъ про то, что на совъсть свою такое душегубство хотите принять!.. Собака-то, батюшка, тоже тварь Божія, а въ писаніи что сказано?.. — «блажень иже и скоты милуеть». Идете, ваше сіятельство, супротивъ Божіей заповъди!.. И вотъ, сударь, ваше сіятельство, наділь я на старости літь жалованный чекмень вашего дёдушки — двадцать лёть въ сундукі лежаль, думаль я, что придется его только въ могилу падъть; воть, сударь, одьть я и поясь черкесскій, а жаловать мив этоть поясь родитель вашъ въ ту самую пору, какъ, женивщись на вашей матушкћ, княгинћ Еленћ Васильевић, привезъ ее въ вотчину и въ первый разъ охоту своей княгинь изволиль показывать: никто изъ нашихъ не могъ русака угнать, а сосъдъ Иванъ Алексвичь Рамировь уже совсвиъ почти угоняль, я поскакаль, угналь русака и тымь княжую честь передь молодой супругой сохраниль... Власть ваша, князь Данила Борисычь, съ мъста не сойду, покамъсть милости собакамъ не выпрошу.

— Да чего-жъ ты хочешь? — спрашиваеть у него князь.

— А того я хочу, ваше сіятельство, чтобы вы мий прежде голову приказали снять, а потомъ бы ужъ и собакъ въшать изволили... Въ этомъ чекменв, въ этомъ поясй предстану я предъ вашими родителями, дъдами и прадъдами, подведу къ имъ собачекъ, вами задавленныхъ... А они-то, старики-то ваши, яко звницу ока ихъ берегли!.. Пустъ же ваши родители судятся съ вами на страшномъ судв за такое злодвйство... что не хотъли вы уберечь родительскаго благословенья, пролили кровь неповинную!.. Дъло мое, государь мой, старое, а норядки у васъ повые, отпустите меня, ваше сіятельство, къ господамъ моимъ: прикажите рубить голову, а тамъ ужъ и собакъ ввшайте.

Отъ сильнаго волненья у Прокофынча духъ занялся и ноги

подкосились; онъ бы упалъ и расшибся, если-бъ мы съ княземъ его не поддержали. Безъ чувствъ выпесли старика изъ дома.

Горячее заступничество девяностольтняго стремяннаго спасло на время собакъ. Исарный дворъ въ Заборь былъ уничтоженъ лишь послъ смерти киязя Данилы Борисыча и Ирокофыча...

Кінязь полюбиль старика, часто призываль его къ себѣ и разспрашиваль о старыхъ годахъ. По нѣскольку часовъ, бы-

вало, просиживали они вмъстъ.

Разъ, вечеромъ, послѣ долгой бесѣды съ Прокофьичемъ, послалъ кпязь за мной, требуя, чтобъ я тотчасъ же явился къ нему.

Я нашель князя сильно взволнованнымъ.

— Сергый Андреичъ, — сказалъ онъ: — въ состоянии ли вы ивсколько часовъ, вмъстъ со мной, проработать ломомъ?

— Какъ проработать ломомъ, ваше сіятельство?

— Пробить каменную ствпу... Видите ли, Прокофычть сейчасть разсказаль мив одинъ необыкновенный случай стараго времени... Мив бы хотвлось узнать: вздоръ болтаеть старикъ или правду говоритъ... Постороннихъ, особенно своихъ крвпостныхъ, въ это двло мвшать не годится... Будьте такъ любезны, Сергъй Андреичъ, не откажите...

Я согласился, даль слово и спросиль князя, что-жъ такое

разсказывалъ ему Прокофынчъ?

— Э, да все это, можетъ-быть, еще вздоръ... Прокофынчъ, кажется, изъ ума сталъ выживать, разсказываетъ вещи несодъянныя... А все-таки хочется удостовъриться... Завтра, надъюсь, вы исполните данное слово.

И повториль объщаніе, и князь тотчась же завель рычь о хозяйственных дівлахь, но, занятый другимь, вовсе не слу-

шалъ словъ моихъ. Наконецъ отпустилъ меня.

— Такъ завтра? — сказалъ онъ, подавая руку.

— Слушаю, ваше сіятельство.

Таинственность предстоявшей работы, какое-то необыкновенное событие старыхъ годовъ, волиснис князя— все это до такой степени распалило мое воображение, что я всю почь заспуть не могъ. Чъмъ свъть присылаеть за мпой князь.

— Пойдемте! — сказалъ онъ, когда я вошель въ кабинеть. Пошелъ за нимъ. Князь отдалъ приказаніе, чтобы пикто не смѣль входить въ садъ до нашего возвращенья. Пройди большой садъ, мы перешли мостъ, перекинутый черезъ оврагъ, и подошли къ «Розовому павильону». У входа въ тотъ павильонъ уже лежали два лома, двѣ кирки, нѣсколько воско-

выхъ свъчъ и небольшой краснаго дерева ящикъ. Князь на разсвъть самъ ихъ отнесъ туда.

Въ навильенъ было пять или шесть комнатъ. Пройдя три,

князь удариль въ глухую ствиу и сказаль:

— Здъсь!

Мы принялись за работу; часа черезъ полтора ствна была пробита. Киязь зажетъ свечи, и мы пролезли въ темную, наглухо со всвхъ сторонъ закладениую комнату.

Среди развалившейся и полустнившей мебели лежалъ чело-

прискій остовъ...

Князь перекрестился, заплакаль и тихо проговориль:

— Упокой, Господи, душу рабы Твоея.

- Старикъ сказалъ правду1 прибавилъ онъ, немиого помолчавъ.
- Что это? спросилъ и, немного оправившись отъ перваго впечатлѣнія.

— Грвхи старыхъ годовъ, Сергвії Андреичъ. Посяв все

разскажу; теперь помогите собрать это...

Бережно собрали мы кости и положили ихъ въ ящикъ краснаго дерева. Князь заперъ его и положилъ ключъ въ карманъ. Когда мы собирали смертные останки, нашли между инми брильянтовыя серьги, золотое обручальное кольцо, нѣсколько проволокъ изъ китоваго уса, на которыхъ кой-гдъ уцѣлѣли лохмотья полуистлѣвшей шелковой матеріи. Серьги и кольцо князь взялъ къ себъ.

Утомленные трудомъ и сильными впечатлъніями, вынесли

мы ящикъ изъ сада.

— Сейчасъ же собрать человѣкъ полтораста съ ломами и тонорами, да нарядить пятьдесятъ подводъ! — сказалъ князь бурмистру, проходившему черезъ дворъ.

Я зашель въ свой флигель умыться и переодіться. Когда

пришель къ князю, его не было въ кабинеть.

— Гдв князь? — спросиль я понавшагося лакея.

— Въ портретную галлерею прошли! — отвъчалъ тотъ.

Тамъ, запыленный, запачканный, какъ вышелъ изъ павильона, стоялъ князъ передъ портретомъ женщины, у которой, но какой-то прихоти прежнихъ владъльцевъ, лицо было замазано черной краской. Знакомый ящикъ стоялъ на полу передъ портретомъ. Я взглянулъ на князя. Онъ плакалъ.

И разсказаль онъ страшную повёсть стараго времени. По-

дробиве узналь я ее послъ отъ Прокофыча...

Когда рабочіе были собраны, князь приказаль имъ сломать «Розовый павильонъ» до основанія, а кирпичь отвезти къ

строившейся тогда въ Заборьв церкви. Когда потолокъ съ павильона былъ снять, мы еще разъ вопили въ ту комнату.

На ствив чвмъ-то острымъ было нацаранано: 1757 года октября 14-го. Прости, мой милый, твол Варенька пропала от жестокости тв...

— Топоръ! — вскрикнулъ князь, прочитавъ эти слова. Подали топоръ. Князь быстро парубилъ штукатурку.

— Живви ломайте! — торониль онъ рабочихь. — Скорве, скорви!

Къ вечеру навильонъ былъ сломанъ.

На другой день чёмъ свётъ подали карету. Мы сёли вдвоемъ съ княземъ и взяли съ собой обернутый въ черное сукно ящикъ.

— Въ монастыры! — сказалъ князь.

Тамъ, въ усыпальниць киязей Заборовскихъ, зарыли мы ящикъ съ костями, а на другой день слушали заупокойную объдию и напихиду о упокосній души рабы Божіей княшни Варвары.

Черезъ недёлю князь Данило Борисычъ уёхалъ въ Петербургъ. Больше мы съ нимъ и не видались. Черезъ три года онъ скончался. Въ духовномъ завёщани не забыль ни меня

ин Прокофыча.

Молва о тапиственной работ'в нашей и о сломк'в навильона быстро разоплась по народу. Толковали, что князь въ «Розовомъ навильона» нашелъ цёлый ящикъ золота. Чтобъ поддержать этотъ слухъ, онъ самъ посл'в разсказывалъ своимъ знакомымъ, что Прокофынчъ открылъ ему тайникъ, гдв княземъ Алекс'вемъ Юрынчемъ заложены были н'вкоторыя родовыя драгоц'вниости. Мы съ Прокофынчемъ ту же сказку разсказывали. Такъ вс'в и ув'врились.

II.

Прокофьичъ.

— Да, батюшка Сергъй Андреичъ, — говорилъ мнъ однажды Прокофьичъ: — въ старину-то живали не по-нынъшиему. Въ старину— коли баринъ, такъ и живи бариномъ, а пыпче что?. Измельчало все, измалодушествовалось, важности дворянской пе стало. Послъдніе годы міръ стоитъ. Скоро и свъту конецъ.

Совсѣмъ, сударь, другой свѣть нонѣ стать. Посмотриньносмотринь, да иной разъ согрѣшишь и поропщешь: зачѣмъ, дескать, Господи, зажился я у Тебя на здѣшиемъ свѣтѣ? Давно бы Тебѣ пора велѣть старымъ монмъ костямъ идти на вѣчный покой, не глядѣли-бъ мои глазыньки на годы новые... А все-таки, батюшка Сергѣй Андреичъ, милъ вольный свѣтъ, коть и подумаешь этакъ, а помирать не хочется.

А ужъ такъ измельчало, такъ измельчало все, что и сказать певозможно. У барина, напримъръ, не одна тысяча душъ, а во дворѣ какихъ-нибудь десять-иятнадцать человѣкъ — и дворней-то нельзя назвать. Исарня малая, ни музыкантовъ ин ивсенниковъ, а ужъ насчеть барскихъ барынь, шутовъ, карликовъ, арановъ, скороходовъ, нъмыхъ, калмыковъ — такъ, я думаю, теперь ни у одного барина и въ заводъ изтъ; всъ стали ровно мелкопом'єстные. Я такъ полагаю, сударь, что теперь врядъ ли гдв можно сыскать кучера, чтобъ сумвлъ карсту цугомъ заложить. Всв на парочкахъ — ровно мелкаго рангу, аль купцы какіе... А в'ёдь и въ закон'в написано, что столбовому барину пистерикомъ Ездить следуеть. Да чего ужь туть шестерикомъ? — до такой срамоты дошли, что и сказать нельзя: заложать куцу лошаденку въ каку-то одноколку, сядетъ лакей съ бариномъ рядомъ — самъ руки крестомъ, а барину вожжи въ руки. Смотреть даже скверно... Воть до какого униженія дошли!.. И хоть бы неволя нудила, иу, делать нечего, — такъ ведь неть: сами захотели... Просто, сударь, можно сказать — никакого благородства не стало, одинъ Богь знастъ, что это значить такое... До чего ведь иные дворяне дошли? Торговать пустились, на купчихахъ поженились, конторскія книги сами ведуть!.. Ну, сами вы умный человъкъ, посудите ради Христа — дворянское ли это двло?.. Да хоть бы богатство отъ того какое получили; и того пътъ – всъ профуфынились, всякъ долженъ въкъ, а платежу ньть какъ пьть... Эхъ, встали бы дъдушки да прадвдушки, парство имъ небесное!.. Ужъ свели бы любезныхъ внучковъ на конюшню да, по старому заведенію, такую бы ременную масленицу въ спину-то имъ засыпали, что забыли бы послъ того дурь-то на себя накидывать.

Хоть бы нашего князя Данилу Борисыча взять! Что ни говорите, бѣденъ онъ, бѣденъ, а все-жъ не одна тысяча душъ у него найдется — стало-быть, баринъ настоящій. А похожъ ли хоть маненью на барина-то? Ну, сами вы скажите — похожъ ли?.. Въ Москвѣ въ какомъ-то нивирситетѣ обучался, съ портными да съ сапожниками тамъ на одной скамъѣ, слышь, сидѣлъ, — товарищемъ ихнимъ звался. Ну, возможно-ль сапожнику съ княземъ въ товарищахъ быть?.. Что же вышло? Сапожниковъ да всякихъ другихъ разночинцевъ не облагородилъ, а самъ вкругъ нихъ холопства набрался. Хотя бы вотъ тогда пріѣзжалъ онъ съ вами въ свою вотчину — что дѣлалъ?.. Чѣмъ бы на охоту съѣздить, аль банкетъ сдѣлать, балъ, гулянку какую, — по мужичьимъ избамъ на посидѣлки иочалъ таскаться, съ париями да съ дѣвками мужицкія игры

играть, стариковъ да старухъ сказки заставляль разсказывать да пъсни пъть, а самъ на бумагу ихъ записывалъ... Княжеское ли это дъло?.. Старыя книги да образа за большія деньги сталь покупать. Кто ни скажеть ему: воть, моль, ваше сіятельство, въ такой-то деревнъ у такого-то мужика есть ръдкостная книга, — глазенки у него такъ и загорятся, такъ и забѣгаютъ. Въ полночь ли, за полночь ли — лошадей!.. И поскачеть, сломя голову, версть за тридцать либо за сорокъ къ мужику за книгой... Курганы почнетъ копать, самъ съ мужиками въ землъ роется, черенки тамъ попадутся аль жеребейки какіе, онъ ихъ въ хлопчату бумагу ровно драгоцвиные камни, да въ ящики, да въ Питеръ. Не видали, знать. тамъ этакой дряни!.. Увидалъ разъ нищаго слепца, стоитъ ствпецъ на базарв, Лазаря поеть. Батюшки свыты!.. Нашъ князь Данила Борисычь такъ и взбиленился, беретъ слъща за руки, сажаеть съ собой въ карсту; привезъ домой, прямо его въ кабинетъ, усадиль оббрванца на бархатныхъ креслахъ, водки ему, вина, объдать со своего стола, да и заставилъ стихеры распъвать. Тоть обрадовался да дурацкое свое горло и распустиль, ореть себь, какъ бурдакъ какой, а князь Данила Борисычь все на бумагу да на бумагу... Ну хорошее ли это, сударь, дело?.. Вёдь грязью играть — только руки марать, дело это не княжеское... Три дня тоть нищій у насъ выжиль, инлъ, влъ съ княжаго стола, на пуховой постели, собака, дрыхнуль, а какъ всъ стихеры перепъль, князь сму двадцать рублей деньгами, одежи всякой, харчей, повозку вельть заложить да отвезти до села, гдв онъ въ кельенкв при церкви живетъ. А самъ-отъ послъ носится со стихерами: «волото, говорить, неоциненное сокровище!». Хорошо сокровище, нечего сказать, ума лишился, и все туть.

Нѣтъ, сударь, въ стары годы жили не такъ. Въ стары годы господа держали себя истинно по-барски, такую дрянь, какъ нищій слѣпецъ, на версту къ себѣ не допускали. Знай, дескать, сверчокъ свой шестокъ. Компанію съ ровней водили, другой хоть и шляхетнаго роду, да не богатъ, такъ его развѣ изъ милости въ «знакомцы» принимали, чтобъ надъ нимъ когда потѣшиться, аль чтобы въ домѣ было полюднѣе. И долженъ былъ тотъ «знакомецъ» ходить по сгрупкѣ, а чуть проштрафился, шелепами его на конюшнѣ... Да иначо и не слѣдуетъ: какъ бы на горохъ не морозъ, онъ бы черезъ тынъ переросъ. Такъ вотъ, сударь, какъ въ стары-то годы живали! А теперь что!.. Тъфу!

Хоть бы, напримъръ, при князъ Алексъъ Юрьичъ здъсь въ Заборьъ было!.. Иодлинно, не жизнь, а рай пресвътлый.

Богатство-то, сударь, какое, изобиліе-то какое было! Одного столоваго серебра сто двадцать пудовъ, въ подвалъ боченки съ цълковыми стояли, а мъдныя деньги, что горохъ, въ сусвки ссыпали: нарочно такіе сусвки въ подвалахъ были надъланы. Музыкантовъ два хора, на псарит не одна тысяча собакъ, на конюшит пятьсотъ лошадей верховыхъ да двести взжалыхъ; шутовъ да юродивыхъ десятка полтора при домв бывало, опричь ифмыхъ араповъ да карликовъ. Шляхетнаго рода знакомцевъ, изъ мелкопомъстныхъ, человъкъ по сорока и больше проживало. Мужики ли, бывало, у кого разбътутся, деревню-ль у кого судомъ оттягають, пропьется ли кто изъ помъщиковъ, промотается ли, всякъ, бывало, въ Заборье на княжіе харчи. Опять барыни-приживалки, барышни: этихъ тоже штукъ по тридцати водилось. Ужъ именно домъ быль, какъ полная чаша. А самъ-отъ киязь какой быль баринъ! Такой, сударь, важности, что теперь, весь свёть исходи, днемь съ огнемъ не сыщешь... И все-то прошло, все-то миновалось!.. Да, сударь, стары годы были годы золотые, были они, сударь, да и прошли, прошли и не воротятся. Красно льто два раза въ году не живетъ!

А куда каково давно тому времени, какт вт Заборьв-то было житье-бытье раздольное да привольное! Мив теперь десятый десятокъ идетъ, а въ ту пору и тридцати годковъ не было, какъ батюшки-то нашего, князя Алексвя Юрыча, не стало. А скончаться изволилъ летъ семидесяти безъ малаго... Да я ужъ что за жизнь засталъ? Тогда ужъ князъ-отъ въ немилости былъ, въ опале, то-есть, а вотъ какъ, бывало, родитель мой — дай ему Богъ царство небесное, а вамъ добро здоровье — поразскажетъ про тв годы, какъ князъ-отъ Алексви Юрычъ въ настоящей своей поре былъ и въ Интере «во-времени» находился, а въ Заборъе бывалъ только навздами, такъ вотъ тогда точно что жизнь была золотая. И умирать не надо было.

А батюшку мосто покойника князь Алексъй Юрычт изволилъ жаловать своей княжою милостью. Перво-наперво онъ
у него въ доъзжачихъ находился, а потомъ въ стремянные
нопалъ, да проштрафился однажды: русака въ островъ упустилъ. Князь Алексъй Юрычт за то на него разгивался и
тутъ же, на полъ, изволилъ его изъ своихъ рукъ выпороть,
да ужъ такъ распалился, что и на конюшит еще зелълъ пятьсотъ кошекъ ему влъпить и даже согналъ его со своихъ княжихъ очей: велълъ управляющимъ быть въ низовой вотчинъ...
Однакожъ послъ того годовъ этакъ черезъ аятокъ помиловалъ — гиъвъ и опалу изволилъ снять.

Воть какъ то дело случилось. Князь Алексей Юрьичъ на

охоту по первой порош'в повхаль. Время стояло холодное, на Волгь ужъ закранны, только самыя еще что называется стекольныя, значить, ледъ пятакомъ можно еще пробить. Ста полтора русаковъ заполевали, за монастыремъ, на угоръ, приваль сделали. А гора въ томъ месте высокая, что стена надъ Волгой-то стоймя стоить. Князь Алексти Юрынчъ весель быль, радошенъ, потвшаться изволилъ. Сѣлъ на вѣнцѣ горы верхомъ на бочкъ съ наливкой, самъ цёлый ковшикъ изволилъ выкушать, а потомъ всёхъ тутъ бывшихъ изъ своихъ рукъ поиль, да, разгулявшись, и велъль добзжачимь да стремяпнымъ ръзака дёлать. А чтобъ сдёлать ръзака, надо подъ гору торчия головой летьть, на яру закраину головой прошибить да потомъ изъ-подо льда и вынырнуть. Любимая была потъха у покойника, дай Богъ ему царство небеснос! На ту пору никто не сумѣть хорошо рѣзака сдѣлать: иной сдуру, какъ пень, въ ръку хлопнется, — а это ужъ не то, это называется паля, и за то пятнадцать кошект въ спину, чтобъ она свое мъсто знала и впередъ головы не совалась. Другой, не долетъвши до льда, на горь себъ шею свернеть, а три дурака хоть и справили ръзака, да вынырнуть не сумъли: пошли осетровъ караулить. Осерчалъ князь Алексти Юрынчъ: — «Всталь, закричаль, запорю до смерти!» За мелкопомъстное шляхетство припялся, имъ приказалъ ръзака справлять. Тъ еще хуже: одинъ и прошибъбыло головой ледъ, да тоже къ осетрамъ въ гости повхалъ.

Заплакаль индо князь Алекств Юрынчъ, навзрыдъ зары-

даль: таково ему стало горько и прискорбно.

— Видно, говорить, послёдніе мои дни настають, что нёть у меня молодца, чтобъ рёзака сумёль справить!.. Всё ровно бабы!.. А гдё, говорить, Яшка Безухой?.. Воть удалець-оть:

по три ръзака, бывало, сряду дълывать.

А это онъ про батюшку-покойника изволиль вспомянуть. А батюшка-покойникъ и въ самомъ дѣлѣ безухій былъ. Лѣво-то ухо ему медвѣдь отгрызъ: разъ какъ-то князь Алексѣй Юрычъ изволилъ приказать батюшкѣ съ любимымъ своимъ медвѣдемъ побороться, медвѣдь, видио, осерчалъ да ухо батюшкѣ и прочь, а батюшка - покойникъ не вытерпѣлъ да охотничьимъ ножомъ Мишку подъ лопатку и пырнулъ. У того духъ вонъ. Такъ за то, что осмѣлился безъ спросу княжаго медвѣдя положить, князь Алексѣй Юрычъ приказалъ для памяти батюшкѣ-покойнику и другое ухо отрѣзать и прозваль его потомъ Яшкой Безухимъ. А батюшку-покойника вовсе не Яковомъ, а Прокофьемъ звали.

— Гдѣ, кричитъ, Яшка Зезухой? Подавай сюда Яшку

Безухаго!

Доложили, что Япика Безухой подъ гнавомъ находится пятый годъ, низовой вотчиной управляеть.

— Давай сюда Яшку Безухаго — онъ у меня на ръзакъ

пе прорѣжется, какъ вы, шельмецы.

Поскакали за нокойнымъ батюшкой. Ну, Саратовъ — мѣсто не ближнее: когда батюшку оттуда ко княжому дверу привезли, ледъ-отъ такой ужъ сталъ, что будь у нокойника свинцовая голова, такъ и тутъ бы ему рѣзака не сдѣлать. Допустили батюшку до свѣтлыхъ очей князя Алексѣя Юрыча.

Здравствуй, говоритъ, Яшка Безухой!

Батюшка въ ноги; князь его пожаловаль, велъль встать.

Что, говорить, ръзака завтра съ того угора вальнешь?
 Можемъ постараться, батюшка, ваше сіятельство, на-

дъючись на милость Божію да на ваше княжеское счастье! — отвъчаль покойникъ родитель мой.

— Ладно, говорить, ступай на исарный дворь. Жалую тебя

сворой муругихъ.

Акъ утру вьюга. Да такъ поля засыпала, что охота совевмъ порвшилась. Остался ръзакъ за батюшкой до другого ледостава. Зато ужъ какого же ръзака на другую-то осень онъ справилъ... И за такую службу его и за великое радънье жаловалъ его князь Алексъй Юрычъ своей княжеской милостью: изволилъ къ ручкъ допустить, при своей княжой охотъ приказалъ находиться, красный чекмень съ позументомъ пожаловалъ, на барской барынъ женилъ, и сказано было ему быть въ первыхъ псаряхъ. И до самой кончины князя Алексъя Юрьича батюшка у него въ самыхъ ближнихъ людяхъ и въ большой милости находился. А какъ я родился, князь Алексъй Юрычъ самъ изволилъ меня отъ святой купели воспринимать, а восприемницей была Степанида-птичница, гайдука Самойлы жена. Тоже изъ барскихъ барынь.

Подросъ я, сударь, у батюшки на псарит, а какъ прітхалъ князь сюда совствъ на житье и мит шестнадцать літть исполнилось, изволиль онъ и меня своей высокой милостью взыскать. На само Світло Христово Воскресенье, посліт заутрени, сказаль свое жалованье: веліль въ комнатныхъ казачкахъ при себі быть, всть съ княжаго стола, а матушків-покойниців давать за меня місячину мукой, крупой, масломь, да по три алтына въ місяць деньгами. Въ грамоту съ прочими казачками меня отдали, драли, сударь, немилосердно, однакожъ дьячокъ Пафнутій до своего дошель: грамота встмъ далась, цыфпрному ділу даже маленько навыкли. А когда исполнилось мит двадцать годовъ, стали насъ распреділять по наукамъ: кого въ музыканты, кого въ часовщики, кого въ жи-

вописцы, кого французскому учиться, чтобъ съ молодымъ княземъ съ Борисомъ Алексвичемъ въ Парижъ отправить. Меняже, за многую службу матушки-покойницы и по ея великой слезной просъбъ, по собачьей части князь опредълить изволилъ.

Было, сударь, ми'є л'єть двадцать съ небольшимъ, какъ сподобилъ и меня Господь передъ св'єтлыми очами князя Алекс'єя Юрьича малую службишку справить и т'ємъ его княжескаго жалованья и милости удостоиться. Верстахъ въ двадцати отъ Заборья, тамъ, за Ундольскимъ боромъ, сельцо Кру-тихино есть. Было оно втёпоры отставного капрала Солоницына: за увъчьемъ и ранами былъ тотъ капралъ отъ службы уволенъ и жилъ въ своемъ Крутихинъ съ молодой женой... А вывезъ онъ ее изъ Литвы, аль изъ Польши, а можетъ статься, изъ Хохловъ, доподлинно не знаю, - только красавица была писаная, теперь, думать надо, изойти весь былый свъть, такой не найдешь. Киязю Алекстю Юрьичу Солоничиха приглянулась: сначала хотъль ее честью въ Заборье сманить, однакожъ она не поддалась, а мужъ взъеропинлся, воюетъ: «Либо, говоритъ, матушкъ государынъ подамъ челобитную, либо, говоритъ, самого князя зарублю». Выъхали однажды по льту мы на краснаго звъря въ Ундольскій боръ, съ десятокъ лисицъ затравили, привалъ возлѣ Крутихина сдълали. Выложили передъ княземъ Алексвемъ Юрьпчемъ изъ тороковъ звъря травленаго, стоимъ, ждемъ слова ласковаго.

А князь Алексъй Юрынчъ кручиненъ сидитъ, не смотритъ на краснаго звъря травленаго, смотритъ на сельцо Крути-

хино, да такъ, кажется, глазами и хочетъ събсть его.

— Что это за лисы, говорить, что это за красный звърс? Воть какъ бы кто мив затравиль лисицу кругихинскую, тому

человику я и не знай бы что далъ.

Гикнуль я, да въ Крутихино. А тамъ барынька на огородъ въ малинничкъ похаживаетъ, ягодками забавляется. Схватиль я красотку поперекъ живота, перекинулъ за съдло, да назадъ. Прискакалъ да князю Алексъю Юрычу къ ногамъ лисичку и положилъ. «Потъщайтесь, молъ, ваше сіятельство, а мы отъ службы не прочь». Глядимъ, скачетъ капралъ; чуть-чутъ на самого князя не наскакалъ... Подлинно вамъ доложить пе могу, какъ дъло было, а только капрала не стало, и литвяночка стала въ Заборъв во флигелъ житъ. Лътъ черезъ пять постриглась, игуменьей въ Зимогорскомъ монастыръ была, и князъ Алексъй Юрьичъ очень украсилъ ей обитель, каменну церковъ соорудилъ, земли купилъ, вклады большіе пожаловалъ.

Добрая была барынька, дай ей Богъ царство небесное, милостивая: какъ жила въ Заборьф, завсегда умела утолить сердце князя Алексъ́я Юрынча. Только-что онъ на своихъ ли холопей, на мелкопомъстное ли шляхетство распалится, завсегда, бывало, уйметь его. Много за нее Бога молпли.

За эту самую службу изволиль меня князь Алексей Юрьичь о́езпримѣрно пожаловать. «Коли вѣренъ рабъ, такъ и князь ему радъ»,—при всѣхъ сказать изволилъ и велѣлъ мнѣ быть ири своемъ княжемъ стремени. Чекмень малиновый съ позументами изволиль пожаловать, полтора рубля деньгами, чарку серебряную, три полушубка мерлущатыхъ, лисью шубу, да кусокъ сукна итмецкаго. А сверхъ того изволилъ женить меня на барской барынъ. Однакожъ матушка - покойница князя укланяла: за молодостью лёть въ брачное дёло миё вступить было отказано. Милость князя была ко мнв великая: замвсто женитьбы съ птичнаго двора дѣвку Акульку въ наложницы мнѣ пожаловалъ. Да вѣдь не то, чтобъ я просилъ о томъ, ивть, сударь, самъ пожаловать изволиль, безъ просьбы... Послъ того, года черезъ два, меня на птвицт женили, на родной сестрѣ Василисы Бурылихи, что въ Заборьѣ надо всѣми порядокъ держала. Презлющая баба была эта Василиса, а съ рожи такая, что какъ во снѣ, бывало, приснится, вскочишь да перекрестишься. А у князя Алексѣя Юрыча на великой была милости, для того, что по дъвичьимъ ладно дъла вела. Мив съ женой изъ-за нея куда какъ хорошо было жить.

III.

На ярмонкъ.

«Отсель, — сказано възапискахъ Валягина: — заношу въ сію тетрадь со словъ Анисима Прокофьева и по разсказамъ дру-

гихъ стариковъ».

Въ старые годы бывала въ Заборь ярмонка, приходилась она въ лѣтнюю пору. Съѣзжались на ту ярмонку люди торговые со всякими товарами со всего царства русскаго, а также изъ другихъ краевъ, всякіе иноземцы бывали, и всѣмъ былъ вольный торгъ на двѣ недѣли. Сказывали купчины, что наша Заборская ярмонка малымъ чѣмъ Макарьевской уступала, а украинскихъ и иныхъ много лучше была. Теперь совсѣмъ порѣшилась.

Была она на землѣ монастырской, оттого всѣ сборы денежные: таможенный, привальный и отвальный, пятно конское, и австерскія, похомутный и вѣсчая пошлина сполна шли на монастырь. Монастырскую землю заборскія дачи обошли во всѣ стороны, оттого ярмонка въ рукахъ князя Алексѣя Юрыча состояла. Для порядку наѣзжали пзъ Зимогорска комисары съ драгунами «для дълъ набереженыхъ» и «для дълъ

объъзжихъ», да ассессоры провинціальные, — исправниковъ тогда и въ духахъ пе бывало, — однакожь вся сила была въ

князѣ Алексѣѣ Юрыпчь.

Наступить девятая пятница, начало ярмонкв. Съ ранняго утра въ Заборьт все закишитъ, ровно въ муравейникъ: въ парадъ зачнутъ сбираться, пудриться, одтваться, коней съдлать, кареты закладывать. И когда все по чину устроится, пойдеть къ князю старшій дворецкій съ докладомъ, — а бываль въ томъ чинъ не изъ холопей, а изъ мелкопомъстнаго шляхетства. Доложить онь, что время на ярмонку бхать, и велить князь въ ряды строиться. Доложать, что построились, выйдеть на крыльцо во всемь нарядь: въ аломъ бархатномъ кафтанъ, питомъ золотомъ, камзолъ съ серебряными блестками, въ парикъ по плечамъ, въ треугольной шляпъ, въ красной кавалеріи и при шпагъ. За нимъ съ сотню другихъ большихъ господъ, «знакомцевъ» и мелкопомъстнаго шляхетства и недорослей — всь въ шелковыхъ кафтанахъ и парикахъ. Потомъ выйдеть на крыльцо княгиня Мареа Петровна — въ помнадурв изъ серебряной парчи съ алыми разводами, волосы кверху зачесаны и напудрены, наверху корабликъ, а шея, грудь и голова такъ п горять камнями самоцветными. За ней барыни — вст въ робронахъ, въ пудрт, приживалки въ киягишиных платьяхъ, комнатныя двин — въ золотныхъ шугай-чикахъ, въ лътникахъ и собольихъ шапочкахъ.

— Трогай! — крикнеть, сѣвши въ карету, князь Алексѣй

Юрьичь, и повздъ повдеть къ монастырю.

Впереди пятьдесять вершниковь, на гитдыхь лошадяхь, вство суконныхь кармазинныхь чекменяхь, штаны голубые гарнитуровые, пояса серебряные, штиблеты желтые, на головахь парики пудреные, шляпы круглыя съ зелеными перьями.

За вершниками охота потдеть, только безъ собакъ. Исари и дотажаче региментами: первый регименть на вороныхъ коняхъ въ кармазинныхъ чекменяхъ, другой регименть на рыжихъ коняхъ въ зеленыхъ чекменяхъ, третій — на стрыхъ лошадяхъ въ голубыхъ чекменяхъ. А чекмени у встать суконные, черезъ плечо шелковыя перевязи, у однихъ бълыя, шиты золотомъ, у другихъ пюсовыя, шиты серебромъ. За ними стремянные на гитамахъ коняхъ въ чекменяхъ малиновыхъ, въ желтыхъ шапкахъ съ красными перьями, черезъ плечо золотая перевязь, на ней серебряный рогъ.
За охотой мелкопомъстное шляхетство и знакомцы, верхами,

За охотой мелкопомъстное шляхетство и знакомцы, верхами, кто въ мундирѣ, кто въ шелковомъ французскомъ кафтанѣ, всѣ въ пудреныхъ парикахъ, а лошади подо всѣми съ княжой конюшни. За шляхетствомъ, мало отступя, самъ князь Алексѣй

Юрьнчъ въ открытой золотой каретѣ цугомъ, лошади бѣлыя, а хьосты да гривы черные, — нарочно чернили. За каретой четыре гайдука на запяткахъ да шестеро пѣшкомъ, всѣ въ зеленыхъ бархатныхъ кафтанахъ, а кафтаны вкругъ шиты золотомъ, камзолы алаго сукна, рукава алаго бархату съ кондырками малыми, волотой бахромой общитыми. Шапки на гайдукахъ пюсоваго бархату съ волотыми шнурами и съ бълыми перьями. И у каждаго гайдука черезъ плечо цѣпь се-ребряная. За каретой арапы пѣшкомъ въ красныхъ юбкахъ, съ золотыми поясами, на шев у каждаго серебряный ошейникъ, на головв красна шапка. Потомъ другая золотая карета, тоже пугомъ, къ ней княгиня Мароа Петровна, вкругъ ся кареты скороходы, на нихъ юбки краснаго золотнаго штофа, а прочее платье бълаго штофа серебрянаго, сами въ парикахъ напудреныхъ большихъ, безъ шапокъ. За княгининой каретой кареть сорокъ простыхъ не золоченыхъ, каждая заложена въ четыре лошади безъ скороходовъ, а только по два лакея въ желтыхъ кафтанахъ на запяткахъ: въ тъхъ каретахъ большіе господа съ женами и дочерьми, барыни изъ мелкопомъстнаго шляхетства и вольныя дворянки, что при княжомъ дворъ проживали. Потомъ, на княжихъ лошадяхь, что поплоше, видимо-невидимо мелкопомъстнаго шляхетства.

Прівдуть и въ монастырю, у святыхъ вороть изъ кареть выйдуть и въ церковь пвшкомъ пойдуть. А какъ службу божественную отпоють, съ крестнымъ ходомъ кругомъ монастыря отправятся, да, обощедши монастырь, на ярмонку, ради освященія флаговъ. Какъ стануть воду святить, пальба изъ пушекъ пойдеть и музыка. Туть князь Алексвії Юрьичъ къ архимандриту ярмоночный флагь поднесетъ, тотъ святой водой его покропить, а князь на столбъ своими руками вздернеть. Пушки запалять, музыка играеть, трубы, роги раздадутся, а народъ во все горло: ура! и шапки кверху. Это значить ярмонка началась, и съ того часу всёмъ кущамъ торгъ повольный, а смёй кто допрежь урочнаго часу лавку открыть, запореть князь Алексвії Юрьичъ того до полусмерти и товаръ въ Волгу велить покидать, либо середи ярмонки сожжеть его.

Къ архимандриту объдать! А на полъ возлъ ярмонки столы накроютъ, бочки съ виномъ ради холопей и для чернаго народу выкатятъ. И туть не одна тысяча людей на княжой коштъ ъстъ, пьетъ, проклажается до поздней ночи. Всъмъ одинъ приказъ: «пей изъ ковша, а мъра душа». Ръдкій годъ человъкъ двадцать, бывало, не обопьется. А пьяныхъ подбирать

было не велвно, а коли кто на пьянаго наткнулся, перешагии

черезъ него, а тронуть пальцемъ не смъй.

На другой день въ Заборь в пиръ горой. Соберутся большіе господа и мелкопомъстные, торговые люди и приказные, всего человъкъ, можетъ, съ тысячу, иной годъ и больше. У князя Алексия Юрынча таковъ былъ обычай: кто ни пришелъ. не спранивають, чей да откуда, а садись да ней, а коли всть хочень, пожалуй, и тыь, добра припасено вдосталь... На полянь, позадь дому, столы поставлены, бочки выкачены. Музыка, пъсни, пальба, гульба день-денской стономъ стоятъ. Вечеромъ потъщные огни да бочки смоляныя, хороводы въ саду. Со всей волости бабъ да дѣвокъ нагонятъ... Тутъ дѣло извъстное: что въ полъ горохъ да ръпка, то въ мірь баба да дъвка, значить, туть безъ гръха невозможно, потому что всяка жива душа калачика хочеть. Потвиные-то огни какъ потухнуть, князь Алекски Юрьнчъ съ большими господами въ павильонъ, а мелкопомъстное шляхетство въ садочкъ, на лужочкъ да по овражкамъ всю ночь до утра прокуражатся.

Да такъ всю ярмонку и прогуляють. Каждый Божій день народу видимо-невидимо. И все пьяню. Крикъ, гамъ, ивсни,

драка — дымъ коромысломъ.

А на ярмонку ради порядку князь Алекскії Юрычть каждый день изволиль самъ выбъжать. Чуть кого въ чемъ замѣтитъ, тутъ ему и расправа. И судъ его былъ вскиъ пріятенъ, для того, что скоро кончался; тутъ же, бывало, на мѣстѣ и разборъ и взысканье, въ дальній ящикъ не любилъ откладывать: все бы у него живой рукой шло. Чернилъ да бумаги бѣда какъ не жаловалъ. Зато всѣ торговые люди, что на Заборскую ярмонку съѣзжались, какъ отца родиого любили его, благодѣтелемъ и милостивцемъ звали. И они до бумаги-то не больно охочи. До челобитныхъ ли да до приказныхъ дѣлъ купцу на ярмонкѣ, когда у всякаго каждый часъ дорогъ?

Не любилъ тѣхъ князь Алексѣй Юрьпчъ, кто помимо его по судамъ просилъ. Призоветъ, бывало, такого, шляхетнаго ли роду, купчину ли, мужика ли, ему все едино: перво-наперво обругаетъ, потомъ изъ своихъ рукъ побить изволитъ, а послѣ того кошки, плети аль кашица березовая, смотря по чину и по званю. А послѣ бани тотъ человѣкъ долженъ идти

къ князю благодарить за науку.

— То-то и есть, — скажеть туть князь: — ты какъ гусь: летаешь высоко, а садиться не умфешь, воть и дождался. Развъ нъть тебъ моего суда, что вздумаль по приказнымъ ходить? Смотри же, впередъ будь умнъе...

— 106 —

И ничего, еще ручку пожалуеть поцёловать и велить того человёка напонть, накормить до отвалу.

Купцамь на ярмонкё такой быль приказы: съ богатаго сколь хочешь бери, обманывай, обмёривай, обвёшивай его, сколько душё угодно; бёднаго обидёть не моги. Разъ позваль князь къ себё въ Заборье одного москевскаго купчину обедать: купець богатёющій, каждый годъ привозиль на ярмонку панскаго и суровскаго товару на многія тысячи: парчи, дородоры, гарнитуры, глазеты, атласы, левантины, ну и всякія другія матеріи. А товаръ-отъ все прочный быль— лубокъ лубкомъ; въ нынёшнее время такихъ матерій и не дёлають, все стало щепетильнёе, все измельчало, оттого и самую одежу потоньше стали носить. Пооб'єдавши, говорить князь Алексёй Юрычъ купчип'є:

— Ты по чемъ, Трифонъ Егорычъ, алый левантинъ продаешь?

даешь?

По гривнѣ, ваше сіятельство, продаемъ и по четыре алтына, смотря по добротѣ.
 А была у тебя вчера въ лавкѣ попадья изъ Большого

Bpary?

— Не могу знать, ваше сіятельство, народу въ день перебываетъ много. Всёхъ запомнить невозможно.

— Попадья у тебя аршинъ алаго левантину на головку покупала. Почемъ ты ей продалъ?

— Не помню, ваше сіятельство, хоть околѣть на этомъ мѣстѣ, не помню. Да еще можетъ статься, не самъ я и товаръотъ ей отпущалъ, изъ молодцовъ кто-нибудь.

— Ну ладно, — сказалъ князь Алексѣй Юрычъ да и кликъчтъ поряжива в проданти за поличность статься, не самъ в и кликъчтъ поряжива в поряж

— Ну ладно, — сказалъ князь Алексъй Юрычть да и кликнуль вершника. А вершниковъ съ десятокъ завсегда у крыльца на коняхъ стояло для посылокъ.

Вошелъ вершникъ. Купчина ни живъ ни мертвъ: думаетъ — на конюшню. Говоритъ вершнику князь Алексъй Юрычтъ: — Проводи ты вотъ этого купчину до ярмонки, тамъ онъ дастъ тебъ кусокъ алаго левантину самаго лучшаго. Возьми ты этотъ левантинъ и духомъ отвези его въ Большой Врагъ, отдай отца Дмитрія попадъв и скажи ей: купецъ, молъ, московскій Трифонъ Егорычъ Чуркинъ кланяться тебъ, матушка, вельль и прислалъ, дескать, кусокъ левантину въ подарокъ за то-де, что вчера онъ съ тебя за аршинъ такого же левантина непомърную цъну взялъ. А ты, Трифонъ Егорычъ, за молодцами-то приглядывай, чтобъ они бъдныхъ людей не обижали, а то въдь я по-свойски расправлюсь. Пороть тебя не стану, а въ сидъльцы къ тебъ пойду. Такъ смотри же, держи у меня ухо востро. v меня vxo востро.

Недвли не прошло, спроввдаль князь про Чуркина, однодворца какого-то канифасомъ обмврялъ. Только услыхалъ про это, ту-жъ минуту на-конь, прискакалъ на ярмонку, прямо

къ Чуркину въ лавку.

— А ты, говорить, Трифонъ Егорычь, приказъ мой нозабыль? Экая, братецъ мой, у тебя память-то короткая стала! Нечего дёлать, надо мнв свое княжое слово выполнить, надо къ тебѣ въ сидѣльцы идти. Эй, вы, аршинники, вонъ изъ лавки всѣ до единаго!

Чуркинъ съ молодцами изъ лавки вонъ, а князь Алексѣй Юрьичъ, ставши за прилавокъ да взявши въ руки аршинъ,

крикнулъ на всю ярмонку зычнымъ голосомъ:

— Господа честные, покупатели дорогіе! Къ намъ въ лавку покорно просимъ, у насъ всякаго товару припасено вдоволь, есть атласы, канифасы, всякіе дамскіе принасы, чулки, платки, батисты!.. Продаемъ безъ обмѣру, безъ обвѣсу, безо всякаго обману. Сдачи не даемъ и сами мелкихъ денегъ не беремъ. Отпускаемъ товаръ за свою цѣну, за наличныя деньги, у кого денегъ нѣтъ, тому и въ долгъ можемъ повѣрить: заплатишь — спасибо, не заплатишь — Богъ съ тобой.

Навалила въ лавку чуть не цѣлая ярмонка. А князь за прилавкомъ аршиномъ работаетъ: пять аршинъ чего ни на есть отмѣряетъ да куска два-три почтенія сдѣластъ. Такимъ манеромъ часа черезъ три у Чуркина весь товаръ распродалъ,

только наличной выручки оказалось число невеликое.

— Вотъ тебѣ, — сказалъ князь Алексѣй Юрынчъ Чуркпну: — выручка, а остальной товаръ въ долгъ проданъ. Ищи, хлопочи, сбирай долги, это ужъ твоя забота, а мое дѣло сторона. Да ты у меня смотри, попадью съ однодворцемъ не забывай. По-ъдемъ теперь въ Заборье объдать; оно бы, по-настоящему, съ тебя могорычи-то слъдовали, ну, да такъ и быть: пожалуй, ужъ я накормлю. Садись въ карету.

Замялся Чуркинъ, не лізеть въ карету, стоить, дрожить,

какъ зачумленный.

— Не бойсь, хозяннъ, садись, — говоритъ ему князь Алексъ́й Юрьичъ. — Ты, чай, думаешь, драть тебя стану, не бойся: сказано, не стану пороть, значитъ, и не стану. Захотълъ бы плетью поучить — и здъсь бы спину-то вздулъ. Садись же, хозяинъ!

Сѣть Чуркинъ съ княземъ въ карету, поѣхалъ въ Заборье обѣдать. А за обѣдомъ Чуркина на перво мѣсто посадили, и князь Алексѣй Юрьичъ самъ ему прислуживалъ: за стуломъ у него съ тарелкой стоялъ, хозяшиомъ все время называлъ. «Я, говоритъ, у Трифона Егорыча въ услужени».

А пороть не пороль. На прощанье еще жалованьемъ удостоиль: отъ любимой борзой суки Прозерпинки кобелька да сучонку на племя подариль.

Съ той поры Чуркинъ на ярмонку ни ногой.

А кто съ княземъ Алексвемъ Юрьичемъ смёло да умно поступалъ, того любилъ. Разъ одинъ купчина прогневалъ его: отобедавши въ Заборье, не пожелалъ съ барскими барынями да съ деревенскими девками въ саду повеселиться, спешнымъ деломъ отговаривался, получене, де предвидится отъ сибирскихъ купцовъ. Соснувши маленько после обеда, узналъ князъ, что купчина его приказу сделался ослушенъ: тихонько на ярмонку съехалъ.

Ну, говорить, чертъ съ нимъ: была бы честь предложена, отъ убытка Богъ набавить. Пороть не стану, а до

морды доберусь, — не пеняй.

П попадись онъ князю на другой день за балаганами, а туть песокъ сыпучій, за пескомъ озеро, дно ровное да покатое, отъ берега мелко, а на середкі дна не достанешь; зато ни ямъ ни уступовъ ність ни единаго. Завидівши купчину, князь остановился, пальцемъ манить его къ себі: — поди-ка, моль, сюда. Купчина смекнуль, зачімъ зоветь, нейдеть, да, стоя саженяхъ въ двадцати отъ князя, говорить ему:

— Нёть, ваше сіятельство, ты самъ ко мнё поди, а я не пойду для того, что ни зуботрещинъ твоихъ, ни кошекъ, ни

илетей не желаю.

— Ахъ, ты, аршинникъ этакой! — закричалъ князь Алексъй

Юрьичь, да къ нему.

А купчина парень не промахъ, задалъ къ озеру тягача, а песокъ тутъ сыпучій, ноги такъ п вязнутъ. Князь Алексъй Юрьичъ вдогонку, распалился весь, запыхался, все бъжитъ, сердце-то ужъ очень взяло его. Вязнутъ ноги у купчины, вязнутъ и у князя. Вотъ купчина догадался: оглянулся назадъ, видитъ, князь шагахъ во ста отъ него. «Эхъ, думаетъ, успъю»: сълъ, сапоги долой, да босикомъ дальше пустился: бъжатъ-то ему такъ вольготнъе стало. Видитъ князъ, купчина умно поступилъ, самъ сълъ, тоже сапоги долой, да босикомъ дальше. Купчина къ озеру, князъ тоже. Забрелъ купчина по горло, а князъ по грудь, остановился да перстикомъ купчину и манитъ.

— Подь, говорить, ко мнв, разделаться съ тобой хочу.

А купчина въ отвътъ тоже пальцемъ манитъ да свое говоритъ:

— Нѣтъ, ваше сіятельство, ты ко мнѣ подь, а ужъ я не

пойду.

— Ла въдь ты, подлецъ, утонешь?

— Тамъ ужъ, что Богъ дасть, а къ тебт не пойду.

Перекорялись-перекорялись, а другь къ дружкѣ не пошли. Хоть время стояло и жаркое, а оба, стоя въ водѣ, продрогли.

Ну, — говорить князь: — люблю молодца за обычай,

тдемъ въ Заборье объдать, зло твое я забылъ.

— Врешь, ваше сіятельство, — говорить купчина: — обма-

нешь, выпорешь.

— Пальцемъ не трону, — отвѣчалъ князь Алексѣй Юрынчъ: — ей-Богу, пальцемъ не трону.

Обманешь, ваше сіятельство.

— Ей-Богу, не обману, право, не обману.

— А ну перекрестись!

И сталь князь, стоя въ водь, креститься и всъми святыми себя заклинать, что никакого дурна надъ купчиной не учи-

нить. Далъ купчина въру, поъхалъ въ Заборье.

Не то чтобы выдрать — пріятелемъ сділаль его, домъ каменный въ Москві подариль. Бывало, что есть — вмісті, чего ність — пополамъ. Двухъ дочерей замужь повыдаль; въ посажёныхъ отцахъ у нихъ быль, сына вывель въ чины; послі въ Зимогорскі вице-губернаторомъ быль, отъ соли да отъ вина страхъ какъ нажился...

-- А вёдь утопиль бы ты меня, Копонъ Өадденчь, какъ бы

я къ тебъ тогда подошель? — скажеть, бывало, князь.

— А какъ знать чего не знать, — отвъчаетъ купчина: — что бы Богъ указалъ, то бы я надъ тобой, ваше сіятельство, и сдълалъ.

II захохочуть оба, да послѣ того и почнуть цѣловаться.

И всегда и во всемъ такъ бывало: кто удалую штуку удеретъ, либо тыкнетъ князю прямо въ носъ, не боюсь-де тебя, того жаловалъ и въ чести держалъ. Да вотъ какой случай былъ.

Въ лѣтнюю пору послѣ обѣда садился, бывало, онъ въ кресла подремать маленько. Пресла ставили на балконѣ, заднія ножки въ комнатѣ, а переднія на балконѣ, такъ на порогѣ и дремлетъ. И тогда по всему Заборью и на Волгѣ на всѣхъ судахъ никто пикнуть не смѣй, не то на конюшию. Флагъ надъ домомъ особый выкидывали, знали бы всѣ, что князь Алексѣй Юрьичъ почивать изволитъ.

Дремлетъ онъ этакъ разъ, а барчонокъ изъ мелкопомѣстныхъ знакомцевъ, что изъ милости на кухнѣ проживалъ, тихонько возлѣ дома пробирается. А въ нижнемъ жильѣ, подъ самымъ тѣмъ балкономъ, жили барышни-приживалки, вольныя дворянки, и деревни свои у нихъ были, да плохонькія, оттого въ Заборьѣ на княжескихъ харчахъ и проживали. Барчонокъ подъ окна. Говорить не смѣстъ, а турусы на колесахъ ба-

рышнямъ подпустить охота, сталь руками маячить, а самъ ни гугу. Барышнямъ невтерпежъ: похохотать охота, да гроза наверху, не смъютъ. Машутъ барчонку платочками: уйди, дескать, постръть, до гръха. А барчонокъ маячилъ-маячилъ, да какъ во все горло заголоситъ: «Не одна-то во полъ дороженька». Заоралъ да и драла. Вершники, что у крыльца стояли, его не запримътили, сами тоже вздремиули: часъ былъ полуденный. Такъ барчонокъ и скрылся.

Пробудился князь. Грозенъ и мраченъ, руки у него такъ и

дергаеть.

— Кто «Дороженьку» п'ять? — спрашиваеть. Поб'яжали сломя голову во вс'я стороны. Ищуть.

А барчонокъ себѣ на умѣ, семью собаками его не сыщешь. Улегся на сѣнникѣ, спить тоже будто. Кромѣ барышень никто его не примѣтилъ, а тѣ, извѣстное дѣло, не выдадутъ.

— Кто «Дороженьку» пёль? — кричить князь Алекстй

Юрынчъ.

Бѣгаютъ холопи, не могутъ найти.

— Кто «Дороженьку» пѣль? — кричить князь. На крыльцо вышель, арапникъ въ рукъ.

Не знають, что доложить, бъгають, рыщуть, дознаться не

MOTVT'b.

— Кто «Дороженьку» п'яль? — на все село кричить князь Алекс'яй Юрьичь: — сейчасъ передо мною поставить, не то вс'яхъ запорю!

Не могуть найти. Рычить князь, словно медвъдь на рога-

тинъ. Ущелъ въ домъ, зеркала звенятъ, столы трещатъ.

Старшій дворецкій и холопи всё кланяться стали Васыкёпёсеннику: «возьми на себя, виноватаго сыскать не можемъ».

Васька себѣ на умѣ, уперся. «Спина-то, говорить, моя, не ваша, да еще чего добраго, пожалуй, и въ прудъ угодишь». Не желаеть.

Стали сму кучиться со слезами: «дворецкій, моль, тебя выручить, а на всякій случай воть тебѣ десять рублевь деньгами». А десять рублей въ старые годы деньги были большія.

Почесаль въ затылкъ пъсенникъ: и спины жаль, и съ деньгами разстаться не охота. «Ну, говоритъ, такъ и быть, идемъ. Только смотри же, коль не изъ своихъ рукъ станетъ пороть, такъ вы, черти, полегче».

А тым временемь князь распалился безъ мыры.

— Всему холопству, кричить, по тысячь кошекъ, все шляхетство илетьми задеру. Да спросить у барышень, опъ должны знать... Ие скажуть, юбки подыму, розгачами угощу!

Страхъ смертный. Инкнуть не смъетъ никто, дышать боятся.

— Кошекъ! — зарычалъ. Зычный голосъ по Заборью раз-

дался, и всяка жива душа затрепетала.

— Ведуть, ведуть, — кричать комнатные казачки, завидѣвъ дворецкаго, а за нимъ гайдуковъ: волочили они по землѣ по рукамъ по ногамъ связаннаго Ваську пѣсенника.

Сѣлъ князь на софу судъ и расправу чинить. Подвели

Ваську. Сами ни живы ни мертвы.

- Ты «Дороженьку» пѣлъ? спросилъ у пѣсенника князь Алексѣй Юрычть.
- Виновать, ваше сіятельство, отвѣчаль Васька- пъсенникъ.

Замолкъ князь. Помолчалъ маленько и молвилъ:

— Славный голось у тебя... Десять рублей ему да кафтань съ позументомъ!

IV.

Именины.

А именины справлять князь на пятый день Покрова. Пиры бывали великіе; недѣли на двѣ либо на три все окружное шляхетство съѣзжалось въ Заборье, губернаторъ изъ Зимогорска, воеводы провинціальные, генералъ, что съ драгунскими полками въ Жулебинѣ стоялъ, много и другихъ чиновныхъ. Изъ Москвы наѣзжали, иной разъ изъ Питера. Всякому лестно было князя Алексѣя Юрыча съ днемъ ангела поздравить.

Каждому своя комната, кому побольше, кому поменьше: неслужащему шляхетству, смотря по роду, — чиновнымъ, глядя по чину. Губернатору флигель особый, драгунскому генералу съ воеводами другой, по прочимъ флигелямъ большіе господа: кому три горницы, кому двѣ, кому одна, а гдѣ по два, по три гостя въ одной, глядя, кто каковъ родомъ. А наѣзжее мелкономѣстное шляхетство и приказныхъ по крестьянскимъ дворамъ разводили, а которыхъ въ застольную, въ ткацкую, въ столярную. Тамъ и спятъ въ повалку.

Съ вечера наканунф именинъ всенощну служатъ. Тутъ всемъ приказъ: у службы быть неотивнно. Князь самъ шестопсалміе читаетъ и синаксарь. Зналъ онъ церковный уставъ не хуже монастырскаго канонарха, къ службѣ Божіей былъ не леностенъ, къ дому Господню раденіе имелъ большое. Сколько по церквамъ иконостасовъ наделалъ, сколько колоколовъ вылилъ, въ самомъ Заборътъ три каменныя церкви соорудилъ.

Ужина не бывало, чтобъ грѣхомъ до утра не забражничаться, обѣдни не проспать бы. Подавали каждому фсть-инты въ своемъ мѣстѣ, а хмельнаго ставили число невеликое.

На другой день, послѣ обѣдни, всѣ, бывало, поздравлять нойдуть. Сядеть князь Алексѣй Юрынчъ во всемъ нарядѣ и въ кавалерін на софѣ, въ большой гостиной, по правую руку губернаторъ, по лѣвую—княгиня Мароа Петровна. Большіе господа, съ ангеломъ князя поздравивши, тоже въ гостиной разсядутся: по одну сторону мужчины, по другую — женскій полъ. А садились по чинамъ и по роду.

Пінта съ виршами придетъ — нарочно такого для праздниковъ держали. Звали Семеномъ Титычемъ, былъ онъ изъ поновскаго роду, а стихотворному дѣлу на Москвѣ обучался. Въ первый же годъ, какъ пріѣхалъ князъ Алексѣй Юрьичъ на житъе въ Заборье, нанялъ его. Привезли его изъ Москвы вмѣстѣ съ карликомъ — тоже рѣдкостный былъ человѣкъ: ростомъ съ восьмигодового мальчишку, не больше. Жилъ пінта на всемъ на готовомъ, особая горница ему была, а дѣло только въ томъ и состояло, чтобы къ каждому торжеству вирши написать и пастораль сдѣлать. И каждый разъ, передъ дѣломъ, недѣли на три его ради трезвости на голубятню; бывало, какъ только вытрезвятъ, такъ и пойдетъ онъ вирши писать да настораль строить.

Придетъ Титычъ въ гостиную, тоже напудренный, въ шелковомъ кафтанѣ, почнетъ поздравительныя вирши сказыватъ. Гости слушаютъ молча. А когда отчитаетъ, подастъ тѣ вирши князю на бумагѣ, а князъ ручку дастъ ему поцѣловатъ, денегъ пожалуетъ и велитъ напоитъ Титыча до положенія ризъ, только бы наблюдали, чтобы Богу душу не отдалъ, для того, что человѣкъ былъ нужный, а пилъ безъ разсужденія. Въ старые годы пінтовъ было число невеликое, найти было ихъ трудновато, оттого и берегъ князъ Титыча. Таковъ былъ приказъ: пінту беречь всякими мѣрами и ради потѣхи вреда ему

не чинпть.

Разъ одного знакомца изъ благороднаго шляхетства такъ взодралъ князь за Титыча, что небу стало жарко. Похрысневъ Иванъ Тихонычъ — было у него дворовъ тридцать своихъ крестьянъ, да разобжались, оттого и пошелъ на княжіе харчи — съ Титычемъ былъ пріятель закадычный: пили, гуляли сообща. Насмотрёлся Иванъ Тихонычь, каковы въ Заборьѣ забавы. И холопи и шляхетство такъ промежь себя забавлялись: кого на медвъдя насунуть, кому подошвы медомъ намажутъ да дадутъ козлу лизать; козелъ-отъ лижеть, а человъку щекотно, хохочеть до тъхъ поръ, какъ глаза подъ лобъ уйдутъ и дышать еле можетъ. Насмотрѣвшись такихъ потѣхъ, Иванъ Тихонычъ подмѣтилъ разъ друга своего во пьяномъ образѣ лежаща и сшутилъ съ нимъ шуточку. да и шутку-то небольно

обидную: ежа за пазуху ему посадилъ. Вскочилъ пінта, заоралъ благимъ матомъ, спьяну да спросонокъ не можетъ понять, что такое у него подъ рубахой возится да колетъ. Ровно угорълый на дворъ выбъжалъ, «караулъ! ръжутъ!» — кричитъ. На гръхъ самъ князъ тутъ случисъ; узнавъ причину, много смъяться изволилъ, а Ивана Тихоныча выпоролъ и цълый день ежа за пазухой носить приказалъ. — «Ты, говоритъ, знай, съ къмъ шутитъ: Титычъ, говоритъ, тебъ не пара: онъ человъкъ ученый, а ты свинья». Вотъ какъ ученыхъ людей князъ почиталъ.

А какъ въ день княжихъ именинъ Семенъ Титычъ изъ гостиной выйдетъ, неважные господа и знакомцы пойдутъ поздравлять, также и приказный народъ. Подходятъ по чинамъ, и всякому, бывало, князь Алексъй Юрычъ жалуетъ ручку свою пъловать. Кто поцъловатъ, тотъ на галлерею, а тамъ

оть водокъ да отъ закусокъ столы ломятся.

Чай стануть подавать, но только большимъ господамъ. Въ стары-то годы чай бывать за диковину, и инть-то его умѣли только большого рангу господа; мелочь не знала, какъ и взяться... Давали иной разъ мелкомѣстному шляхетству аль приказнаго чина людямъ, ради потѣхи, позабавиться бы большимъ гостямъ, глядя, какъ тотъ съ непривычки глотку станетъ жечь да рожи корчить. Шутовъ, бывало, призовутъ, передразнивать барина-то прикажутъ, чай у него отнимать, киляткомъ его ошиарить. Шуты съ бариномъ подерутся, обварять его, на полъ повалять да мукой обсыплютъ. А какъ назабавится князь, въ шею всѣхъ и велитъ вытолкать.

Пьють, бывало, чай въ гостиной: губернаторъ почнеть вѣдомости сказывать, что въ курантахъ вычиталъ, аль изъ Питера что ему отписывали. Московскіе гости со своими вѣдомостями. Такъ и толкуютъ часъ-другой времени. Пріѣзжалъ частенько на именины генералъ-поручикъ Матвѣй Михайлычъ Ситкинъ, — родня князю-то былъ; при дворѣ больше находился, къ Разумовскому бывалъ вхожъ.

— Слышно, — говорить онь однажды: — про тебя, князь Алексъй, что матушка-государыня хочеть тебя въ цесарскую

землю къ венгерской королевъ резидентомъ послать.

— II до меня такія вѣдомости, сіятельнѣйшій князь, доходили, — промолвилъ губернаторъ: — а когда Матвѣй Михайлычъ изъ самаго дворца матушки-государыни подлинныя вѣдомости привезъ, значитъ, онъ вѣроятія достойны.

И стали всв поздравлять князя Алексвя Юрыча. А у него

лицо такъ и просіяло. Помодчаль онъ и молвиль:

— Не ѣду.

— Въ умъ-ль ты, князь, али рехнулся? — ужаснулся даже

генералъ-поручикъ, родия-то.

— Сказано— не повду, такъ значить и не повду, — молвилъ князь Алексъй Юрьичъ. — Пускай меня матушка-государыня смертью казнить, пускай меня въ дальни сибирски города сошлеть, а въ цесарскую землю я ни ногой.

А говориль опъ такъ ради того, что зналь роденьку своего Матвъя Михайлыча: любиль генераль краснымъ словцомъ ръчь поукрасить, любиль и похвастаться передъ людьми: я-де при государынъ нахожусь, всъ великія и тайныя дъла до тонкости внаю.

— Да что ты, что ты? — сталь онъ приставать къ князю. — Есть ли резонъ человъку отъ фортуны отказываться?

Губернаторъ сталъ допытываться, драгунскій генералъ, воевода, изъ большихъ господъ два-три человъка. Другіе не смѣли.

— Какъ же мив возможно вхать въ цесарскую землю? — молвилъ наконецъ князь Алексви Юрьичъ. — Безъ меня лысый чортъ всвхъ русаковъ здвсь затравитъ, а объ красномъ

звъръ лътъ пять послъ того и помину не будетъ.

А лысымъ чортомъ изволилъ звать Ивана Сергвича Опарина. Баринъ былъ большой, по сосёдству съ Заборьемъ вотчина у него въ двё тысячи душъ была, въ старые годы послё князя Алексёя Юрьича по всей губерніи былъ первый человёкъ.

— Не взыщи, князь Алексвії, — подхватиль Пванъ Сергвичь: — всвхъ перетравлю. Ты тамъ у венгерской королевы

резидируй, а я тебь мышенка не покину.

Смѣяться изволиль князь. И всѣ большіе господа смѣялись, а въ другихъ комнатахъ и на галлереѣ знакомцы, шляхетство мелкопомѣстное и приказные тоже на тотъ смѣхъ хохотали, хоть къ чему тоть смѣхъ— и не вѣдали.

 — А ты лучше скажи-ка миф, честный отче, подобаеть ли намъ воть это китайское зелье инть? Гръха туть ифть ли? —

спросиль князь Алексей Юрьичъ.

А это онъ тому же Ивану Сергвичу молвилъ. Звалъ его лысымъ чортомъ потому, что голова у него была на подобіе рыбьяго пузыря, а честнымъ отче потому, что въ старыхъ уставахъ Опаринъ былъ сведущъ. Хоть бороду и брилъ, а париковъ не надевалъ и табаку не курилъ, поставляя въ томъ грехъ великій. Всю жизнь пробылъ въ истехъ *), иятидесяти леть недорослемъ писался, и хоть при Петре Великомъ не разъ былъ за то батогами битъ нещадно, но обычай свой

^{*)} Нътями назывались неявившіеся на службу дворяне.

спесь — на службу въ Питерь не явился. Спервоначалу и нъмецкаго илатья надъть на себя не хотъть, да супруга обрядила. Быль женать на богатой, супруга на ассамблеяхъ упражнялась, нраву была сварливаго, родня у ней знатная, потому мужу бить себя не соизволила; и онъ у нея изъ рукъ смотрълъ. Хоть черезъ великую силу, бородой и охабнемъ супружеской любви поступился. А родитель Ивана Сергъича, въ прежни годы, съ князьями Мышецкими заодно былъ, у расъольщиковъ въ Выгоръцкомъ скитъ и жизнь скончалъ.

— Нѣть ли, — говорить ему князь Алексъй Юрынчь: — въ этомъ пойлъ гръха? Не опоганили-ль мы съ тобой, честный

отче, душъ своихъ?

— А что-жъ въ чаю поганаго? — отвѣчаетъ Иванъ Сергѣичъ: — не табачище!.. Объ чаѣ и въ Соловецкой челобитной не обозначено, стало-быть, погани въ немъ нѣтъ никакой.

- А видишь ли, честный отче, вычель я въ одной французской книгк, что когда въ Хинской землк чай собирають, такъ языческие тамошние жрецы богомерзкое свое служение на поляхъ совершають и водой идоложертвенной чай на корню кропять. А по уставу идоложертвенное употреблять не подобаетъ. Повъдай же намъ, честный отче, опоганили мы свои души аль нътъ?
- А можеть-статься, на тотъ чай, что мы у тебя пьемъ, богомерзкая-то вода и не понала? молвилъ Иванъ Сергънчъ,

накрывая чашку. — Вотъ тебѣ и сказъ.

- Охъ, ты, отвѣтчикъ! крикнулъ князь Алексѣй Юрьичъ, немножко прогнѣвавшись: все-то у тебя отвѣты. Сказываютъ, что смолоду ты немало и раскольничьихъ отвѣтовъ Неофиту писатъ... Правда, что ли? молвилъ князь, подмигнувъ губернатору. Сколько, лысый чортъ, на твою долю поморскихъ отвѣтовъ пришлось написать? Сочти-ка да скажи намъ.
 - Тебѣ оы, князь Алексѣй, цыплятъ по осени считать, а

такого дела не ворошить. Не при тебе оно писано.

— Смотри, лысый чортъ, ты у меня молчи. Не то господина губернатора и владыку святого стану просить, чтобъ тебя съ раскольщиками въ двойной окладъ записали. Пощеголяешь ты у меня съ желтымъ козыремъ да со значкомъ на вороту.

Хоть и разгивался маленько князь Алексвй Юрычть, но Иванъ Сергвичь баринъ былъ большой, попросту съ нимъ раздвлаться невозможно, самъ сдачи дасть, у самого во дворв шестьсотъ человвиъ, а кошки да плети не хуже заборскихъ.

На счастье, подъ самое то слово чихнулъ губернаторъ.

Встали и поклонъ отдали. Привсталъ и князь Алексъй Юрычъ. И всъ въ одинъ голосъ сказали:

— Салфетъ вашей милости *)!

А губернаторъ кланяется да приговариваетъ:

— Красота вашей чести!

На ту пору дверь распахнулась, четыре лакея, каждый въ сажень ростомъ, закуску на подносахъ внесли и на столы поставили. Были тутъ сельди голландскія, сыръ нѣмецкій, икра яикская съ лимономъ, икра стерляжья съ перцемъ, балыкъ донской, колбасы заморскія, семга архангелогородская, ветчина вестфальская, сиги въ уксусѣ изъ Нитера, грибы отварные, огурцы подновскіе, рыжики вятскіе, пироги подоваго дѣла, оладын и пряженцы съ яйцами. А въ графинахъ водка золотая, водка анисовая, водка зорная, водка кардамонная, водка тминная, — а всѣ своего завода.

Закусывають часъ либо два, покамість всі графины не опорожнять, всі тарелки не очистять, тогда об'єдать пойдуть.

А въ столовой, на одномъ концѣ княгиня Мареа Петровна съ барынями, на другомъ князь Алексѣй Юрьичъ съ большими гостями. Съ правой руки губернатору мѣсто, съ лѣвой — генераль-поручику, за ними прочіе, по роду и по чинамъ. И всякъ свое мѣсто знай, выше старшаго не смѣй залѣзать, не то шутамъ велятъ стулъ изъ-подъ того выдернуть, аль прикажутъ лакеямъ кушаньемъ сго обносить. Кто помельче, тѣ на галлереѣ ѣдятъ. Тамъ въ именины человѣкъ пятьсотъ либо пестьсотъ обѣдывало, а въ столовой человѣкъ восемь-десятъ либо сто — не больше.

Подтв князя Алексвя Юрынча, съ одной стороны, двухгодовалаго ручного медввдя посадять, а съ другой — юродивый Сипря на полу съ чашкой сядеть: босой, грязный, лохматый, въ одной рубахв; въ чашку ему всякаго кушанья князь набросаеть, и перцу, и горчицы, и вина, и квасу, всего туда накладеть, а Спиря встъ съ прибаутками. Мишку тоже изъсвоихъ рукъ князь кормиль, а послв водкой, бывало, напонть его до того, что звврь и ходить не можетъ.

Въ столовой на серебрѣ подавали, а для князя, для княгини и для генеральства ставплись золотые приборы. За каждымъ стуломъ по два лакея, по угламъ шуты, нѣмые, карлики и калмыки — всѣ подачекъ ждугъ и промежъ себя дерутся да ругаются.

^{*)} При дворъ говорили салють (salut) вашей милости, въ провинціп салють передъдали въ салфеть. Въ глухихъ городахъ салфеть до сихъ поръ водится.

Уху, бывало, въ серебряной лохани подадуть — стерляди такія, какія въ нонішни годы и не ловятся: отъ глаза до пера два аршина и больше. Осетры — чудо морское. А тамъ еще задъ быка принесуть, да ветчины окорока три-четыре, да барановъ штуки три, а куръ, индвекъ, гусей, утокъ, рябковъ, куропатокъ, зайцевъ — всей этой мелкоты безъ счету. Всёхъ кушаній перемёнъ тридцать и больше, а послі каждой перемёны чарки въ ходъ. Подавали вина ренскія, аликантское, эрмитажъ и разныя другія, а больше домашнія наливки и меда ставленные. Въ стары годы и такіе господа, какъ князь Алексей Юрыпчъ, заморскихъ винъ кушали понемногу, пили больше водку да наливки домашнія и меды. Дорогія вина только въ праздники подавались, и то не всёмъ: подавать такія вина на галлерею въ заведеніи не было. А шампанское вино да венгерское только и пивали въ именины...

Подъ конецъ объда, бывало, станутъ заздравную пить. Пили ее въ столовой шампанскимъ, въ галлерев — вишневымъ медомъ... Начнутъ князя съ ангеломъ поздравлять, «ура» ему закричатъ, пъвчіе «многая лъта» запоютъ, музыка грянетъ, трубы затрубятъ, на угоръ изъ пушекъ палитъ зачнутъ, шуты вкругъ князя кувыркаются, карлики пищатъ, нъмые мычатъ по-своему, больше господа за столомъ пойдутъ на счастъе имениннику посуду битъ, а медвъдъ реветъ, на заднія лапы

поднявшись.

Встануть изъ-за стола, княгиня съ барынями на свою половину пойдеть, князь Алексви Юрьичъ съ большими господами въ гостиную. Сядутъ. Оглядится князь, всв ли гости усвлись, лишнихъ нътъ ли, помолчитъ маленько да, глядя на старшаго дворецкаго, вполголоса промолвить ему: «Хлъбъ нашъ насущный даждь намъ днесь».

Дворецкій парень быль наметанный, каждый взглядь князя понималь. Тотчась, бывало, смекнеть, въ чемъ дѣло. Было у князя въ подвалѣ старое венгерское — вино дорогое, страхъ какое дорогое! Когда еще князь Алексѣй Юрычъ при государынѣ въ Питерѣ проживалъ, водиль онъ дружбу съ цесарскить резидентомъ, и тотъ цесарскій резидентъ изъ своего королевства бочекъ съ иять того вина ему по дружбѣ вывезъ. Пахло ржанымъ хлѣбомъ, оттого князь и зваль его хлѣбомъ насущнымъ. А подавали то вино изрѣдка.

Иринесутъ гайдуки стопки серебряныя, старшій дворецкій разольеть хлібов насущный. Возьметь князь Алексій Юрьичь стопку, привстанеть, къ губернатору обернется: «будьте здоровы», — скажеть и хлебнеть хлібов насущнаго. Потомъ опять привстанеть, генераль-поручика тімь же манеромъ поздравностанеть, генераль-поручика тімь же манеромъ поздравностанеть.

ствуетъ и опять хлебпеть хльба насущнаго. П прочихъ также, все по роду и по чину. А кого князь здравствуетъ, тому и прочіе и привставая кланяются и хльба насущнаго прихлебываютъ. А пъвчіе поютъ многольтіе, въ галлерев «ура» кричатъ, на угоръ изъ пушекъ палягъ, трубы, рога, музыка. П питаются, бывало, хльбомъ насущнымъ, когда часъ времени, когда и больше.

— Ну, — скажеть, вставая, князь Алекевй Юрьичъ: — Богь напиталъ, никто не видалъ, а кто видълъ, тотъ не обидълъ. Не пора-ль, господа, къ Храповицкому? П птицъ вольной и звърю лъсному, не токмо человъку разумному, присудилъ Господь отдыхать въ часъ полуденный.

И пойдутъ по своимъ мъстамъ, а князю Алексъю Юрьичу на балконъ кресло ужъ поставлено. И станетъ по Заборью

тишина. Только храпъ слышно... отдыхаютъ...

Соснувъ маленько, зачнутъ къ вечернему балу снаряжаться, и весь домъ станетъ вверхъ дномъ. Господа, барыни и барышни сидятъ въ пудраматахъ, дѣвушки да камердинеры такъ и снуютъ: кто съ робой, кто съ утюгомъ, кто съ фижмами, кто съ камзоломъ глазетовымъ. Въ одномъ мѣстѣ пряжки къ башмакамъ прилаживаютъ, въ другомъ барышню двѣ дѣвки что есть мочи стягиваютъ, въ третьемъ барыни мушки на лицо себѣ лѣпятъ... Къ семи часамъ всѣ готовы и соберутся въ домъ. А тамъ ужъ восковыхъ свѣчей зажжены тысячи, передъ домомъ и въ саду плошки, по горѣ смоляныя бочки горятъ, а

за Волгой, на томъ берегу, костры разложены.

Выйдеть князь Алсксъй Юрычъ съ княгиней Мареой Петровной во всемъ парадъ, и грянеть музыка. Полонезъ запирають: губернаторъ, въ зеленомъ кафтанъ на красномъ стамедъ, въ аломъ камзолъ, въ большомъ парикъ, съ кавалеріей черезъ плечо, къ княгинъ подлетитъ, реверансы другъ другу сдълаютъ и пойдутъ. Послъ того другіе господа, кто барыню, кто барышню поднимутъ и пойдутъ водить полонезъ по заламъ и галлереямъ, и водятъ немалое время. А барынь поднимаютъ и въ полонезъ водятъ также по роду и по чинамъ. Находившись досыта, въ боковую галлерею пойдутъ «пастораль» смотрътъ. Тамъ подмостки съ декораціей сдъланы, и какъ гости войдутъ, музыканты итальянскія кантаты играть зачнутъ, и играютъ, покамъстъ гости по мъстамъ разсядутся.

Тутъ занавъска на подмосткахъ поднимется, сбоку выйдетъ Дуняшка, ткача Бгора дочь, красавица была первая по Заборью. Волосы наверхъ подобраны, напудрены, цвътами изукрашены, на щекахъ мушки налъплены, сама въ помпадуръ на фижмахъ, въ рукъ посохъ пастушечій съ алыми

и голубыми лентами. Стансть калля впршами поздравлять, а писаль тв вирши Семенъ Титычт. И когда Дуня отчитаеть, Иараша подойдеть, исаря Данилы дочь. Эта пастушкомъ наряжена: въ пудрв, въ штанахъ и въ камзолв. И станутъ Параша съ Дунькой виршами про любовь да про овечекъ разговаривать, сядутъ рядкомъ и обнимутся... Недвли по четыре дввокъ, бывало, твмъ впршамъ съ голосу Семенъ Титычъ учитъ — были неграмотны. Долго, бывало, маются, сердечныя, да какъ разъ пятокъ ихъ для понятія выдерутъ, выучатъ

твердо.
Андрюмку-поваренка сверху на всревкахъ спутятъ. Мальчиника былъ бойкій и проворный, — грамотѣ самоучкой обучился. Бога Феба онъ представлялъ, въ аломъ кафтанѣ, въ голубыхъ штанахъ съ золотыми блестками. Въ рукѣ доска прорѣзная, золотой бумагой оклеена, прозывается лирой, вкрутъ головы у Андрюшки золочены проволоки натыканы, въ родѣ сіянія. Съ Андрюшкой девять дѣвокъ на веревкахъ, бывало, спустятъ: напудрены всѣ, въ бѣлыхъ робронахъ, у каждой въ рукахъ нужная вещь, у одной скрипка, у другой святочная харя, у третьей зрительна трубка. Подъ музыку стихи пропоютъ, князю вѣнокъ подадуть, а плели тотъ вѣнокъ въ

оранжерећ изъ лавроваго дерева.

И такой пасторалью всв утвшены бывали. Велить иной разъ князь Алексви Юрьичъ позвать къ себв Семена Титыча, чтобъ изъ своихъ княжихъ рукъ подарокъ ему пожаловать, но никогда его привести было невозможно, каждый разъ не годился и въ своей горницв за замкомъ на привязи сидвлъ. Несиокоенъ, царство ему небесное, во хмелю бывалъ.

Опять полонезъ заиграютъ, господа въ большую залу пойдутъ. Тутъ Матвѣя Михайлыча — генералъ-поручика — маршаломъ сдѣлаютъ, княгиня Мареа Петровна букетъ цвѣтовъ пожаловать ему изволитъ. Приколетъ онъ тѣ цвѣты къ кафтану и зачнетъ танцами распоряжаться. Сперва менуэтъ танцуютъ, кланяются, реверансы дѣлаютъ, къ сердцу руки прижимаютъ, на разлетъ ими отмахиваютъ, а барышни присѣдаютъ, на сторонку перегибаются и вѣеръ тихонько поднимаютъ. Послѣ менуэта манимаску начнутъ, а тамъ матрадуръ, гавотъ и другіе танцы. Чуть не до полночи, бывало, промаются.

Вперемежку танцевъ подавали воду брусничную, грушевку, сливянку, квасъ яблочный, квасъ малиновый, питье миндальное. Завдки всякія, бывало, разносили: копфеты, марципаны, цукаты, сахары зеренчатые, варенье инбирное индейскаго дъла; изъ овощей—виноградь, яблоки да разныя овощи полосами: полоса дынная, полоса арбузная да ананасная полоса невеликая. Дынную да арбузную всёмъ подаютъ, ананасную не всякому, потому что вещь рёдкостная, не всякому гостю по губамъ придется.

А въ другихъ комнатахъ столы разставлены, на пихъ въ фаро да въ квинтичъ играютъ; червонцы изъ рукъ въ руки такъ и переходятъ, а выигрываетъ, бывало, завсегда больше всъхъ губернаторъ. Другіе кости мечутъ, въ шахматы играютъ — кому что больше съ руки. А межъ игрой пунии да взварцы пьютъ, а лакен то и дъло водку да закуски разносятъ.

Вечерній столь бываль не великій: кушаньевь десять либо двадцать — не больше, зато напитковъ вдоволь. Ньють, другь оть дружки не отставая, кто откажется, тому князь прикажетт вино на голову лить. А какъ послів ужина барыни да барышни за княгиней уйдуть, а потомъ и изъ господъ кто чиномъ помельче аль годами помоложе по своимъ містамъ разойдутся, отправится князь Алексій Юрьичъ въ павильонъ и съ собой гостей человікъ пятнадцать возьметь. И пойдеть тамъ кутежъ на всю ночь до угра. Только-что войдуть туда князь Алексій Юрьичъ, и кафтанъ и камзолъ долой, гости тоже. Спервоначалу кипрскимъ виномъ серебряную дідовскую яндову нальють, «чарочку» запоють и пустять яндову въ круговую. Не то попарно, какъ гребцы въ лодків, на полъ усядутся, «Внизъ по матушків по Волгів» затянуть и оруть себів что есть мочи. А запіввалой самъ князь Алексій Юрьичъ.

— Нѣтъ, скучно такъ, ребята, — скажетъ, бывало: — бо-

гинь, богинь сюда съ Парнаса!

И влетять богини: Дуняша, Параша, Настенька, Машенька, Грушенька, девять сестеръ, что въ пасторали были, да еще сколько нужно на придачу по числу гостей. Всё разряжены: которая въ пудрё и робронъ, ровно барышня, которая въ сарафанё, а больше такъ, какъ въ павильонахъ на стёнахъ писано.

Красавицы-то были какія! Хоть бы Дуню взять. Бѣленькая, крѣпонькая, черные глазенки въ душу такъ и смотрятъ. Пойдетъ плясать: старикъ растаетъ, на нее глядя! Бубенъ въ руку; вверхъ его надъ головой вскинетъ, обведетъ всѣхъ глазами, топнетъ ножкой да вольной птичкой такъ и запорхаетъ, а сама вся. какъ змѣйка, изгибается, отъ сердечной истомы щеки пышутъ, глазки горятъ, а ротикъ раскрытъ у голубушки... Настенька опять — дѣвочка славная, кровь съ молокомъ, голосокъ соловыный. Войдетъ, въ сарафанѣ алаго бархату, въ кружевныхъ рукавахъ. на головѣ золотая повязка, коса у Настеньки по колѣна, — на кого ни взглянетъ, рублемъ подаритъ, слово кому скажетъ, мурашки у того по всему тѣлу

забѣгаютъ... Или Груша опять!.. Машенька!.. На подборъ были собраны красавицы, а выбирались изъ цѣлой вотчины.

Все-то состарълось, а состаръвшись примерло!..

Заря въ небѣ зарумянится, а въ павильонѣ пѣсни, илясъ да попойка. Воевода, Матвѣй Михайлычъ, драгунскій, Иванъ Сергѣичъ, губернаторъ и другіе большіе господа, — кто пляшетъ, кто иоетъ, кто чару пьетъ, кто съ богиней въ уголку сидитъ... Самъ князъ Алексѣй Юрьичъ напослѣдокъ съ Дуняшей казачка пойдетъ.

— Эй, вы, римляне!.. — крикнетъ подъ конецъ. — Похищай

сабинянокъ, собаки!

И схватить каждый гость по дѣвочкѣ: кто посильнѣй, тотъ на плечо красоточку взвалить, а кто въ охапку ее... А князь Алексѣй Юрынчъ станеть средь комнаты, да ту, что приглянулась, перстикомъ къ себѣ и поманить... И разойдутся.

Тъмъ именины и кончатся.

T.

Въ монастыръ.

Охоту больше на краснаго звѣря князь Заборовскій любиль. Обложили медвѣдя, — готовъ на край свѣта скакать. Лѣса были большіе, лѣсничихъ въ поминѣ еще не было, оттого не бывало и порубокъ; въ лѣсной гущинѣ всякаго звѣря много водилось. Рѣдкую зиму двухъ десятковъ медвѣдей не поднимали.

Только станеть зима, человѣкъ сорокъ пошлють берлоги пскать. Опричь того мужики по всей окружности знали, какое жалованье за медвѣдя князь Алексѣй Юрычъ даетъ, оттого, бывало, каждый, кто про медвѣдя ни провѣдаетъ, вѣсти приносить къ нему. А сохрани, бывало, Господи, ежели кто безъ него осмѣлится медвѣдя поднять! Не родись на свѣтъ тотъ человѣкъ!...

Самъ любилъ мишку повалить. Таковъ приказъ у него былъ: «бей медвѣдя, коли драть тебя станетъ аль подъ себя под-

береть, — до тыхь порь тронуть его не моги».

Изъ ружья рѣдко бивалъ, не жаловалъ князъ ружейной охоты, больше все съ ножомъ да съ рогатиной. — «Надобно-жъ, говоритъ, бывало, Михайлѣ Иванычу, господину Топтыгину, передъ смертнымъ часомъ датъ позабавиться; что толку пулей его свалитъ, изъ ружья бей сороку, бей ворону, а съ Мишенъкой весело силкой помѣряться!»

Сорокового биль изъ ружья. Сороковой медвѣдь — дѣло не простое, рѣдкому счастливо сходить онъ съ рукъ — любитъ

сороковой безъ костяной шапки оставить.

А всего медвёдей сто, коль не больше, повалиль князь Алексъй Юрычъ въ приволжскихъ краяхъ, и все ножомъ да рогатиной. Не разъ и Мишка топталъ его. Разъ бедро чуть не выёлъ совсёмъ, въ другой, подобравъ подъ себя, такъ зачалъ ломать, что князъ закричалъ неблагимъ матомъ, и какъ медвёдя порёшили, такъ князя чуть живого подняли и до саней на шубъ несли. Шесть недёль хворалъ, думали, жизнь покончитъ, но Богъ помиловалъ.

Берлогу отыщуть, звъря обложать. Станеть князь противъвыхода. Правая рука ремпемъ окручена, ножикъ въ ней, въ лъвой — рогатина. Въ сторонъ станутъ охотники, кто съ ружьемъ, кто съ рогатиной. Поднимутъ Мишку, полъзетъ косматый старецъ изъ затвора, а снъгъ-отъ у него надъ головой

такъ столбомъ и летитъ.

И приметь князь люсного барина по-холопски, рогатиной припреть его, куда следуеть, покренче. Тоть разозлится да на него, а князь сунеть ему руку въ раскрытую пасть да тамъ ножомъ и пойдеть работать. Туть-то воть любо, бывало, посмотрёть на князя Алексея Юрынча — богатырь, прямой богатырь!..

А по осени, какъ въ отъвзжее поле соберутся, недвль по шести, бывало, полюють, провинціи по двв объвзжали. Вываеть князь Алексвй Юрьичь, какъ солице пресввтлое: четыреста при немъ псарей съ борзыми, ста полтора съ гончими, знакомцевь да мелкопомъстныхъ человъкъ восемьдесять, а большіе господа — тв со своими охотами. Одинъ Иванъ Сергычъ Опаринъ прівдеть, бывало, такъ своръ восемьдесять съ собой приведетъ... Народу видимо-невидимо. Двинутся. въ рога тотчасъ, и такой трубный гласъ пойдеть, что просто ума помраченье. А за охотой на подводахъ припасы везуть, повара тамъ, конюхи, шуты, дввки, музыканты, арапы, калмыки и другой народъ всякаго званія!

Дадуть поле — тотчась на приваль. А у каждаго человѣка фляжка съ водкой черезъ плечо, потому къ привалу-то всѣ маленько и наготовѣ. Разложатъ на полѣ костры, пойдетъ стряпня рукава стряхня, а средь поля шатеръ раскинутъ,

возлѣ шатра боченокъ съ водкой, ведеръ въ десять.

— Съ полемъ! — крикнетъ князь Алексъй Юрьичъ, сядетъ верхомъ на боченокъ, нацъдитъ ковить, выпьетъ, сколько душа возьметъ, да изъ того-жъ ковина и другихъ почнетъ угощать, а самъ все на боченкъ верхомъ.

— Съ полемъ, честной отче! — крикнетъ Ивану Сергвичу. Подойдетъ Иванъ Сергвичъ, князь ему ковшикъ подасть.

— Будь здоровъ, князь Алексвй, съ чады, съ домочадцы

и со всёми твоими исами борзыми и гончими, — молвить Иванъ Сергенчъ и выпьетъ.

— Цѣлуй меня, лысый чортъ.

И цёлуются. А князь все на боченкъ верхомъ. По одному каждаго барина къ себъ подзываетъ, съ полемъ поздравляетъ, изъ жовша водкой поитъ и съ каждымъ цѣлуется. Послъ большихъ господъ, мелкопомъстное шляхетство подзываетъ, потомъ знакомцевъ, что у него на харчахъ проживали.

А для подлаго народу въ сторонкъ сорокоуща готова. Народу немало, а винцо всякому противно, какъ нищему гривна:

по маломъ времени бочку опростаютъ.

Ковры на полянѣ разстелють, господа обѣдать на нихъ усядутся, князь Алексѣй Юрыпть въ середкѣ. Сначала о полѣ рѣть ведутъ, каждый собакой своей похваляется, объ лошадяхъ спорятъ, про прежніе случан разсказываютъ. Одинъ хорошо сморозитъ, другой лучше того. а какъ князь начнетъ, такъ всѣхъ за поясъ заткнетъ... Иначе и бытъ нельзя; испоконь вѣку заведено, что самый праведный человѣкъ на охотѣ что ни скажетъ, то совретъ.

— Нътъ, — молвилъ князь Алексъй Юрынчъ: — вотъ у меня лошадь была, такъ ужъ конь. Аргамакъ персидскій, настоящій персидскій. Кабинетъ-министръ Волынскій, когда еще въ Астрахани губернаторомъ былъ, въ презентъ мнѣ прислалъ. Видълъ

ты у меня его, честный отче?

— А какой же это аргамакъ? Что-то не помню я у тебя, князь Алексъй, такого.

- Э! нашель я спросить кого, точно не знаю, что ты до сёдыхъ волосъ въ недоросляхъ состоишь и Питера, какъ чортъ ладану, боишься... Такъ воть аргамакъ быль. Каковы были кони у герцога курляндскаго, и у того такого аргамака не бывало. Приставалъ не одинъ разъ курляндчикъ ко мнѣ, подари да подари ему аргамака, а не то бери за него, сколько хочешь.
- Что же, продали, князь? спросиль Суматевь, Сергый Осипычь, тоже баринь большой.
- Эхъ, ты, голова съ мозгомъ! Барышникъ, что ли. я конскій, аль цыганъ какой, что стану лошадьми торговать? Въ курляндскомъ герцогствъ тридцать четыре мызы за аргамака мнѣ владъющій герцогъ давалъ, да я и то не уступилъ. А когда регентомъ сталъ, фельдмаршаломъ хотълъ меня за аргамака того сдълать, я не отдалъ.
- Ну ужъ и фельдмаршаломъ! усмѣхнулся Иванъ Сергънчъ.

[—] Да ты молчи. лысый чортъ, коли тебя не спрашиваютъ.

Знаешь, что во многоглаголаніи ність спасенія, потому и молчи... Просидієть вікть свой вы деревий, какть тараканть за печью, такть все тебі вы диковину... Что за невидаль такая фельдмаршаль?.. Не Богъ знаеть что!.. Захотіль бы фельдмаршаломъ быть, двадцать бы разъ быль. Не хочу да и все.

— Полно-ка ты, киязь Алексви. Ну что городишь? Слушать даже тошно... Ну какъ бы ты сталъ полки-то водить,

когда ни въ единой баталін не былъ?

— Ври да не завирайся, честный отче! — крикнетъ на то князь Алексвй Юрьичъ. — Какъ я въ баталіяхъ не бываль?.. А Очаковъ-отъ кто взялъ? А при Гданскв кто викторію получилъ?.. Небось, Минихъ, по-твоему? Какъ же!.. Взять бы ему безъ меня двв коклюшки съ половиной!.. Принялъ только на себя, потому что хитеръ нѣмецъ, вездв умветъ пролѣзть... А я человѣкъ простой, вязаться съ нимъ не захотѣлъ. Ну, думаю себв, Богъ съ тобой, обидѣлъ ты меня, да вѣдъ Господъ терпѣлъ и намъ повелѣлъ... И отлились же волку овечьи слезки! теперь проклятый нѣмецъ въ Пелымѣ съ ледяными сосульками воюетъ, а мы вотъ гуляемъ да краснаго звѣрятравимъ!.. Да!

И подвернись на грѣхъ Постромкинъ, Петръ Филипычъ, изъ мелкопомѣстныхъ. Служилъ въ полкахъ, за ранами уволенъ отъ службы. Вступись онъ за Миниха— подъ командой

у него прежде служилъ.

Какъ вскочить князь Алексей Юрынчь, пена у рга.

— Ахъ, ты, шельмецъ! — закричалъ. — Смвешь роть поганый

распускать... Эй, вы!.. Вздуть его!

Выпиль ли черезчуръ Петръ Филипычъ, азартъ ли такой нашелъ на него, только какъ кинется онъ на князя, цапъ за

горло, подъ себя, да и ну валять на объ корки.

— Смѣешь ты, говорить, честнаго офицера шельмецомъ обзывать!.. Похвальбишка ты поскудный!.. Да я самъ, говорить, тебя вздую.

И вздулъ.

А князь:

— Полно, полно, Петръ Филипычъ... Больно въдь!.. Перестань... Лучше выпьемъ!.. Я въдь пошутилъ, ей-Богу пошутилъ.

И съ той поры пріятели сдѣлались. Водой не разольешь. Наѣдуть, бывало, на вотчину Петра Алексѣича Муранскаго. Баринъ богатый, домъ полная чаша, но былъ человѣкъ невеселый, въ болѣзни да въ немощахъ все находился. А съ молоду «скосыремъ» слылъ и, живучи въ Питеръ, на ассамолеяхъ и банкетахъ такъ шпынялъ *) большихъ господъ, ба-

^{*)} Шпынять — подсмѣиваться, острить.

рынь и барышень, что вст ртчей его пуще огня и чумы боялись. Съ Минихомъ подъ туркой быль, подъ Очаковымъ его искальчили, негоденъ на службу сталь и отпросился на покой. Прівхаль въ деревню и ровно переродился. Былъ одинокъ, думали — женится, а онъ въ святость пустился: духовныя книги зачаль читать, и хоть не монахъ, а жизнь не хуже черноризца повель. Много добра твориль, бъднымъ при жизни его хорошо было: только все это узналось лишь послъ кончины его, для того, что милостыню творилъ тайную. И такой былъ мудреный человъкъ, что всъмъ на удивленье! Была исария, на охоту не вздиль; были музыканты, при немъ не играли; ни пировъ ни банкетовъ не дълалъ; самъ никуда, кромъ церкви, ни погой и холопамъ никакого удовольствія не дълаль, не поиль ихъ, не бражничаль съ ними... 11 что же? 11 господа и холони какъ отца родного любили его. Недаромъ князь Алексьй Юрьичъ «чудотворцемъ» его называлъ. А другіе колдуномъ считали Муранскаго.

Къ нему, бывало, охотой двинутся. Таборъ-отъ въ полвостанется, а князь Алексъй Юрьичъ съ большими господами, съ шляхетствомъ, съ знакомцами, къ Петру Алексъичу въ Махалиху, а всего поъдетъ человъкъ двадцать, не больше. Петръ Алексъичъ приметъ гостей благодушно, выйдетъ изъ дому на костыляхъ и сядетъ съ княземъ рядышкомъ на кры-

лечкв. Другіе отдаль — и ни гугу.

— Ну, чудотворецъ, — скажетъ, бывало, князь Алексъй Юрыччъ:—мы къ тебъ заъхали потрапезовать: припасы свои, нынче въдь пятница, опричь луку да квасу у тебя, чай, нътъ ничего. Благослови на мясное ястіе и хмельное питіе!.. Эй, ты, честный отче!. Лысый чортъ!.. Куда запропастился?

А Иванъ Сергичъ чиннымъ шагомъ выступаетъ съ задворка, ровно утка съ боку на бокъ переваливается. Маленькій быль

такой да пузатенькій.

— Здравствуйте, говорить, государь мой, Петръ Алексвичь. Какь васъ Господь Богъ милуеть? Что ты, князь Алексви, меня кликаль? Аль заврался въ чемъ-нибудь, такъ на вы-

ручку я тебѣ понадобился?

— Я-те заврусь!.. У меня, лысый чорть, ухо востро держи. Проси-ка воть лучше у чудотворца на транезу благословенья... Эхъ! да вѣдь у меня изъ намяти вонъ, что ты, честный отче, раскола держишься — самъ сегодня ради иятницы, поди, на сухаряхъ пробудешь? Нельзя скоромятины — выгорецкіе отцы не благословили.

И пойдуть перекоряться, а Петръ Алексвичь молчить, только ухмыляется.

— Пошпыняй ты его хорошенько, пошпыняй лысаго-то чорта, — скажеть князь Алексей Юрьичь: — вспомни старину, чудотвореце!.. Помнишь, какъ, бывало, на банкетахъ у графа Вратиславскаго всъхъ шпынялъ.

— Полно-ка, миленькій князь, — отв'єтить Петръ Алекс'ємчъ. — Мало-ль чего бывало? Что было голубчикъ, то былью поросло. А об'ёдъ вамъ готовъ; ждалъ в'ёдь я гостей-то... Еще третьяго-дня нали слухи, что ты съ собаками ко мни въ Махалиху вдешь. Милости просимъ.

— Ну, воть за это спасибо, чудотворець. Погреба-то вели отпереть, не то вёдь — народъ у меня озорной, разбойникъ на разбойникъ. Перовенъ часъ: самъ двери вонъ — да безъ угощенья, что ни есть въ погребу, и выхлебаютъ. Не вводи бедныхъ во грехъ — отдай ключи.

Охъ, проказникъ, проказникъ, миленькій мой князинька! — съ усмъшкой промолвитъ Петръ Алексъичъ. — Что

сь тобой дѣлать!.. Пахомычь!

Подойдеть ключникь Пахомычь.

 Отдай княжимъ людямъ ключи отъ второго, что ли, по-греба. Пускай утъщаются. Да молви дворецкому: гости, молъ, ъсть хотять.

Изъ табора нагрянутъ и выпьютъ весь погребъ. А въ по-гребъ сорокоуща пъннаго да ренское, наливки да меды. А погребовъ у Муранскаго было съ десятокъ.

Посередь Заборья, въ глубокомъ, поросшемъ широколистнымъ лопушникомъ, оврагь течетъ въ Волгу ръчка Вишенка. Лътомъ воды въ ней немного, за весной, когда въ верхотинахъ мельничные пруды спустять, бурлить та ръчонка не хуже горнаго потока, а если отъ осенняго паводка сорветь плотины на мельницахъ, тогда ни одного моста на ней не удержится, и на день или на два нътъ черезъ нее ни перехода ни пере**т**зда.

Разъ, напировавшись у Муранскаго, взявши послѣ того еще поля два либо три, князь Алексѣй Юрыичь домой возвращался. Гонца напередъ послалъ, было-бъ въ Заборъѣ къ ночи сготовлено все для пріема большихъ господъ, мелкаго шляхетства и знакомцевъ, было-бъ чемъ накормить, напонть и где снать положить исарей, довзжачихъ, охотниковъ.

Вѣтеръ такъ и рветъ, косой холодный дождикъ такъ и хлещетъ, тьма — зги не видно. Подъѣзжаютъ къ Вишенкѣ — илотины сорваны, мосты снесены, нѣтъ пути ни конному ни иѣшему. А за рѣчкой, на угорѣ, привѣтнымъ свѣтомъ блещутъ окна дворца Заборскаго, а налѣво, надъ полемъ, зарево

стоить отъ разложенныхъ костровъ. Вкругъ тѣхъ костровъ псарямъ, доѣзжачимъ, охотникамъ ппровать сготовлено.

Подъвзжаеть стремянный, докладываеть: — «нѣтъ пере-

Ъзду!..»

— Броду! — крикнулъ князь.

Стали броду искать - трое потонуло. Докладываютъ...

— "Броду!.. — крикнуль князь зычнымъ голосомъ. — Не то всъхъ перепорю до единаго! — И всъ присмиръли. лишь вой вътра да шумъ разъяреннаго потока слышны были.

Еще двоихъ водой снесло, а броду нътъ.

— Бабы!.. — кричить князь. — Такъ я же вамъ самъ бродъ сыщу!

И поскакаль къ Вишенкъ. Нагоняетъ его Опаринъ, Иванъ

Сергвичь, говорить:

— Ты богатырь, то всёмъ извёстно... Ты перескочишь, за тобой и другіе... Кто не потонеть, тоть переёдеть... А собаки-то какъ же? Надо вёдь всёхъ погубить. Хоть Пальму свою пожальй.

А Пальма была любимая сука князя Алексвя Юрынча —

подаренье пріятеля его, Дмитрія Петровича Палецкаго.

— Правду сказаль, лысый чорть, — молвиль князь, остановивъ коня. — Что-жъ молчаль?.. Пятеро въдь потонуло!.. На твоей душъ гръхъ, а я туть не при чемъ.

Поворотиль коня, стегнуль его изо всей мочи и крикнуль:

— Въ монастырь!..

А монастырь рядомъ. на угоръ. Былъ тотъ монастырь сгроенье князей Заборовскихъ. тутъ они и хоронились; князь Алексъй Юрычть въ немъ ктиторомъ былъ, безъ воли его архимандритъ пальцемъ двинуть не могъ. Богатый былъ монастырь: отъ ярмонки большіе доходы имълъ, отъ ктитора много денегъ и всякаго добра получалъ. Церкви старинныя, каменныя, большія, иконостасы золоченой рѣзьбы, иконы въ серебряныхъ окладахъ съ драгоцънными камнями и жемчугами, колокольня высокая, колоколовъ десятковъ до трехъ, большой — въ двѣ тысячи пудъ, ризъ парчевыхъ глазетовыхъ, бархатныхъ дородоровыхъ множество, погреба полнехоньки винами и запасами, конюшни — конями доброѣзжими, скотный дворъ — коровами холмогорскими, птичный — курами, гусями, утками, цесарками.

А порядокъ въ монастырѣ не столько архимандрить, сколько князь держалъ. Чуть кто изъ братіи задуритъ, ктиторъ его на конюшню. Чиновъ не разбиралъ: будь послушникъ. будь рясофоръ. будь соборный старецъ — всякъ ложисъ всякъ по дѣломъ принимай воздаянье. И было въ Заборскомъ мона-

стырѣ благостроеніе, и славились старцы его веліимъ благочестіемъ.

Только-что рѣшилъ книзь въ монастырѣ ночлегъ держать. трое вершниковъ поскакали архимандрита повѣстить. Звонъ во всѣ колокола поднялся...

Подъвхали. Святыя ворота настежь. келарь, казначей, соборные старцы въ длинныхъ мантіяхъ, по два въ рядъ. По
сторонамъ послушники съ фонарями. Взяли келарь съ казначеемъ князя подъ руки, съ пвніемъ и колокольнымъ звономъ
въ соборъ его новели. За нимъ большіе господа, шляхетство,
знакомцы. Псари, добзжачіе, охотники по широкимъ монастырскимъ дворамъ костры разложили — отецъ казначей бочку
имъ выкатилъ. Грвются, Христосъ съ ними, подъ кровомъ
святой обители Воздвиженія честнаго и животворящаго креста
Господня... А собаки вкругъ нихъ тутъ же отдыхаютъ, чуя
монастырскую овсянку. Отецъ экономъ первымъ двломъ распорядился насчетъ собачьяго ужина... Зналъ старецъ преподобный, сколь милы были псы сердцу ктитора честныя обители... Оттого и заботился...

Въ церкви князя встрътилъ архимандритъ соборнѣ, въ ризахъ, съ крестомъ и святою водою. Молебенъ отпѣли. къ иконамъ приложились, въ трапезу пошли. И тамъ далеко за полночь куликали.

Размъстились гости, гдъ кому слъдовало, а князь съ архимандритомъ въ его кельъ легъ. Наступилъ часъ полуночный. вътеръ въ трубъ воетъ, желъзными ставнями хлопаетъ, по крышъ свиститъ. Говоритъ князь шопотомъ:

— Отче архимандрить!.. Отче архимандрить... Спишь али

...?атан

— Не сплю, ваще сіятельство. А вамъ что требуется?

Страхъ что-то беретъ!.. Что это воетъ?..

— Вътеръ, -- говоритъ архимандритъ.

— Н'єть, отче преподобный, не в'єтерь это, другое чтонибудь.

— Чему же другому-то быть? — отвічаеть архимандрить. —

Помилуйте, ваше сіятельство! Что это вы?

— Натъ. отче святый, это не вътеръ... Слышишь, слышишь?..

— Слышу... Собаки завыли.

— Цыцъ, долгогривый!.. Собакъ тутъ нашелъ!.. Слышишь?.. Душа Палецкаго воетъ... Зналъ ты Палецкаго Дмитрія Петровича?

— Развѣ могутъ души усопшихъ выть? — молвилъ архи-

мандритъ.

— Это не говори... Не говори, отче преподобный... Мало-ль что на свътъ бываетъ!.. Это Палецкій!.. Онъ воетъ!.. Слышишь? Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего Дмитрія... Страшно, отче святый!.. И лампадка-то у тебя тускло горитъ... Зажги свъчу!..

— Зажгу, пожалуй, — молвилъ архимандритъ. — Да полноте,

ваше сіятельство. Какъ это не стыдно и не грѣхъ?

— Толкуй тутъ, а я знаю... Это меня зоветь Палецкій...

Скоро, отче, придется тебъ хоронить меня.

— Что это вамъ на умъ пришло? — говоритъ архимандритъ. — Конечно, памятованіе о смертномъ концѣ спасительно, да вѣдь и суевѣріе грѣховно... Ужъ если о смерти помышлять, такъ лучше бы вашему сіятельству о своихъ дѣлать подумать.

— А что мон дѣла?.. Какія дѣла?.. Укралъ, что ли. я у кого?.. Позавидовалъ кому?.. Аль мало вкладовъ даю тебѣ на монастырь, подлая твоя душа, безстыжіе поповскіе глаза!.. Нѣтъ, братъ, шалишь! На этотъ счетъ я спокоенъ, надѣюсь на Божіе милосердіе... А все-таки страшно...

— То-то страшно: страшенъ-то грѣхъ, а не смерть... Такъ-то,

ваше сіятельство, — молвиль архимандрить.

— Привязался, жеребячья порода, съ грѣхами, что банный листь! И говорить-то съ тобой нельзя. Тотчасъ начнеть городить чорть знаеть что... Давай спать, я и свѣчку потушу.

— Спите съ Богомъ, почивайте, покойной ночи вашему

сіятельству, — проговориль архимандрить.

Замолчали, и вътеръ маленько стихъ. А князь Алексъй Юрынчъ все вздыхаеть, все на постели ворочается. Опять завылъ вътеръ.

— Что это все воздыхаете, ваше сіятельство? — спросиль

архимандритъ.

— О смертномъ часѣ, отче святый, воздыхаю! Слышишь?.. Слышишь?.. Упокой, Господи. душу раба Твоего Дмитрія!.. Его голосъ...

— Да это собака завыла.

— Собака?.. Да... да... собака, точно собака... Только постой!.. погоди!.. Нальма — ея голосъ... А Пальма Палецкаго подаренье... это — она его душу чуеть, ему завываеть... А это?.. Да воскреснеть Богъ и расточатся врази Его!.. Это что?.. Собака по-твоему, собака?

- Вѣтеръ въ трубѣ.

— Вѣтеръ!.. Хорошъ вѣтеръ!.. Упокой, Господи, душу раба Твоего Дмитрія!.. Хорошій былъ человѣкъ, славный былъ человѣкъ, любилъ я его, душа въ душу мы съ нимъ жили... Еще въ Петербургѣ пріятелями были, у князя Михайлы ознакомились, когда князь Михайла во времени быль. Обоимъ намъ за одно дёло и въ деревни велено... Все. бывало, вмѣстѣ съ нимъ... Охъ, Господи!.. Страшно, отче святый!..

 Полноте, ваше сіятельство, перестаньте... Вы бы перекрестились да молитву сотворили. Отъ молитвы и страхъ и

ночное мечтаніе яко дымь исчезають... Такъ-то.

— Молюсь... молюсь, отче преподобне... Прости, Господи, согрѣшенія мои, вольная и невольная... Опять Пальма!.. Чусть, шельма, стараго хозяина!.. Яже словомъ, яже дѣломъ, яже вѣдѣніемъ и невѣдѣніемъ!.. Видишь ли, отче, когда умиралъ Дмитрій Петровичъ, царство ему небесное, при немъ я былъ... И онъ, голубчикъ, взялъ меня за руку, да и говоритъ: «нехорошо, князинька, мы съ тобой жили на вольномъ свѣту, при смерти всиомнишь меня»... Да съ этимъ словомъ застоналъ, потянулся, глядь—не дышитъ... Охъ, Господи!.. Чу!.. Поминаетъ, что смерть подходитъ ко мнѣ... Слышишь, отче?..

 Одно суевѣріе, — сказаль архимандрить. — Предзнаменованіямъ вѣры давать не повелѣно... Кто имъ вѣритъ —

духу тымы вършты... Пустяками вы себя пугаете.

— У тебя все пустяки!.. Нѣтъ, отче святый разумѣю азъ, грѣшный, близость кончины: предо мной стоитъ... Слышишь?.. Скоро предамся червямъ на съѣденье, а душу невѣдомо како устроитъ Господъ.

— Да отчего это вамъ въ голову пришло?

— Мало-ль отчего?.. И Палецкій воеть, и Пальма воеть, и сны такіе вижу... Сказано въ писаніи: «старцы въ соніяхъ видятъ». У пророка Іопля сказано то! А мнь седьмой десятокъ, стало-быть, я старецъ... Старецъ въдь я. старецъ?

— Дало не молодое, — молвилъ архимандритъ.

— Такъ видишь ли: «старцы въ соніяхъ видять». А что я вечоръ во снѣ видѣль?.. Съ Машкой-скотницей вѣнчался... Видѣть во снѣ, что вѣнчаешься — смерть.

— Полноте, грѣховодникъ вы этакій!

— Тебѣ все полно да полно! Не тебѣ, чернохвостнику, въ гробъ-отъ ложиться... А это по-твоему тоже «полно», что намедни Діанка тринадцатью ощенилась? Да еще одного трехпалаго принесла, самъ борзой, щипецъ ровно у гончей, и безъ правила. Это по-твоему тоже ничего?

— Не повельно, ваше сіятельство...

— Да ты молчи, коль я съ тобою говорю, чорть ты этакій!.. По-твоему и это ничего, что нынашняго года въ самое мое рожденье зеркало въ гостиной у меня лопнуло?

- Слышалъ я, что сами же свъчу подъ то зеркало под-

ставили.

— Врешь, отце преподобный, ничего ты не смыслишь!.. Коли зеркало лопнуло—кончено дёло. Туть ужь, брать, какъ не вертись—отъ смерти не отвертишься. А тебё все ничего... Ты, пожалуй, скажешь, и это ничего, что намедни ко миё воробей въ кабинетъ залетёлъ?.. По-твоему, и это ничего, что на прошлой недёлё насъ ужинать сёло тринадцать?.. Отсчиталь отъ себя тринадцатаго — вышелъ Скорняковъ. Знаень Скорнякова? Въ знакомцахъ у меня проживаетъ — рыжій такой, губа сѣченая... Думаю, пусть же надъ нимъ надо исомъ оборвется тринадцатый. Велёлъ ему пить — жизнь бы свою тутъ же покопчилъ собака... Съ полведра вылакалъ, бестія, безь памяти подъ столъ свалился, ни духу ни послушанія «Ну, думаю: слава Тебё, Господи — опился. Тринадцатый-то. значитъ, онъ...» Что-жъ ты думаешь?.. На другой день поутру глядь, а онъ въ буфетё похмеляется... Такъ меня варомъ и обдало!.. Кто-жъ, но твоему, тринадцатый-то вышелъ?.. А?..

Великій грѣхъ суевѣріямъ предаваться, — говорилъ

архимандритъ.

— А ты молчи, жеребья порода!.. Видишь, къ смертному часу готовлюсь, такъ ты молчи... Слышишь!.. Онять Палецкій!.. А воть и Пальма его учуяла!.. Страшно!.. Помолись обо мив, отче преподобный, не помяни моихъ озлобленій, помолись за меня за гръшнаго, простилъ бы Господь прегръшенія мон, вольная и невольная... Молись за меня, твое дёло. Еще году не прошло, большой вкладъ тебъ положилъ, колоколь вылиль — значить, не даромъ прошу святыхъ молитвъ твоихъ... Духовную писалъ, душеприказчикомъ тебя сделалъ. Самъ знаешь, опричь тебя такого дѣла поручить некому, пародъ все пьяный, забулдыжный... Такъ ужъ я тебя... Помру, положи ты меня въ ногахъ у родителя мосго, князь Юрья Никитича; сорокъ объденъ соборнъ отслужи за меня, въ синодика залиши въ поствиной и въ литейной, чтобы братія по вся годы молилась за меня безпереводно. А панихиды по мит птть: на день преставленія моего да пятаго октября, на день московскихъ святителей Иетра, Алексія, Іоны ангела моего день, — и служить тв панихиды каждый годъ безпереводно... И въ ть дин кормъ на братію и веліе утьшеніе... Такъ и вели записать въ синодикъ, и ть бы архимандриты, которые посль тебя будуть, въдали и чинили но моему завъщанью каждый годъ безо всякія порухи. А душу свою тебѣ поручаю. Будь ты на поконъ моей души помянникъ, умоли ты Господа Бога объ отпущены гръховъ моихъ, будь моимъ ходатаемъ, будь моимъ молитвенникомъ, изведи изъ темницы душу мою...

И, заливаясь слезами, повалился въ ноги архимандриту, ноги у него и срачицу цълуеть, а самъ такъ и рыдаетъ.

Архимандрить утвшаеть его, а князь такъ и разливается,

плачетъ.

— Получишь ты по духовной большія деньги. сколько получишь, теперь не скажу: не добро хвалитися о делахъ своихъ... Четверть тахъ денегъ себъ возьми, дълай на нихъ, что тебъ Господь на сердце положить; другой четвертью распорядись по совъту съ братіею, какъ уставъ велить... На соборь-то главы позолоти, совсьмъ выдь облызли; говориль я тебь, и денегъ давалъ, и бранился съ тобой, а тебь все неймется, только и словъ отъ тебя: «лучше на иную потребу деньги изведу»... А Владычицъ жемчужный убрусъ устрой, жемчугъ княгиня Мароа Петровна выдасть, да выдасть она еще тебь иять пудовь серебрянаго лому, изъ того лому ризы во второй ярусъ иконостаса устрой. Въ Москвъ закажи... Зубрилову серебрянику не смёть заказывать: я еще съ нимъ, съ подлецомъ, покамъстъ живъ, раздълаюсь. Отвъдаетъ, каналья, вкусны-ль заборскія кошки бывають... Представь ты себъ, отецъ архимандрить, на ярмонкъ смъль онъ, шельмець, до моего параднаго вывзду лавку открыть. Счастливь, что тотчась же увхаль, а то-бъ я ему штукъ пятьсотъ середь ярмонки-то влёпиль бы.

Подъ это слово ставень — хлопъ! Побледиелъ князь, за-

дрожалъ...

— Упокой, Господи, душу раба Твоего Дмитрія!.. За мной пришелъ. Слышалъ?..

Ставень хлопнулъ, — отвѣтилъ архимандритъ.

— У тебя все ставень!.. У тебя все... А Пальма-то, Пальма-то такъ и завываеть!

— Да полноте же, ваше сіятельство!.. Какъ это не стыдно?..

Ровно баба деревенская.

— Ругаться, чорть этакій?.. — во все горло закричаль князь и кулаки стиснуль. — Не больно ругайся, промозглая кутья!.. Кулакъ-оть у меня бабій?.. Ну-ка, понюхай.

И поднесъ кулачище къ архимандричьему носу.

— Ложитесь-ка лучше съ Богомъ на спокой... Давно ужъ

пора, — кротко и спокойно промолвиль архимандрить.

— Безъ тебя знають!.. «Баба»!.. Дамъ я тебѣ бабу, долгогривый чорть!.. Охъ, Господи помилуй, опять Пальма... Нѣтъ, отче святый, надо умирать, скоро во гробъ положишь меня, скоро въ склепъ поставятъ меня, темно тамъ... сыро... Охъ. Господи помилуй, Господи помилуй!.. Да!.. Вѣдъ я не докончилъ тебѣ про духовную-то... Третью четверть денегъ раздай

по всей епархін протопонамъ, понамъ, дьякамъ, пономарямъ и инымъ, сколько ихъ есть, причетникамъ по рукамъ, каждому дьякону противъ попа половину, каждому причетнику противъ дьякона половину. И закажи ты имъ, и попроси ты ихъ, усердно бы молились Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородицъ о прощени гръшной души раба Божія князя Алексія, искупили бы святыми молитвами своими велія моя прегръщенія... Кирчагинскому дьякону не смъй ни копейки давать!.. Вздумаль на меня въ губернскую канцелярію челобитну подать?.. Поле, слышь, у него я вытопталь, корову застрежиль!.. Такъ развы хотель я у него хлебъ-оть топтать? Виновать развъ я, что заядъ въ овесъ къ нему кинулся?.. Упускать русака-то ради дьяконскаго овеншка?.. А корозу?.. Развъ самъ я стрълялъ?.. Со мной вонъ сколь всякой сволочи вздить, усмотришь развы за всыми?.. Усмотришь развы?.. Исть, ты скажи, отче преподобный, можно-ль за этими дьяволами усмотръть?.. А?.. Можно?.. Да ты молчи, коли я говорю, губы-то не распускай: во многоглаголанін нъсть спасенія, такъ ты и молчи... Нечего теб'є разсказывать: къ духовному чину завсегда решпекть имбю, потому что вы наши пастыри и учители, теплые объ насъ молитвенники, очищаете насъ окаянныхъ, въ бездий гръховной, ото всякія мерзости и нечистоты... оттого даже ни одинъ пономарь отродясь въ Заборь в на конюшит у меня не бывалъ... А кирчагинскій помни!.. Помни, подлый кутейникъ, овесъ да корову... Еще доберусь до шельмеца!.. Останную четверть денегь изведи на похороны... Покрова не покупай, въ Парижъ къ двоюродному брату, князь Владиміру, посланы деньги, самой бы наплучшей ліонской парчи тамъ купилъ. Боюсь только, не спустилъ бы мон денежки въ фаро. Въ Версали большую игру ведеть. Ему, шалопаю, и въ голову не можетъ придти, что по его милости могу я на тотъ свътъ гольшомъ предъ Богомъ предстать... Прошлаго года просилъ его купить сочиненія Вольтера да гобеленовъ въ угольную. До сихъ поръ не шлеть... Шапку архимандричью устрой себф, у княгини Мароы Петровны жемчуговъ и камнеи спроси, — давно ей оть меня приказано... А не княгиню, такъ капральшу крутихинскую спроси, она тоже знаеть... Да д'влай шапку-то поразвалистый, а то срамъ глядыв на тебя — въ какихъ шапкахъ ты служишь: ни фасопу ни красоты, нътъ ничего... На похороны все пляхетство созови, и столновыхъ, и молодыхъ, и мелкопомъстныхъ: хорошенько помянули бы меня за упокой... Бълавина Өедьку не смъй только звать... Онъ меня знать не хочеть, и я его знать не хочу... Эка важна пер-

сона!.. А тоже сердце имъетъ!.. Поучилъ я его прошлаго года маленько, такъ онъ и губу надулъ... Да это бы наплевать, я бы за это и вспороть его могъ. Въ Петербургъ чтото писаль про меня. До двора дошло; отписывали мнв, будто по этому двлу на куртагв говорили про меня немилостиво. А я відь хоть не въ опаль, да и не во времени... Много-ль надо меня уходить?.. Будь это при второмъ императоръ, будь при владьющемъ курляндскомъ герцогъ — я бы Өедыку въ рудникахъ закопалъ, — а теперь я что?.. Въ подлости нахожусь — не хуже тебя долгогриваго... Отъ того и махнуль я рукой на Бълавина... Чго съ дуракомъ связываться? напле-вать да и все тутъ... А въдь поучиль-то его за что?.. Ради его же души спасенія... Видишь ли, какъ было дело: объдаль Өедька у меня въ воскресенье, великимъ постомъ. Самъ внаешь, большіе посты я соблюдаю, уставь тоже знаю... Подають кушанье какъ следуеть: вино, елей, злаки и отъ черепокожныхъ. А Өедька Балавинъ, когда подали стерляжью уху, при вскуъ и кричитъ мив съ другого конца стола: «вы, говорить, ваше сіятельство, сами-то постовъ не соблюдаете. да и гостей во гръхъ вводите».-«Что заврался? говорю, въ чемъ ты грѣхъ нашелъ?»—«А въ этомъ». — говоритъ да на стерлядь и показываетъ. Велѣлъ подать «Уставъ о христіанскомъ житін», подозваль Өедьку Бълавина: — «Читай, говорю, коли грамоть знаешь». А онъ: — «Туть писано про черепокожныхъ, спръчь про устерсы, черепахи, раки и улитки, яже акридами нарицаются». Зло меня взяло, слыша такое ругательство надъ церковью Божіею... Какъ?.. Чтобы намъ святыми отцами заповъдано было сивдать такую гадость, какъ улитки?.. А Өедька богомерзкій свое несеть, говорить: — «Стерлядь — рыба, черепа на ней нътъ». Поревновалъ я по «Уставѣ», взяль стерлядку съ тарелки да головой-то ему въ рыло. — «Что, говорю, есть черень, аль нъть?» Кровь ношларазсадиль ему рожу-то. Только всего и было... Не драль его, не колотиль, волосомь даже не тронуль, объ его же спасеніи поревноваль, чтобы въ самомъ дѣлѣ, по глупости своей, не вздумалъ христіанскую душу скверной улиткой поганить... Такъ поди-жъ ты съ нимъ... Въ доносы пустился; дивлюсь еще, какъ слово и дъло не гаркнулъ... Погубить бы могь, шельмець... Плюнуль я на Өедьку, знаться съ дуракомъ не хочу и на поминкахъ моихъ кормить нечестивую утробу его не желаю. Не зови его, отче святый, никакъ не зови... Позовешь, будеми съ тобой на томъ свить переди истинными Спасомъ судиться. Помни же это... Мив что!.. Господь съ нимъ, съ Бълавинымъ, меня, маленькаго человъка. обидъть

легко, а каково-то ему на томъ свътъ будетъ... Вотъ что!... Ну. давай спать, старина.

Ветеръ затихъ. По маломъ времени и киязь и архиман-

дрить захрапѣли.

На зарѣ проснулся князь Алексѣй Юрынчъ, говоритъ архи-

мандриту:

— Надо мив, отче, на тотъ свыть сбираться. Надо, какъты не мудри. Только заснулъ я, Палецкій въ оврагы стоить и Пальма съ нимъ, а въ оврагы жупелъ огненный, сырой пахнетъ... Стоитъ Палецкій да меня къ себы манитъ, сердце даже захолонуло.

— Что-жъ такое? — спросилъ архимандритъ.

— Говорить: «подь сюда; сколь вору ни воровать, висылицы не миновать»... Ужаснулся я, отче, поть холодный прошибъ меня, проснулся, а онъ воеть, и Пальма воеть... Ифть,
отче преподобный, вижу, что жить мив недолго: сегодня-жь
князю Борису пишу, вхаль бы въ Заборье скорвй, мать бы
свою не оставиль, отца бы предаль честному погребенью...
Шабашъ охотв!.. Повду отъ тебя прямо домой — съ женой
проститься, долгь христіанскій исполнить. Прівзжай вечеркомъ исповедать меня, причастить... На своихъ прівзжай.
мой-то кони въ разгонв... Свадьбу сегодня у меня справляють... Устюшку замужъ выдаю. Знаешь Устюшку-то
мою? Маленькая такая, чернявенькая... ухъ, горячая дівка
какая!.. Такъ ужъ ты, отче святый, на своихъ прівзжай, къ
непостыдной кончинів готовить меня многогрешнаго...

— Слушаю, ваше сіятельство, слушаю, безпремѣнно пріѣду, не премину,—говорить архимандрить.—А къ княгинѣ Мареѣ Петровнѣ поѣзжайте, примиритесь съ нею по-христіански: знаю вѣдь я, что воть ужъ шестой годъ какъ вы слова съ

ней не перемолвили... Замучилась она, бъдная!

Что княгиня?.. Баба!.. Бабѣ плеть...

— Эхъ, ваше сіятельство!.. Чѣмъ бы суевѣріямъ предаваться да сны растолковывать, лучше бы вамъ настоящимь дѣломъ о смертномъ часѣ помыслить, укрощать бы себя по-

маленьку, съ ближними бы мириться.

— Что мнь съ ними мириться-то?.. Обидълъ, что ли, я кого?.. Курица, и та на меня не пожалуется!.. А страшно, отче преподобне!.. Охъ, голова ты моя, головушка!.. Разума напиталась, къ чему-то приклонишься?.. Въ монахи пойду.

— Княгиню-то куда же?

— Ну ее къ бъсу! Мнъ бы свою-то только душу спасти... А она какъ знаеть себъ, чортъ съ ней. — Ахъ, ваше сіятельство, ваше сіятельство!.. Что съ вами

дълать? Пе знаю, что и придумать.

-- «Что дълать! Что дълать!..» -- передразнилъ князь архимандрита. — Ишь какой недогадливый!.. Да долго-ль въ самомъ деле мнь просить молитвъ у тебя?.. Свять ты человъкъ предъ Господомъ, доходна твоя молитва до Царя Небеснаго? Помолись же обо мнъ, пожалуйста, сдълай милость, помолись хорошенько, замоли гръхи мои... Страшенъ въдь часъ-оть смертный!.. Къ дьяволамъ бы во адъ не попасты!.. Ухъ, какъ прискорбна душа!.. Спаси ее, отче святый. отъ огня негасимаго...

II заплакалъ, и упалъ къ ногамъ архимандрита... Ноги у него цалуеть, говорить не можеть оть душевнаго смиренія, отъ сердечнаго умиленія.

Вдругъ за оградой гончія потянули по зрячему... Грянули

рога на звъря на краснаго... Какъ вскочилъ князы!

На-конь! — крикнулъ въ окно зычнымъ голосомъ.

II, кой-какъ одъвшись, не простясь съ архимандритомъ, метнулся на крыльцо и вскочилъ на лошадь...

Во весь опоръ помчалась за нимъ охота къ оврагу Юра-

гинскому.

VI.

Княгиня Мареа Петровна.

Много горя натеривлась въ свою жизнь княгиня Мареа Петровна, мало красныхъ дней на долю ей выпало, — вели-

кая была мученица, — царство ей небесное! Родитель ея, князь Петръ Иванычъ Тростенскій, у перваго императора въ большой милости быль. Тванлъ за море иностраннымъ наукамъ обучаться, а воротясь на Русь, больше все при государъ находился. Въ Полтавской баталіи передъ свътлыми очами царскими многую храбрость оказалъ, и, когда супостата, свейскаго короля, побили, великій государь при всъхъ генералахъ цъловалъ князя Тростенскаго и послалъ его на Москву съ отписками о дарованной Богомъ викторіи.

Отпуская въ путь, далъ ему государь письмо въ старому боярину Карголомскому. А тотъ Карголомскій жиль по старымъ обычаямъ. И съ бородой не пожелалъ-было разстаться, но когда царь указаль, волкомъ взвыль, а бороды себя лишиль. Зато въ другомъ во всемъ крѣпко старинки держался. Выль у него сынь, да подъ Нарвой убили его, послъ него осталась у старика Карголомскаго внучка. Ни за нимъ ни передъ нимъ никого больше не было. А вотчинъ и въ дому богатства — тьма тьмущая.

Отдаетъ великій государь письмо князю Тростенскому самъ

такой приказъ ему сказываетъ:

— Будучи на Москвъ, изволь отдать письмо Карголомскому, и что въ томъ письмъ писано, изволь, съ своей стороны, чинить по нашему указу. Въ накладъ не будешь... — Да поцъловавши князя въ лобъ, примолвилъ: — Съ Богомъ.

Прівхавши на Москву, подаль князь Петръ Иванычъ царское письмо Карголомскому. Прочиталь старикъ, охнуль, затрясся, поть на лбу у него выступиль. Положивъ три земныхъ поклона передъ Спасовымъ образомъ, сказалъ князю

Тростенскому:

— Воля государева, а мы всѣ его да Божын.

А въ государевъ письмъ было написано:

«Понеже господинъ майоръ князь Тростенскій въ европейскихъ христіанскихъ государствахъ наукѣ воинскихъ дѣлъ довольно обучался и у высокихъ потентатовъ при нашихъ резидентахъ не малое время находился, нынѣ же во время преславной, Богомъ дарованной намъ надъ свейскимъ королемъ викторіи великую храбрость предъ нашими очами показалъ, того ради изволь выдать за него въ замужество свою внуку, и тѣмъ дѣломъ прошу поспѣшить. А дѣло то и васъ всѣхъ поручаю въ милость Всевышняго».

Горька пришлась свадьба старику Карголомскому: видёль онь, что нареченный его внучекъ — какъ есть нёмецъ-нём-цемъ, только званіе одно русское. Да ничего не подёлаешь: царь указаль. Даже горя-то не съ кёмъ было размыкать старику... О такомъ дёлё съ кёмъ говорить?.. Пришлось одному на старости лётъ тяжкую думушку думать. Не вытерпёлъ

долго старикъ — померъ.

Молодые жили душа въ душу. Великій государь и родные, глядя на нихъ, не могли нарадоваться. Черезъ годъ послѣ Полтавской баталіи дароваль имъ Господь княжну Мареу Петровну. Конца не было радостямъ. Самъ государь княжну изволиль отъ святой купели принимать и, когда стала она подрастать, все, бывало, иѣтъ-нѣтъ, а у отца и навѣдается, чему крестница обучается и каково ей наука дается. Ливонскую нѣмку самъ приставилъ ходить за ней, плѣннаго шведа пожаловатъ для обученья княжны всякой наукъ и на чужестранныхъ языкахъ говорить, француза для танцевъ самъ князь отъ себя наймовалъ. Пріѣдетъ, бывало, великій государь къ князю Тростенскому, — а ѣзжалъ къ нему нерѣдко, — анисовой спроситъ, кренделемъ закуситъ и велитъ княжну къ себѣ привести, почнетъ ее разспрашивать, чему дареныи шведъ выучилъ, по - чужестранному заговоритъ съ ней, менуэтъ заставитъ

проплясать, а потомъ поцълуетъ въ лобъ да примолвитъ: «Расти, крестница, да ума кони, вырастень большая — мое будетъ дъло жениха сыскать». Не сподобилъ царя Господъ при себъ пристроить крестницу; иятнадцати годочковъ княжив не минуло, какъ взялъ къ себъ Богъ перваго императора.

По восьмому годочку осталась княжна посл'в матери, а родитель черезъ полгода посл'в великаго государя жизнь скончать. Оставалась книжна сиротиночкой, кровныхъ, близкихъ родныхъ нтъ никого, одна, что хмелинка безъ тычинки, и нтъ руки доброй, ласковой, поддержать оы сиротство да малость ея... За опекой дъло не стало — сирота богатая, не объбстъ... Взяла княжну тетка ея внучатная — княгиня Байтерекова. Стала съ ней княжна во дворецъ на куртаги традить, на ассамблен къ свътлъйшему Меншикову, къ графу Головкину, къ князю Куракину, а къ инымъ знатнымъ персонамъ на балы, на банкеты и съ внзитою. И не обыло въ Питеръ подобныхъ красавицъ и разумницъ, какъ княжна Мареа Петровна Тростенская.

Въ коемъ дому невъста богатая, въ томъ дому женихи, что комары на болотъ, толкутся. Такъ въ старые годы бывало, такъ повелось и въ нынъшни дни... У княжны отбою отъ жениховъ не было, а были тъ женихи изъ самыхъ знатныхъ родовъ, а которы не родословны, аль родовъ захудалыхъ, тъ знатные чины при дворъ пль въ гвардіи имъли. Однако княжна хоть и молоденька была, но честь свою наблюдала кръпко, многіе ею «заразились», а она благосклоп-

ности никому не показала.

Девьеровъ сынъ, Петръ Антонычъ, былъ счастливъй другихъ. На куртагахъ княжну на любовь склонилъ, черезъ тетку Байтерекову присватался, черезъ отца своего доложилъ государынъ... Передъ обрученьемъ Екатерина Алексъевна изволила княжну иконой благословить, а свадьбу велъла отложить, пока не поилетъ ей Господъ облегченья. Была государыня нездорова, а крестницу перваго императора сама котъла замужъ отдать и тъмъ объщанье Петра Великаго вынолнить.

Ждуть женихъ съ невѣстой мѣсяцъ, ждутъ другой, третій, царицъ все хуже да хуже. Болѣзнь становилась прежестокая, стали тихомолкомъ поговаривать, врядъ ли подниметъ царицу Госнодь. А кому, отходя сего свѣта, земное царство откажетъ, не вѣдалъ никто. И печальны всѣ были... Не до пировъ, не до свадебъ... Государыня едва духъ переводила, какъ женихова отда, графа Девьера, взяли подъ караулъ... Домъ его опечатали, къ княгинѣ Байтерековой драгунскій

капитанъ прівзжаль: всв вещи княжны Тростенской пересмотрвль, какія инсьма оть жениха къ ней были, всв отобраль, а самой впредь до указу никуда не велвль изъ дома вывужать.

Передъ вешнимъ Николой, дня за три, по Питеру бѣготня пошла: знатныя персоны въ каретахъ скачутъ, приказный людъ на своихъ на двоихъ бѣжитъ. всѣ ко дворцу. Солдагы туда же маршируютъ, простой народъ валитъ кучами... Что такое?.. Царицы не стало, бѣгутъ узнатъ, кто на русское царство сѣлъ, кому надо присягу даватъ. Услыхавши ту вѣстъ, княжна на полъ такъ и покатиласъ... Ввечеру сказали: женихова отца кнутомъ битъ, чести, чиновъ, имѣнъя лишитъ и послатъ въ Сибиръ, а жениха въ дальнюю деревню вмѣстѣ съ его матерью. И родную сестру не пожалѣлъ свѣтлѣйшій Меницковъ.

II проститься жениху съ невѣстой не дали. Хотѣла-было княжна съ другомъ своимъ въ несчастіе ѣхать, да тетка Байтерекова и многія другія знатныя персоны ее отговорили.

Годъ прошель; новый царь со всемъ дворомъ въ Москву перевхалъ. Байтерекова съ племянницей туда же... Тамь приглянись княжна князю Заборовскому. Человѣкъ былъ уже не молодой, лѣтъ подъ сорокъ, вдовецъ, хоть и бездѣтный. Княжна и слышать про него не хотъла. А князь Алексъй Юрьичъ съ государевымъ фаворитомъ, княземъ Иваномъ Алексвичемъ Долгорукимъ, въ ближней дружов находился... Сталъ ему докучать про невъсту, фаворить доложиль государю... И сказано было княжнь: «крестный твой отець, первый императоръ, далъ тебъ объщанье, когда въ возрастъ придешь, жениха сыскать, но не исполниль того объщанія, волею Божіею отъ временнаго царствованія въ вѣчное отыде, того ради великій государь, его императорское величество, памятуя объщаніе діда своего, указаль тебі, княжні Маров Петровой дочери Тростенскаго, быть замужемъ за княземъ Алексвемъ князь Юрьевичемъ Заборовскимъ».

Только-что стала зима, на Москв'в торжества и пиры пошли. Самъ государь съ сестрой фаворита обручался, фаворить съ Шереметевой, князь Заборовскій съ княжной Тростенской. Ровно зналъ князь Алексвії Юрьнчъ, что скоро переміва послідуеть: только святки минули и свадьбы штрать стало невозбранно, онъ повінчался съ княжной.

Невеселая свадьба была; шла невѣста подъ вѣнецъ, что на смертную казнь, блѣднѣй полотна въ церкви стояла, едва на ногахъ держалась: Фаворитъ въ дружкахъ былъ... Опоздалъ онь и вошелъ въ церковь сумрачный. Съ кѣмъ ни пошенчется — у каждаго праздничное лицо горестнымъ станстъ; шепнулъ словечко новобрачному, и тотъ насупился. И стала свадьба грустнъй похоронъ. И пира свадебнаго не было: по скорости гости разъёхались, тужа и горюя, а о чемъ — не говоритъ никто. На утро'спознала Москва, — второй импера-

торъ при смерти.

Княгиня Мареа Петровна и до свадьбы и послѣ свадьбы ходила словно въ воду опущенная; новобрачный тоже день ото дня больше да больше кручинился... Про великаго государя вѣсти недобрыя: все тяжелѣй становилось ему. А была въ ту пору «семибоярщина». Съ семью верховными боярами и съ фаворитомъ князь Заборовскій заодно находился и каждый Божій день во дворецъ къ больному царю ѣзжалъ. Только - что великій государь преставился, пропалъ князь Алексѣй Юрычъ, найти не могутъ, дѣвался куда. Ни молодой княгинѣ ни въ дому ничего не извѣстно: пропалъ безъ вѣсти да все тутъ. Мѣсяца черезъ два на Москвѣ объявился: съ Бирономъ вмѣстѣ изъ Митавы пріѣхалъ.

У курляндца все время въ чести пребывать, сама царица Анна Ивановна великимъ жалованьемъ его жаловала. Оттого и княгиня Мареа Петровна при дворѣ безотмѣнно находилась, и даже когда, бывало, самъ-отъ князь отпросится отъ службы въ Заборье гулять, княгиню Мароу Петровну государыня съ мужемъ отпускать не изволила, каждый разъуказъ объявляла быть ей при себѣ. Сына родила княгиня Мароа Петровна, князь Бориса Алексѣича. Государыня изволила его отъ купели принять и въ конную гвардію вахми-

стромъ пожаловать.

Мало радостей видала дома княгиня Мароа Петровна. Горькая доля выпала ей, доставалось супружество скорбное. Князь крутенскъ былъ, каждый день въ домѣ содомъ и гоморъ. А прівдетъ хмеленъ да распалится не въ мѣру, и кулакамъ волю дастъ... Княгиня тихая была, безотвѣтная; только, бывало, поплачетъ.

Съ перваго же году сталъ князь отъ жены погуливать: ливонскія дѣвки у него на сторонѣ жили да мамзель изъ француженокъ. По скорости и въ дому завелись барскія барыни. И тутъ никому княгиня не жалобилась, съ одной подушкой горевала.

Покамѣстъ въ Питерѣ жили, княгиня частенько ѣзжала во дворецъ и въ дома знатныхъ персонъ. Весело-ль было ей, нѣтъ ли, про то никому неизвѣстно. Только, живучи въ Питерѣ, она ровно маковъ цвѣтъ цвѣла.

Получивши прощенье, пріжхаль въ Петербургъ Девьеровь

сынъ. Свидълись... II съ того часу въ конецъ разлютовался князь на жену свою. Зачахла она и локоны носить перестала... Князь редко и говорить съ нею сталъ, съ каждымъ днемъ лютьй да лютьй становился... Пока сынь подрасталь, княгиня съ нимъ больше время проводила. Хоть учителей изъ французовъ и нъмцевъ приставлено было къ маленькому князю вдоволь, однакожь княгиня Мареа Петровна сама больше учила его и много за то отъ князя терпъла: боялся онъ, чтобъ бабой княгиня сына не сдълала... Отпустивши его ужъ изъ Заборья въ Питеръ на царскую службу, стала княгиня ровно свича таять и съ той поры жила, какъ затворища. Только ее и видали, что въ именины да въ большіе праздники когда, по мужнину приказу, во всемъ парадъ къ гостямъ выходила... И туть, бывало, мало кто оть нея слово услышить, все, бывало, молчить. Сидя почти-что безвыходно въ своей горницъ, книги читала, Богу молилась, церковные воздухи да пелены шила. Гостей, бывало, навдеть множество, господа и барыни съ барышнями пляшуть до полночи, а княгиня молится. Тамъ музыка гремить, танцы водять, шумное пиршество идеть, а княгиня на кольняхъ передъ образомъ... Сколько разъ и спать приходилось ложиться ей не ужинавши: девки вкругь нел были верченыя — бросять, бывало, княгиню одну и пойдуть глазъть, какъ господа въ танцахъ забавляются... Начала княгиня глазами болъть, книги читать стало ей невозможно.

Жилъ у князя на хлѣбахъ изъ мелкопомѣстнаго шляхетства Кондратій Сергьпиъ Бѣлоусовъ. Деревню у него сосѣдъ оттягалъ, онъ и пошелъ на княжіе харчи. Человѣкъ не молодой, совсѣмъ Богомъ убитый: еле душа въ немъ держалась, кроткій былъ и смиренный, вина капли въ ротъ не биралъ, во святомъ писаніи силу зналъ, все, бывало, надъ божественными книгами сидитъ и ни единой службы Господней не пропуститъ, прежде попа въ церковь придетъ, послѣ всѣхъ выйдетъ. И велѣла ему княгиня Мареа Петровна при себѣ быть, сама

читать не могла, его заставляла.

Вывхаль князь на охоту, съ самаго вывзда все не задавалось ему. За околицей понъ навстрвчу; только-что успвлъсъ попомъ расправиться, лошадь понесла, чуть до смерти не убила, русаковъ почти всвхъ протравили, Пальма ногу перешибла. Распалился князь Алексви Юрьичъ: много арапникомъ работалъ, но сердца не утолилъ. Воротился подъ вечеръ домой мраченъ, грозенъ, ровно туча громовая.

Письмо подаютъ. Взглянулъ, зарычалъ аки левъ... Зеркала да окна звенятъ, двери да столы трещатъ. Никто не пойметъ, на кого гитвъ простираетъ. Вст по угламъ да молитву творятъ... Княгиню сюда! — закричалъ.

Докладываеть гайдукъ Дормедонтъ: княгиня сверху сойти не могутъ, больны, въ постели лежатъ. Едва вымолвилъ тъ слова Дормедонтъ, налъ аки снопъ... Пяти зубовъ потомь не досчитался.

Самъ вломился къ княгинъ. Кондратій Сергьниъ возль постели сидить, житіе великомученицы Варвары княгинъ читаетъ.

— A! — зарычаль князь. — II сына до того развратила, что на шлюх женился, и сама съ любовниками полуночничаешь!.. II далъ волю гитву...

На другой день Кондратій Сергвичь безъ въсти пропаль,

а княгиня Мароа Петровна на столъ лежала.

Пышныя были похороны: трп архимандрита, священниковъ человѣкъ сто. Хоть княгиню Мароу Петровну и мало кто зналъ, а всѣ по ней плакали. А князь, стòя у гроба, хоть бы слезинку выронилъ, только похудѣлъ за послѣдніе дни да часто вздрагивалъ. Шесть недѣль нищую братію въ Заборъѣ кормили, кажду субботу деньги имъ по рукамъ раздавали, на человѣка по денежкѣ.

Въ сорочины весь объдъ съ заборскимъ архимандритомъ князь бесъду велъ отъ писанія. Толковали, какъ душу спасать, какъ должно Христовъ законъ исполнять.

— Вотъ хоть бы покойницу мою княгинюшку взять, — со смиреньемъ и слезами говорилъ князь Алексъй Юрынчъ: ужъ истинно уготовала себъ мъсто свътло, мъсто злачно, мъсто покойно въ селеніи праведныхъ... Что за доброта была, что за покорность!.. Та, отцы святін, нелицемърно могу сказать, передаль я Господу на пречистыя руки Его велію правелницу... Не по діломъ наградилъ меня Царь Небесный столь многоціннымъ сокровищемъ. Всему нашему роду красой была, аки лоза плодовитая: въ моемъ дому процебтала, всемъ была изукращена: смиреніемъ, послушаніемъ, молчаніемъ, доброуміемъ, пощеніемъ, нищелюбіемъ, пескверноложіемъ... Единая у меня радость была!.. Охъ, Господи, Господи!.. Ужъ каково мнь, отцы святін, прискороно, ужъ каково-то мнь горько, и повъдать вамъ не могу... Какъ я безъ княгинюшки останную-то жизнь стану мыкать?.. Кто домъ мой изобильемъ наполнить?.. Кто за меня Бога умолить?

Утышають князя архимандриты и попы словами душеполезными, а онъ сидить, кручинится, да такъ и разливается, плачеть.

— Нать, говорить, отцы преподобные, прискорбна душа моя даже до смерти! Не могу дольше жить въ семъ прелестномъ міръ, давно алчу тихаго пристанища отъ бурь житейскихъ., Прими ты меня въ число своей братіп, отче святый, не отринь слезнаго моленья: причти мя къ малому стаду избранныхъ, облеки во ангельскій образъ. — Такъ говориль архимандриту монастыря Заборскаго.

— Намъреніе благое, сіятельнъйшій князь, но дъло Божіе должно творить съ разсужденіемъ, — отв'ячаль архимандрить.

- Чего еще разсуждать-то?.. Въ накладъ не останешься: сорокъ тысячъ вкладу... Мало — такъ сто, мало — такъ двъсти! Копить мив некому.
- Сынъ у васъ есть, замѣтилъ другой архимандритъ.
 Киязь-отъ Борька?.. Да коль хочетъ онъ, шельмецъ. живымъ быть, такъ не смъй ко мнъ на глаза казаться!.. И меня погубиль, злодій, й матери своей смерть причиниль!... Осрамиль, злодьй, нашу княжую фамилію!.. Честь нашу потеряль, всему роду киязей Заборовскихъ безчестье нанесь!.. Безъ спросу, безъ родительскаго благословенья на мелкой шляхтянкь женился!.. Да ей бы, каналыв, за великую честь было у меня за свиньями ходить!.. Убилъ, шельмецъ, скареднымъ дъломъ мою княгинюшку!.. Какъ услыхала, сердечная, про князь-Борькино злодъйство, такъ и покатилась, тутъ же съ ней кровяной ударъ и приключился...

II громко, навзрыдъ зарыдалъ князь Алексей Юрьичъ, по-

никнувъ головой на край стола.

— Въ несчастіи смириться должно, ваше сіятельство, —

заматиль одинь архимандрить.

— Не передъ княземъ ли Борькой смиряться мнв?.. вскрикнуль князь Алексей Юрьичь, быстро закинувь назадь голову и гитвно засверкавъ очами. — Хоть ты и архимандрить, а выходишь дуракъ, да и тоть дуракъ, кто тебя, болвана. архимандритомъ сделалъ!.. Мив передъ щенкомъ, передъ сквернымъ поросенкомъ, князь-Борькой смириться!.. Нать, брать, мирно съвсть!.. Ты кутейникъ, ты не можешь понять, что такое значить шляхетская честь!.. Да еще не просто шляхетская, а княжеская... Мы Гедиминово рожденье!.. Этого въ пустую башку твою не влёзеть, хоть ты и въ Кіев' обучался!... Всв вы едино — одна жеребячья порода!.. Не понять вамъ чести дворянской!.. Смерды вы, въ подлости рождены, въ подлости и помрете, хоть патріархами сділай васъ!.. Передъ князечъ Борькой смиряться мнф!.. Экъ что выдумаль, долгогривый космачъ!.. Я еще его въ бараній рогь согну, покажу, какъ отца уважать надо... Полушки медной шельмену не оставлю... Самъ женюсь, я еще, слава Богу, крвнокъ. Другія дати будуть; имъ все предоставлю. А князь Борька съ своей подлой илихтянкой броди себф подъ оконьемъ, кормись Христовымъ именемъ... За невъстами у меня дъло не станетъ: каждая барышня пойдеть съ удовольствіемъ. Не пойдеть, чорть съ ней, — на скотниц'в Машк'я женюсь!..

Подъ эти слова стали «тризну» *) инть. Архидьяконъ Заборскаго монастыря «Во блаженномъ успеніи» возгласиль, пѣвчіе «Вѣчную память» запѣли. Всъ встали изъ-за стола и зачали во свять уголь креститься. Князь Алексей Юрьичь снопомъ повалился передъ образами и такъ зарыдалъ, что. глядя на него, всв заплакали. Насилу архимандриты поднять его съ полу могли.

На другой день много пороль, и всёхъ почти изъ своихъ рукъ. На кого ни взглянетъ, за каждымъ вину найдетъ. Шляхетнымъ знакомцамъ пришлось невтерпежъ, — бѣжать изъ Заборья сбирались. Въ такомъ гнёве съ недёлю времени быль. Полютоваль - полютоваль, на медведи поехаль. И съ того часу, какъ свалить онъ Мишку ножомъ да рогатиной, и гиввь

и горе какъ рукой сняло...

Старъть сталь, и грусть чаще и чаще на него находила. Сядеть, бывало, въ полѣ верхомъ на боченокъ, зачнеть, какъ водится, изъ ковша съ охотой здравствоваться — вдругъ помутится, и ковшикъ изъ рукъ вонъ. По полю смахъ, шумъ, гамь — туть мигомъ все стихнеть. Побудеть этакъ мало времени — опять просіяетъ князь.

 Напугалъ я васъ, — скажетъ. — Эхъ, оратцы, скоро умирать придется!.. Прощай, прощай, вольный свъть... Прости, прощай, житье мое удалое...

Да вдругь и гаркнеть:

Пей, гуляй, перва рота, Втора рота на работу...

Тысяча голосовъ подхватить. И зачнутся плясъ, крикъ, попойка до темной ночи...

VII.

Княгиня Варвара Михайловна.

Черезъ годъ послѣ кончины княгини Мареы Петровны привезли въ Заборье письмо отъ князя Бориса Алексвича. Прочиталь его князь Алексъй Юрынчь, призваль старшаго дворецкаго и бурмистра и далъ имъ такой приказъ:

— Завтра князь Борька съ своей поскудной шляхтянкой въ Заборье прівдеть. Никто-бъ передъ ними шапки не ломаль, попадется кто навстръчу, лай имъ всякую брань. Ко

^{*)} На похоронныхъ объдахъ сливають виъсть виноградное вино, ромъ, пиво, медъ, и пьють въ концъ стола. Это называется «тризной».

мнь допустите, а коней не откладывать. Проучу скаредовъ да тъмъ же моментомъ назадъ прогоню. Слышите?

— Слушаемъ, ваше сіятельство.

— Смотрите же у меня! Ухо востро...

Чего ни натеривлись князь Борисъ Алексвичъ съ княгиней, вхавши по Заборью! Онъ, голову поввся, молча сидвлъ, княгиня со слезами на глазахъ, кротко, приввтно всвиъ улыбалась. На приввты ея встрвчные ругали ее ругательски. Мальчишекъ сотни полторы съ села согнали: бъгутъ за молодыми господами, «у-у!» кричатъ, языки имъ высовываютъ.

Князь въ залѣ — арапникъ въ рукѣ, глаза какъ у волка горятъ, голова ходенемъ ходитъ, а самъ всѣмъ тѣломъ трясется... Тайнымъ образомъ на всякъ случай священника съ задняго крыльца провели: можетъ, исповѣдать кого надо будетъ.

Вошли молодые. Гнѣвно и грсзно кинулся къ нимъ князь Алексѣй Юрьичъ... Да, взглянувъ на сноху, такъ и остамѣлъ... Арапникъ изъ рукъ выпалъ, лицо лаской-радостью просіяло.

Молодые въ ноги. Не допустилъ снохѣ князь въ землю пасть, одной рукой обнялъ ее, другой за подбородокъ взялъ.

— Да ты у меня плутовка! — сказалъ ей ласково. — Глянька, какая пригожая!.. Поцълуй меня, доченька, познакомимся... Здравствуй, князь Борисъ, — молвилъ и сыну, ласково его обнимая. — Тебя бы за уши надо подрать, ну да ужъ Богь съ тобой... Что было — не смъть вспоминать!..

Всѣ диву дались. II то надо сказать, что княгиня Варвара Михайловна такая была прасавица, что дикаго звѣря взгля-

домъ бы своимъ усмирила.

Зашумън въ Заборъв, что пчелки въ ульв. Всвит быль тотъ день великато праздника радостиви. Какіе балы послв того пошли, какіе пиры! Пикогда такихъ не бывало въ Заборъв. И тв пиры не на прежнюю стать: ни медввдя, ни юродивыхъ, ни шутовъ за обвдомъ; шума, гама не слышно; а когда одинъ изъ большихъ господъ заговорилъ-было про ночной кутежъ въ розовомъ павильонъ, князъ Алексви Юрьичъ такъ на него посмотрвлъ, что тотъ хотвлъ что-то сказать, да голосу не хватило.

А все было дёломъ княгини Варвары Михайловны. Бывало, скажеть только: «полноте, батюшка-князь, такъ не годится» — и онъ все по ся слову. Миновались расправы на конюшнѣ — кошки велёлъ въ кучу собрать и сжечь при себё... Барскихъ барынь замужъ повыдаль, изъ мелкопомѣстнаго шляхетства, которые оченно до водки охочи были и во хмелю неспокойны, по другимъ деревнямъ на житье разослалъ. Въ домѣ чистота завелась, во всемь порядокъ. Даже на охотѣ не но-

прежнему стало. Полно на боченокъ садиться, полно пить черезъ край; выпьетъ, бывало, чарку-другую, другимъ дастъ клебнутъ, а безъ мъры инть не велитъ. «Нехорошо, гово-

рить, неравно доченька узнаеть, серчать станеть».

И князя Бориса Алексвича полюбиль, все на его руки сдаль: и домъ и вотчины.—«Я. говорить, старъ становлюсь; пора мнв и на поков пожить. Ты, князь Борисъ съ доченькой, заправляйте двлами, а меня, старика, покойте да кормите. Немного мнв надо, поживу съ вами годочекъ-другой, внучка дождусь и пойду въ монастырь Богу молиться да къ смертному

часу готовиться».

Сына родила княгиня Варвара Михайловна. Сколько было радости! У всёхъ на душё такъ легко, какъ будто Свётло Воскресенье вдругорядь пришло, а князь Алексёю Юрычу ровно дваддать годовь съ костей скинуло. Возлё княгининой спальни девятеро сутокъ высидёль, все наблюдаль, чтобъ кто не испугаль ее. Носитъ, бывало. внучка по комнатамъ да тихонько колыбельныя пёсенки ему напёваетъ. Чуть пискнетъ младенецъ, тотчасъ бережно его въ дётскую, и тамъ сядетъ дёдушка у колыбельки, качаетъ внучка. Въ крестины всей дворнё по цёлковому рублю да по суконному кафтану пожаловаль, двёсти отпускныхъ выдаль, барскихъ барынь, которыя замужъ не угодили, со дьора долой. Павильоны досками велёль забить, не было-бъ туда ни входу ни выходу... Одну Дуняшку оставиль, и то тайкомъ отъ княгини Варвары Михайловны.

Щести недѣль не прожилъ маленькій князь. Съ такого горя князь Алексѣй Юрыпчъ въ постелю слегь, два дня маковой росинки во рту у него не бывало, слова ни съ кѣмъ не вымолвилъ. Мало-по-малу княгиня же Варвара Михайловна его утѣшила. Сама. бывало, плачетъ по сынкѣ, а свекра утѣшаетъ, французскія пѣсенки ему сквозь слезы тихонько поетъ...

Году не длилось такое житье. Въдомость пришла, что прусскій король подымается, надо войнъ быть. Князь Борисъ Алексычъ въ полкахъ служилъ, на войну ему слъдовало. Сталъ собираться, княгиня съ мужемъ ъхать захотъла, да старый князь слезно молилъ сноху, не покидала-оъ его въ одиночествъ, представлялъ ей резоны, не женскому-де полу при войскъ быть; молодой князь женъ то-жъ говорилъ. Послушалась княгиня Варвара Михайловна — осталась на горе въ Заборъъ.

Слезное, умильное было прощанье!.. Посл'в молебна «въ путь шествующихъ», благословиль сына князь Алексъй Юрьичъ святою иконой, обнялъ его и много поучалъ: сражался бы храбро, себя не щадилъ бы въ бою, а судить Господь животъ

положить — радостно пролиль бы кровь и приняль свётлый небесный вёнець. — «Объ женё, — князь говориль: — ты не кручинься; будеть ей и тепло и покойно»... А когда княгиня Варвара Михайловна съ мужемъ стала прощаться, господа, иляхетные знакомцы и дворня навзрыдъ зарыдали... Смотрёть безъ слезъ не могли, какъ обвилась она, сердечная, вкругь мужа и безъ словъ, безъ дыханья повисла на шев. Такъ безъ чувствъ и снесли ее въ постелю. Перекрестиль жену князь Борисъ Алексёнчъ, поибловаль и въ карету сёль.

По отъ вздв заборовская жизнь еще тние пошла отъ того, что княгиня много грустила. Прівздъ бывалъ не великій, праздниковъ объдовъ не стало. Князь Алексъй Юрыччъ не отходилъ отъ снохи, всячески ее спокоилъ, всячески утвшалъ. Письма стали доходить отъ молодого князя; про баталіи писалъ, писалъ, что дальше въ Прусскую землю идти ему не вельно, указано оставаться при полкахъ въ городъ Мемелъ. Княгиня весельй стала, а она весела — и все весело. Опять стали гости въ Заборье сбираться; опять пошли объды да праздники. И все было добро, хорошо, тихо и стройно.

Позавидоваль врагь рода человъческаго. Подосадоваль треклятый, глядя на новые порядки въ Заборьъ. П вложиль въ стихиную душу князь Алексъя Юрьича помыслъ гръховный, распалиль стараго сластолюбца бъсовскою страстью... Сталь князь сноху на нечистую любовь склонять. Въ ужасъ княгиня пришла, услыхавши отъ свекра гнусныя ръчи... Хотъла образумить. да гдъ ужъ тутъ!.. Вывель окаянный князя на стару дорогу...

— А! еретица!.. Честью не хочешь, такъ я тебѣ покажу. II велѣтъ кликнуть Ульяшку съ Василисой: бабищи здоровенныя, презлющія.

— Ну-ка.—говорить.—По старинъ!..

Закрутили бабы княгинф руки назадъ и тихимъ обычаемъ пошли по своимъ мфстамъ. А князь гаркнулъ въ окошко:

— Pora!

Въ двъсти роговъ затрубили, собачій вой подня<mark>лся, и за</mark> тъмъ содомомъ ничего не было слышно...

И попила-повхала гульба прежияя, начались попойки деннонощныя, опять визгь да пляску подняли барскія барыни, опять стало въ домв кабакъ-кабакомъ... Попрежнему шумно, разгульно въ Заборьв... И кошки да плети попрежнему въ честь вошли.

А про княгиню Варвару Михайловну слышно одно: больна да больна. Пикто ее не видить, никто не слышить — ровно въ воду канула. Болгали, къ мужу-де въ Мемель просилась, да свекоръ не пустилъ, отгого-де и захворала.

Быль въ княжеской дворнё отпётый головорёзъ Гришка Шатунъ. Смолоду десять годовъ въ бёгахъ находился; сказывали, въ Муромскомъ лёсу, у Кузьмы Рощина въ шайкё онъ жилъ. Когда разбойника Рощина словили. Шатунъ воротился въ Заборье охотой... И князъ Алексей Юрьичъ мало-по-малу его возлюбилъ, приблизилъ къ себе и зналъ черезъ него все, что где ни дёлается. Терпёть не могли Шатуна, ровно нечистой силы боялись его.

Перехватиль окаянный письмо, что княгиня къ мужу послада. Прочиталь старый князь и насупился. Цёлый день взадь да впередъ ходиль онъ по комнатамъ, самъ руки назадъ, думу думаетъ да посвистываетъ. Ночи темнъй —-не смъетъ никто и взглянуть на него...

Изъ Зимогорска отъ губернаторскаго секретаря письмо подаютъ. Пишетъ секретарь, держалъ бы князь ухо востро; губернаторъ-де съ воеводой хоть и пріятели вашего сіятельства, да забыли хлѣбъ-соль: получивши жалобу княгини Варвары Михайловны, розыскъ въ Заборьѣ вздумали дѣлать.

Опять молча. одинъ-одинешенекъ, цёлый день ходилъ князь по комнатамъ дворца своего. Не ѣлъ, не пилъ, все думу какую-то думалъ... Вечеромъ Гришку позвалъ. Держалъ его у себя

чуть не до свъту.

На другой день приказъ — снаряжать въ дорогу княгиню Варвару Михайловну. Отпускалъ къ мужу въ Мемель. Осеннимъ вечеромъ — а было темно, хоть глазъ уколи — карету подали. Княгиня прощалась со всъми, подошелъ старый князь — вся затряслась, чуть не упала.

— Съ Богомъ, съ Богомъ, — говоритъ онъ: — прощай. сно-

шенька... Сажайте княгиню въ карету.

Посадили. Свади сѣли Ульяшка съ Василисой, на козлахъ

Шатунъ.

Ночью князь въ саду пробыль немалое время... Своими руками Розовый павильонъ заперъ и ключъ въ Волгу бросилъ. Всѣ двери въ садъ заколотили, и былъ отданъ приказъблизко къ нему не подходить.

Въ ту же ночь безъ въсти пропала Никифора конюха дочь. Чудное дъло!.. Недъли четыре дъвку лихоманка трепала жизни никто въ ней не чаялъ, и вдругъ сбъжала... Съ той поры объ Аришкъ ни слуху ни духу... Много чудились, а зря языкъ распускать никто не посмълъ...

Проводивши княгиню, Гришка Шатунъ съ объими оабами домой воротился. Докладываеть, княгиня-де Варвара Михайловна на дорогъ разнемоглась, приказала остановиться въ такомъ-то городъ, за лъкаремъ послала; лъкарь быль у нея, да

помочь ужъ было нельзя, черезъ трое сутокъ княгиня преставилась. Письмо князю подаль отъ воеводы того города, отъ лѣкаря, что лѣчилъ, отъ попа, что хоронилъ. Взялъ письма князъ

и, не читавши, сунуль въ карманъ.

По кончинѣ князя Алексѣя Юрынча, Василиса каялась, что княгиню Варвару Михайловну, толькс-что изъ Заборья они выѣхали, задней дорогой подвезли къ Розовому павильону, а намъсто ея посадили въ карету больную Аришку. Когда же дорогой Ариший смерть приключилась, замисто княгини ее

схоронили.

Гришки съ Ульянской скоро не стало. На другой либо и третій день посла того, какъ они воротились, послаль ихъ князь по какому-то дѣлу за Волгу. Осень была, по рѣкѣ «сало» пошло. Повхаль Шатунь съ Ульянкой, стало ихъ затирать. подчонка плохая - пошли во диу... Когда закричали въ Заборьф, наши-де тонуть, на вынць горы сталь недвижимъ князь Алексьй Юрьичь, руки за спину заложивши. Вътеръ шляпу сорваль, а онъ стоить, глазь не сводить; зорко глядить на людскую погибель, съдые волосы вътеръ такъ и развъваеть...

Пошли ко дну, перекрестился, и тотчасъ домой...

Василиса наканунь того дия совжала. Разлютовался князь. «Подавай Василису живую иль мертвую». Докладываютъ: пошла къ свату въ сосъдню деревню, захмелъла, легла спать въ овинъ овинъ сгорълъ, и Василиса въ немъ... Строгіе розыски дёлаль, самь на овинное пожарище ёздиль. обгорёлыя косточки тростью пошевыряль. Увърился, стихъ... А тъ обгорълыя кости были не Василисины, а нъкоего забъглаго шатуна, что шель въ Заборье на княжіе харчи. Шель на волю да на пьяное житье, попалъ въ овинъ, а оттуда въ жизнь въковъчную... И то дъло Василисиять деверь состряпалъ. Быль онъ на ту пору великъ человъкъ у князя Алексъя Юрьича.

«Концы въ воду, басни въ кусть, — уташаетъ себя князь. —-

Двадцать розысковъ навзжай — ничего не разыщутъ».
Запили, загуляли — чуть не всё погреба опростали. Двё недёли всё пьяны были безъ просыпу. А изъ города вёсти э въстями — розыскъ вдеть, а князю и горюшка нъту — гуляетъ!... Большихъ господъ на ту пору ужъ не было. и мелкое шляхетство стало редеть, знакомцы и та кажду ночь по два д по три человъка зачали бъгать. Иные, помня княжую жлъбъсоль, докладывали ему, поберегся бы маленько, ходять-де слухи, розыскъ въ Заборье готовять... У князя одинъ отвътъ: «Это будеть, когда чорть умреть, а онъ еще и не хварывалъ. Прібдеть губернаторъ — милости просимъ: плети готовы»... А шляхетство все тягу да тягу. Пришлось подъ конецъ князю съ одинми холонами бражничать. На что пінта — и тоть сбільаль.

Середь залы боченки съ виномъ. И ньють и льють, да туть же и сиять вповалку. Дѣвки — въ чемъ мать на свѣть родила, волосы раскосмативши, по всему дому скачуть да срамныя пѣсни поютъ. А князь пемытый, небритый, нечесаный, въ одной рубахѣ, на коврѣ середь залы возлѣ боченка сидить да только покрикиваетъ: — «Эй, вы, черти, веселѣе!.. Головы не вѣшай, хозяина не нечаль!..»

Что денегъ онъ тогда безъ пути разбросалъ... Дѣвкамъ пригоршнями жемчугъ дѣлилъ. серьги. перстни. фермуары брильян-

товые, матерін всякія раздариваль. бархаты...

Разъ подъ утро узнають: розыскъ навхаль... Стихла гульба.
— По мъстамъ! — сказалъ князъ: — были бы плети наго-

товв. П ихъ разыщу!

Приходить майоръ, съ нимъ двое чиновныхъ. Князь въ гостиной во всемъ нарадѣ: въ пудрѣ, въ бархатномъ кафтанѣ, въ кавалеріи. Вошли тѣ, а онъ чуть привсталъ и на стулья имъ не показываетъ, говоритъ:

- Зачтиковен атвольжоп актры зволили?

— Вельно намъ строжайшій розыскъ о твоихъ скаредныхъ поступкахъ съ покойной княгиней Варварой Михайловной сдылать.

— Что-о? — крикнуль князь и ногами затопаль. — Да какъ ты смѣль, пащенокъ. холопскій свой носъ ко мнѣ совать?.. Не знаешь развѣ, кто я?.. Отъ кого присланъ?.. Отъ воеводышельмеца. аль отъ губернатора-мошенника?.. И они у меня въ передѣлѣ побываютъ... А тебя!.. Илетей!..

— Уймись. — говоритъ майоръ. — Со мной шкадронъ драгунъ, а присланъ⁄я не отъ воеводы. а изъ тайной канцеляріи.

по именному ея императорскаго величества указу...

Только вымолвиль онъ это слово, всёмъ тёломъ затрясся князь. Схватился за голову да одно слово твердить:

— Охъ, пропалъ... охъ, пропалъ!

Подошель къ майору смирнехонько, божится, что знать ничего не знаеть и ни въ чемъ не виновать, что если-бъ жива была княгиня Варвара Михайловна, сама бы невинность его доказала.

 Покойница княгиня о твоихъ богомерзкихъ дёлахъ своей рукой ея императорскому величеству челобитную писала. Гляди!

II показаль княгинино челобитье.

— Прозъваль, значить, Шатунь!.. — прошенталь князь. — Счастливь, что на свътъ нъть тебя.

— Въ силу даннаго намъ указа. — говорить майорь: — во все время розыска быть тебъ, князь Алексъй княжь Юрьевъ сынъ Заборскій, въ своемъ домъ подъ жестокимъ карауломъ. Для того и драгуны ко всъмъ дверямъ приставлены. Выхода отсель тебъ нътъ.

Голосу у князя не хватаетъ.

('тоды раскладывають, бумаги кладуть, за столь садятся, инчего князь не видить: стоить, глаза въ уголь уставивши, одно твердить:

— Охъ, пропалъ. охъ. пропалъ!..

А майоръ розыскъ зачинаетъ. Говоритъ:

— Князь Алексъй княжь Юрьевъ сынъ Заборскій. По именному ея императорскаго величества указу изъ тайной канцелярін изволь намъ по пунктамъ показать доподлинную и самую доточную правду по взведенному на тебя богомерзкому и скаредному дѣлу...

— Не погуби!.. ('милуйся! Будьте отцы родные, не погубите старика!.. Ни впредь ни послѣ не буду... Будьте милостивы!..

II повалился князь въ ноги майору.

Великъ быль человъкъ, архимандритовъ въ глаза дураками ругалъ, до губернатора съ плетьями добраться хотълъ, а какъ грянулъ царскій гитвъ — майору въ ножки поклонился.

— Не погубите!.. — твердить. — Въ монастырь пойду, въ затворъ затворюсь, схиму надъну... Не погубите, милостивцы!.. Золотомь осыплю... Что ни есть въ дому, все ваше, все берите, меня только не губите...

Встань, — говоритъ майоръ. — Не стыдно-ль тебф? Вѣдь

ты дворянинъ, князь.

— Какой я дворянинь!.. Что мое княжество!.. Холопь я твой въковъчный: какъ же мит тебъ не кланяться?.. Милости въдь прошу. Теперь ты великъ человъкъ, все въ твоихъ рукахъ. не погуби!.. Двадцать тысячъ рублевъ сейчасъ выдамъ, только бы все въ мою пользу пошло.

— Полно бездельныя речи нести, давай ответь въ силу

даннаго намъ указа.

Поднялся князь на ноги, скрѣпилъ себя. грозно нахмурцися и глухо отвѣтилъ:

— Знать ничего не знаю, въдать не въдаю.

— Смотри, не пришлось бы намъ ту комнату заствикомъ сдълать. Не хочешь добромъ подлинной правды сказать — другія средства найдемъ: кнутъ не ангелъ — души не вынеть, а правду скажеть.

Опустился на кресло князь, побагровѣль весь, глаза зака-

тились, еле духъ переводитъ.

Ой, пропалъ!..—твердитъ.—Ой, не снесу!..

Посмотрѣлъ на него майоръ... Остановилъ розыскъ до другого дня.

Къ князю никого не допускають. Ходить одинъ-одинешенекъ по запуствлому дому, волосы рветь на себв, воеть въ источный голосъ.

Идеть по портретной галлерев, взглянуль на портреть княгини Варвары Михайловны—и сталь какъ вкопанный...

Чудится ему, что лицо княгини ожило, и она со скорбью, съ укоромъ головкой качаетъ ему...

Грянулся о полъ... Языкъ отнялся, движенья не стало...

Подняли, въ постель уложили. Что-то маячитъ но понять невозможно, а глаза такъ и горятъ. Майоръ посмотрѣлъ, за лъкаремъ послалъ, людей допустилъ.

Кинуль лекарь руду. Маленько полегчало. Хоть косно. а

сталь кой-что говорить. Дворецкаго нодозваль.

— Замажь, говорить, лицо на портретъ княгини Варвары Михайловны. Сио же минуту замажь.

Замазали. Докладывають.

— Ладно, — молвиль. — Не скажу теперь майору. Думали — бредить, взглянули — духу нѣтъ... Такъ розыску и не было.

медвъжий уголъ.

Разсказъ.

Въ Зимогорской губерній есть увздный городъ Чубаровъ— глушь страшная.

Тому городу другого имени нътъ, какъ Медвъжій Уголъ.

Что за дорога туда! Ровная, гладкая— ни горки, ни косогора, ни изволочка,— скатерть-скатертью. Мъста сыроваты, но грунтъ хрящевикъ: цълое лъто ливмя лей, грязей не будетъ.

Не перероютъ чубаровску дорогу водоронны, не наплыветъ на нее съ боковъ текучей грязи и всякой мерзости, и въ рабочую пору разсыльный не выгонитъ на нее мужика, съ лопатой на плечъ да съ краюхой хлъба на пестеръ, верстъ за двадцать отъ дому — чинитъ путь-дорогу ради благополучнаго проъзда его превосходительства господина губернатора.

Благодарятъ Создателя мужики чубаровскіе, не больно обидна по ихнимъ мѣстамъ повинность дорожная. Зато скорбятъ, плачутся и Богу жалуются тѣ, кому судьба даровала жребій заправлять натуральными повинностями. Съ какой завистью, съ какой затаенной злобой смотритъ исправникъ чубаровскій на уѣзды сосѣдніе! Тамъ и глинка размывистая, и горы съ изволоками, и топи, и гати — и заготовка фашинника!.. Не столь попъ великому посту да богатому покойнику радъ, сколько рады въ тѣхъ уѣздахъ исправники октябрю мѣсяцу, когда расписаніе дорожныхъ участковъ составляется. А въ Чубаровѣ, въ этомь «чортовомъ болотѣ», не то что отъ расписанія, отъ самаго даже развода участковъ никакой поживы нѣтъ. «Плохой уѣздъ, алтынный уѣздъ!..» — говорятъ про него и въ губернскомъ правленіи и въ губернаторской канцеляріи.

Пытался исправникъ чубаровскій, Иванъ Алекстичъ Чирковъ, избыть біт неизбывную, пытался исправить біт не-

поправимую. Вздумаль дёло сотворить — и самому бы тепленько было, и кого нослѣ него дворянство въ исправники выбереть, номянулъ бы добромъ предмѣстника, панихиду-бъ отивлъ за

упокой души его. Не удалось...

Получаеть отъ губернатора предписаніе. Требуеть онъ «для государственныхъ соображеній, подробнаго и тщательнаго описанія дорогь почтовыхь, торговыхь, проселочныхь, какъ искусственныхъ, такъ и грунтовыхъ, съ показаніемъ удобствъ и неудобствъ оныхъ, какъ въ видахъ административной коммуникацін, такъ и въ отношеніи къ вящиему распространенію мвстной торговли и промышленности, представивь притомъ свои соображения о проложении новыхъ, болве удобныхъ путей сообщенія, въ видахъ общей государственной пользы». Иностраннымъ языкамъ Иванъ Алексичть не обучался, по-

тому «административной коммуникаціи» не разуміть, но на

«споспъшествованіи» придумаль штуку разыграть. Какъ дважды-два доказаль онь губерискому начальнику, что народъ объднялъ и промыслы упали, и въ торговлъ застой оказался, самое даже отечество бъдствуетъ единственно по той причинъ, что чубаровская почтовая дорога проложена не тамъ, гдъ слъдуетъ быть. Для «вящиаго преуспъянія и споспринествованія къ развитію» Ивань Алексвичь придумаль новую дорогу тамъ проложить, гдв самъ лешій подумавши ходить. Зато сколько мостовъ, сколько гатей!.. Всё эти топи, мочажины, болота, теперь лежащія впусть, не принося никому пользы, уже представлялись ему богатой оброчной статьей въ вид'в гатей, ежегодно перестилаемыхъ, мостовъ, каждый годъ перекраниваемыхъ. Во снѣ и наяву мерещится ему, какъ изъ вонючихъ, никуда негодныхъ болотъ прыгаютъ въ карманъ золотенькіе и сыплются пачки бумажекъ радужныхъ. Прекраснымъ, благодатнымъ мъсяцемъ сталъ для него холодный, дождливый октябрь!

Жидъ Мессію иль концессію на жельзную дорогу такъ ждетъ, какъ ожидалъ Иванъ Алексвичъ разрвшенія на свое представленіе. II вдругъ: «будетъ въ виду вашъ проектъ при общемъ соображени объ устройствъ грунтовыхъ дорогъ въ

государствѣ».

Ждетъ Иванъ Алексвичъ общаго соображенія, ждетъ, ждетъ, и вдругъ умираетъ, запарившись въ банв: русскій человысъ, по-русски и померъ. Былъ оплаканъ семьей, секретаремъ и становыми. Почесала въ затылкъ губернаторская канцелярія, сморщилось губернское правленіе; его превосходительство при всехъ изволилъ сказать: «Жаль — исправникъ былъ расторопный».

И приказаль въ губерискихъ видомостяхъ непрологъ его напечатать.

Прошло немало времени и послѣ блаженной кончины Ивана Алексвича, разрвшенія на представленіе не было. До сихъ норъ благодарять Создателя мужики чубаровскіе, что не обидна имъ повинность дорожная, до сихъ поръ скороять, плачутся, Богу жалуются ть кто въдаеть въ Чубаровскомъ увзяв натуральными повинностями.

Хороша дорога въ Чубаровъ, --- скатертью.

Подъ самымъ городомъ вдругъ стало меня немилосердно поталкивать. Чемъ дальше, темъ хуже. Заметало тарантасъ во всв стороны, того и гляди-на бокъ. Во весь опоръ скаикшоп акотам идашок вішави

— Что за дорога? — вскрикнуль я. Городская, — отвѣчалъ ямщимъ.

Такіе плоды преуспъянія городского хозяйства обыкновенны. Съ теривніемъ Іова ждаль я минуты, когда подъвду къ длинному, версты на полторы черезъ болото построенному мосту. Другой конецъ его упирался въ главную и единственную городскую улицу. Издали бълълась и свътлълась широкая гладь мостового полотна. «Ну, думаю, отдохнуть мон косточки».

Не туть-то было: ямшикъ своротиль направо и потащился тонкимъ болотомъ; колеса вязли по ступицу, добрые кони едва духъ переводили.

— Куда ты, куда ты? — крикнулъ я ямщику. — Ступай по

MOCTV.

— По мосту? Заказанъ. Вонь и шлахбанъ спущенъ. Въ самомъ дълъ, возят развалившейся будки былъ спущенъ ветхій шлагбаумь. Кром'в воронь, сидівшихь на перилахт, да квакавшихъ въ болоть лягушекъ, ничего живого вокругъ не было, но никто не дерзалъ, поднявъ шлагбаумъ, проъхать заповъднымъ мостомъ. Столь свято исполняются въ Зимогорской губерији начальственныя распоряженія. Губернія благонадежная...

— Отчего-жъ по мосту нътъ зды?

— Заказано. Казенный сталь, берегуть, — отвётиль ямщикь.

Зачѣмъ же его строили?

— Л губернаторъ навдеть, либо изъ набольшихъ кто.

— Давно-ль такіе порядки?

— Не такъ чтобъ давно, — отвъчалъ ямщикъ, помахивая кнутомъ надъ лошадьми... — Эхъ, вы, голубчики, ну, ну, ну-у!.. Съ самыхъ съ тъхъ поръ, какъ мосты да дороги на земство поворотили и зачали ими алхитехтуры заправлять... Эхъ, вы, ну, ну!.. А прежде дорога и здась была знатная, и по мосту фадили вса невозбранио... Ну, ну, соколики!

— Отчего-жъ запретили по мосту вздить?

— Кто ихъ знаетъ?.. Такіе порядки!.. Эхъ, ну, ну, вы!.. Кормиться тоже и алхитехтурамъ надо, безъ того нельзя!.. Эхъ, вы, матушки, вывози, вывози, поштенныя!.. 'Бсть - пить всякому надо... Только нашему брату совсѣмъ бѣда!.. Глядь-ка. кака маята конямъ-то!.. Ну, тащи, тащи, соколики!.. А прежде алхитехтуровъ да анженеровъ слыхомъ не слыхать!.. Эхъ, ну, ну, вы!

Мучимые комарами, что толклись надъ болотомъ, съ полчаса промаялись мы. Пробажая мимо моста съ тоненькими, старенькими стойками, понялъ я расчетъ строптелей. Сдълавшись съ подлежащей властью, то-ль еще творятъ они по глухимъ мъстамъ, такія-ль еще бъды строятъ народу Божьему!

А все больше поляки да нѣмцы.

Въ Медвѣжьемъ Углу гостиницъ нѣтъ. Привезли меня къ Абрамовнѣ, что содержитъ единственный въ городѣ постоялый дворъ. По счастью, нашлась порожняя горенка; тамъ кой-какъ я расположился. Объ удобствахъ рѣчи не было, и

ва то слава Богу, что комнатка нашлась.

Не успѣлъ оглядѣться, какъ услышалъ спльнѣйшій храпъ. Кто-то рядомъ отдыхаль въ часъ полуденный. Богатырскіе звуки неслись изъ сосѣдней горенки, куда вела растворчатая, спльно покоробленная и не очень плотно затворявшаяся дверь. Она была заперта чернымъ, рѣпчатымъ замкомъ ;) на двухъ кольцахъ. Вошла здоровенная дѣвка въ засаленномъ, темноспнемъ, китаечномъ сарафанѣ, пестромъ сптцевомъ передникѣ и сильно поношенномъ шелковомъ платкѣ на головѣ.

— Самоварчикъ вашей милости не поставить ли?

— Какой теперь самоваръ!.. Кто это у васъ такъ похрапываетъ?

— А Гаврила Матвѣнчъ, — отирая передникомъ потное лицо, отвѣчала работница Абрамовны.

— Какой Гаврила Матвенчъ?

— А Уткинъ Гаврила Матвѣнчъ. подрядчикъ, — отвѣчала работница, удивленная моимъ незнаньемъ такой знаменитости. — Острогъ строитъ, наѣзжаетъ за работой приглядѣтъ. Завсегда у Өедосьи Абрамовны становится.

— Купецъ? — спросилъ я.

— Какъ вашей милости сказать? Не больно разумью я

^{*)} Черный. т.-е. жельзный впсячій замокъ. Ръпчатый — наподобіе сплюснутаго шара, рыпой.

отвѣтить-то... Купецъ, надо быть, — молвила работница. — Пишется деревни Бѣлавки удѣльнымъ крестьяниномъ, вотъ недалече отсель деревня Бѣлавка есть. Тамъ и домъ у него, и крупчатка о четырехъ поставахъ, фабрику недавно полотняную поставилъ въ Бѣлавкѣ-то. Самъ-отъ больше по губерніи проживаетъ. По всему какъ есть купецъ. По свидѣтельству что-ль какъ-то торгуетъ, не умѣю сказать доподлинно: наше дѣло женское — до всякой точности не доходимъ. Да вы дальній, видно?

- Дальній.
- То-то.
- А почемъ ты узнала, что дальній я?
- А Гаврилы-то Матвѣича не знаете. Его всѣ знають. II начальство и большіе господа.
 - Вотъ какъ!
- Да-а... Гаврилу Матвѣнча всѣ знають... Такъ самоварчикъ не потребуется?
 - Нътъ, не потребуется.
 - Ну ладно.

Ушла. А храпъ Гаврилы Матевича громче да громче раздавался по моему «покойчику». Силъ не стало, и хоть жаръ еще не свалилъ, хоть и усталъ я съ дороги, но—не слыхать бы этого храпу, пошелъ смотрвть на Медевжій Уголъ.

Городъ какъ городъ. Каменный соборъ на грязной, немо-щеной базарной площади, нескончаемые заборы, незатъйливой наружности бревенчатые домики, дырявые тротуары, заваленные всякой гадостью и травой поросшія улицы, каменныя присутственныя мёста, развалившаяся больница, ветхій навъсъ съ пустыми разсохинимися бочками, съ испорченными пожарными трубами, — словомъ, то, что каждый видалъ не въ одномъ десяткъ русскихъ городовъ. Не по торговымъ иль промышленнымъ надобностямъ возникали наши Чубаровы... При учрежденій губерній ткнули пальцемъ на карть, сказали: «быть городу», и сталь городь. Оттого тыль городамь и чужда городская жизнь. Сколь бы ни хлопотали о хозяйствъ «медв'єжьихъ угловъ», какіе-бъ ни сочиняли инвентари ихъ имуществъ, какія-бъ ни производили изследованія, какъ бы затыйливо ни составляли росписи доходовъ и расходовъ, по силь коихъ, безъ разръшенія высшаго начальства, лишней метлы купить нельзя, — «медвѣжьи углы» на вѣки вѣчные останутся «медвѣжьими углами». Зато сёла, что на бойкихъ, привольныхъ мъстахъ построены, запросто, какъ Богъ послалъ — съ

^{*)} Вь губернскомъ городъ.

каждымъ годомъ богатѣютъ, каменные дома въ тѣхъ селахъ что грибы растутъ, клинтъ торговля, заводятся училища, больницы, даже библіотеки. Иваново, Павлово, Лысково, Кукарка, — сравните съ ними «медвѣжьи углы»... Гдѣ городъ,

гдѣ деревня?..

Въ полчаса весь городъ узналъ. Ни единой живой души, ни единаго звука, ровно чума прошла, ровно вымеръ Чубаровъ... Спитъ, илотно пообъдавши, Медвъжій Уголъ. Изъгорода, спящаго сномъ временнымъ, пошелъ я въ городъ спящихъ непробуднымъ сномъ. Тамъ, средъ простыхъ крестовъ и голубцовъ, виднълись кой-гдъ камениые памятники да обитые жестью столбики, строенные по правиламъ доморощеннаго зодчества... Читаю падгробныя надписи. Кромъ изреченій изъсвященнаго инсанія, встръчаются другія.

"Подъ камнемъ симъ лежитъ коллежскій секретарь Котовъ, "Рожденъ былъ отъ дворянъ, отечеству служить готовъ, "Отецъ дътей невинныхъ и плачущей вдовы супругъ, "Въ жизнь добродътеленъ, онъ умеръ вдругъ,

"Не могши избъжать той горестной судьбины, "Чтобъ не вкусить грозящей намъ кончины".

Вообще надписи длинноваты! Съ надлежащей подробностью означается, за сколько лѣтъ пиѣлъ покойникъ безпорочную пряжку, сколько лѣтъ оставалось ему дослужиться до слѣдующаго чина, и что подъ судомъ и слѣдствіемъ не находился... Чубаровскіе покойники ранга невысокаго: коллежскіе секретари, титулярные совѣтники, есть майоръ... Однако нѣтъ! позвольте — вотъ памятникъ знатнаго человѣка:

"Подъ симъ камнемъ погребено тъло дъйствительнаго тайнаго совът-"ника, Россійскаго Императорскаго Двора оберъ-камергера, россійскихъ "орденовъ Святаго Апостола Андрея Первозваннаго, Святаго Благовър-"наго князя Александра Невскаго и Святаго равноапостальнаго Князя "Владиміра 1-го класса, прусскаго Чернаго орла, датскато Слона и швед-"скаго Серафимовъ, князя Алексъя княжь Михайловича (фамилія стер-"лась)... двороваго его человъка Полуехта Спиридонова".

Возвращаясь съ кладонща, ношель я къ острогу. Рабочіе высыпались и косно брались за работу. Въ ямѣ съ известкой два парня о̂езъ толку болтали весёлками, работа не спорилась, известка сваривалась въ комья. Гъ неумѣлымъ подошелъ крънкій, коренастый, невысокаго роста старикъ. Хоть и стояли іюльскіе жары, на немъ была надѣта поношенная, крытая синей крашениной шубенка, а на головѣ мѣховой малахай.

— Эхъ, вы, горе-ребята!.. — молвиль онъ. подойдя къ известковой ямъ. — Замъсить-то, пострълы, путемъ не умъете!... А туда-жъ каменщики!.. Эхъ, вы!.. Дай-ка весёлко-то.

II, взявши весёлко, старикъ такъ пошелъ работать, что мо-

лодому бы впору.

— Эхъ, ты, яма, матушка!..— онъ приговаривалъ. — Хозянна дождалась!.. Смотрите, горе-ребята, гляди, какъ мѣсить слѣдуетъ. Вотъ какъ, вотъ какъ!.. А вы что?.. Кисельники!.. Гляди-ка ты!.. Вотъ какъ, вотъ какъ слѣдуетъ!.. А тоже каменщики!.. Эхъ, вы, горе!..

Да сразу и замъсилъ.

-- Ванюха!.. Для че перекладину-то мало запущаешь?.. Какая туть прочность будеть?.. Не на одинь годь строится... Глубже пущай.

 Алхитехтуръ такъ велѣлъ, Гаврила Матвѣичъ, отозвался подмастерье, прилаживая перекладину надъ воротами.

— Знаетъ илѣшиваго о́ъса твой алхитехтуръ!.. А лѣтъ черезъ иятъ стѣна трещину дастъ, тогда твоего алхитехтура ищи да свищи, а мнѣ отъ начальства остуда... Надо, Ванюха, всяко дѣло дѣлатъ по-божески... Пущай, пущай-ка ты ее

глубже. Пущай!...

И вездѣ, во всѣхъ мелочахъ зоркій глазъ Гаврилы Матвѣича мѣтко слѣдиль за работой. Во всѣхъ его распоряженьяхъ виденъ быль не такой подрядчикъ, къ какимъ всѣ привыкли. Не хотѣлось ему строить казеннаго дома на живую нитку: начальству въ угоду, архитектору на подмогу, сеоѣ на разживу, а развалится послѣ свидѣтельсгва, чортъ съ нимъ: — слабый грунтъ, значитъ, вышелъ, — вина не моя, была воля Божія.

Заговориль я съ Гаврилой Матвенчемъ. Сначала старинъ не больно распоясывался, кинетъ нехотя словечко и пойдетъ покрикивать на Ванекъ да на Гришекъ. По когда я назвалъ себя старику, онъ спросилъ меня:

— Не про тебя-ль, баринушка, слыхаль я отъ нашего управляющаго, отъ Ивана Владимірыча?

- Можетъ статься. Знакомъ съ нимъ.

— Такъ и есть... Слыхаль про тебя. Знаю, что **Пванъ** Владимірычу ты пріятель, значить, человѣкъ хорошій, худого человѣка онъ не похвалить.

— Спасибо на добромъ словъ, Гаврила Матвънчъ. Стало-

быть, довольны вы Иваномъ Владимірычемъ?

— Неча и говорить!.. На начальство-то не похожъ, воть каковъ человъкъ!.. Одно слово: человъкъ-душа. И всяку крестьянску нужду знаетъ, ровно родился въ банъ, выросъ на полатяхъ. И говорить-то по-нашему, по-русски то-есть, не какъ ппые господа, что ихней ръчи и въ толкъ не возьмешь. Всяко крестьянско дъло знаеть, а законъ даетъ по правдъ да

по любви. Такой баринъ, что живи за нимъ, что за каменной ствной, самъ только будь хорошъ да поступай по правдъ да по любви.

— Подрядами занимаешься?.. — спросиль я.

— И подрядами маленько займуюсь. — отвѣтилъ Гаврила Матвѣичъ. — Да пропадай они, эти подряды!.. Бѣдовое, баринъ, дѣло.

— A чтò?

— Да что!.. Обиды много, толку мало... Извѣстно — дѣло казенное, каждому желательно руки погрѣть. И казну забижають, и нашего брата не забывають. Не приведи Господи!

— Кто-жъ?

- У кого глаза во лбу да руки на плечахъ. Ланивый только обиды теба не сдалаетъ... Слышь ты, Митрей! Клади кирпичъ-отъ ровнай. Гда у тя глаза-те? Эхъ, ты, голова съ мозгомъ!
 - А вѣдь мы съ тобой, Гаврила Матвѣичъ, сосѣди.

— Какъ такъ?

— Вѣдь ты на постояломъ?

— У Абрамовны.

— И я тамъ же. Рядомъ съ тобой.

- Cur-йO —

— Да.

— Такъ пойдемъ вифстф ко дворамъ-то. По пути будетъ.

— Пойдемъ, Гаврила Матвѣичъ.

Весь вечерь просидёль я со старикомь. Сначала быль онь не очень разговорчивь: хвалиль Ивана Владимірыча, толковаль про обиды, а въ чемъ тѣ обиды — не сказываль. Иодь

конецъ разговорился.

— Казенное дѣло, — сказалъ онъ, — оттого дорого, что всякъ человѣкъ глядитъ на казну, что на свою мошну: лапу запускаетъ въ нее по-хозяйски. Казной корыстоваться невпримъръ способнѣй, чѣмъ взятки брать... Съ кого взялъ, тотъ, пожалуй, «караулъ» закричитъ, а у матушки казны нѣть языка... За то ее и грабятъ.

«Завели счеты да повърки, думають руки связать!.. Какъ не такъ! Съ тъми счетами казну грабить сподручнъе, потому что по счетамъ концы схоронить ловчъй, а на повърку не ангеловъ Божьихъ посылаютъ... Какой человъкъ рыло отво-

ротить, когда ему въ зубы калачикъ сують?.. А?

«Постройку взять. Этой частью сызмальства займуюсь. Мальчишкой кирпичъ на лъса таскаль, потомъ въ артели быль, а по времени. Богъ благословилъ, хозяиномъ сталъ... Эту статью знаю вдосталь. Въ прежни годы, баринушка, по этой части совъсти было больше. Нынче не то. Въ прежнито годы на всю губернію алхитехгуръ одинъ, а нынче глядика что ихъ развелось. А прівзжаеть все голь и вся-то эта голь хочеть скоръй наживы. Анжинеръ хуже, для тоге, что анжинеръ форсистье. Онъ, видишь ты, съ аполетами — значитъ, ему денегь больше надо.

«Смѣту составятъ. Городничій аль полицмейстерь заодно. Дають справочны цены внятеро выше базарныхь, а урочное положение — дъло широкое: карасей ловить можно. Нарочно такъ и писано... Такую сострянаютъ смѣту, что на смѣтны-то деньги, замъсто одного дома, два либо три выстроишь. Послъ торговъ, когда желающіе обозначатся, анжинеръ и шлеть за тобой, говорить: «Ты, оорода, помни, что десять процептовъмон: это ужъ такъ вездъ по казеннымъ дъламъ, да окромътъхъ десяти «казенныхъ» давай еще десять процентовъ «строительныхь». Не дашь, въ гробъ законопачу, залоги твои пропалуть». — «Какъ же, ваше благородіе? — молвишь: — не сходно вѣдь?»—«Сходно, говорить, будеть, чорть ты этакій, для того, что сверхсмѣтны работы тебѣ предоставлю. Исполнять ихъ тебъ не придется, а деньги, что получимь за нихъ, пополамъ. Своей половиной ты все наверстаешь. А контракть подиншешь, пять процентовь тотчась неси, такъ дело будеть верньй». Какъ быть? Подрядчикъ завсегда у него въ рукахъ: можеть онь тебя на первомъ же дёлё, на свидетельстве матеріаловъ, такъ прижать, что жизни не будешь радъ. Въ разоръ разорить — самъ-оть чисть выйдеть, еще кресть за сохранение казеннаго интереса возьметь, а ты со своимъ усердіємь да дурацкой простотой купайся. Поэтому хошь на торгахъ и сносишь цену, да сносишь такъ, чтобъ двадцать алхитехтурскихъ процентовъ не изъ своего кошеля вынимать, да чтобы не изъ своихъ денегь и полицмейстеру заплатить, потому что и онъ притеснение можетъ сделать, потому и должонъ ты его задарить».

- Полицеймейстера-то зачѣмъ же задаривать, Гаврила Матвѣнчъ? Не его дѣло.
- Подрядчикъ завсегда въ его рукахъ: всякій часъ можеть онъ ему пакости сдълать. Рабочихъ со стройки сгонитъ: «табельный, дескать, день сегодня». Табели-то хоть и нѣтъ, да ужъ это его дѣло: какую табель захочеть, таку и нагонитъ. Перо да бумага въ его рукахъ, а мы люди хоть мятые, а дѣло-то наше все-таки темное. И строительная комиссія для чего-нибудь да сдѣлана... И въ ней люди иить ѣсть хотятъ. Не ублаготворишь: изобидятъ за всяко просто, да такъ, что

дома не скаженься. Поэтому на торгахъ и комиссію на памяти держинь, чтобъ и ей не изъ своего кошеля вынимать. да еще объды: при заклады объдъ, при освященые другой. Туть все начальство зови, губернаторского новара найми беть того нельзя: другого не смъй нанимать. Полицмейстеръ съ генеральской дворней завсегда другъ-пріятель, споконъ въку ведется такъ. Потому и зови повара губернагорскаго, а торговаться не смѣй, не то полицмейстеръ такую тебѣ табель загнеть, что после не вспомнишься... Обедь же для такого случаю нужень зазвонистый, со всякими, значить, фруктами, съ бакалеями и со всъмъ, какъ оно есть... А благословясь за работу, алхитехтуръ на стройку къ тебъ пожалуетъ. Пора . гатняя, жарко, упарится. «Мочи, говорить, нать; давай холодиенькаго». А «холодиенькое» означаеть шампанское, подавай бутылочку въ три цълковыхъ. Наведеть пріятелей, и полдюжиной не управишься. Квартальному надо почесть сдалать, хожалаго уважить, будочниковъ обдарить. Счетецъ-отъ и выйдеть кругленькій, оттого на торгахъ и нельзя сносить. Какъ ни вертись, тридцать пять процентовъ безпремвнио по рукамъ разойдется, себв барыша хоть двадцать процентовъ надо, воть тебъ и пятьдесять пять. А кому на шею?.. Казнъ.

«Про стройку тебѣ говорю, а еще лучие — земляны работы: землю то-есть надо гдъ срыть, аль набережную сдълать, откосъ, либо дамбу. Урочно-то положеніе, сказаль я тебф, дьло широкое, торговъ на большую земляну работу въ обръзъ сдълать невозможно, для того, что сквозь землю не видно, на какой грунтъ попадень: единому Богу извъстно. А копать песчаный, примъромъ, грунтъ — одна цёна, глину — другая, каменистый — во много разъ дороже. Иопадешь на песчаный, а приставленный анжинеръ отписываеть да деньги изъ казны беретъ за каменистый. Оно, значить, и можно деревеньку куинть. Повърять пришлють ихняго же брата: въ одномъ мъсть учились, однокашники — всв на одномъ стоятъ. Напонтъ, накормить навзжаго, бараніка въ бумажкв сунеть товарицу, несокъ за камень пойдеть. Да какъ и поверять-то? Въ одномъ мьсть землю вынуть, въ другомъ ее насыпять — не копать же стать сызнова. А что столонками-то землю ради новърки оставляють, такъ не хитрое дело лицевой столбикъ изъ какого хошь грунта сдълать. На это ихияго брата только и взять... Доточный народъ, ученый народъ.

«А гордіаны какіе, не приведи Господи!.. Самый то-есть неподходящій народъ... Быль у меня літось подрядь въ Зимогорсків, откось на Покровскомъ съївдів ділали, работами распоряжался Николай Оомичь, Линквисть прозывается: не то изъ ивмцевъ, не то изъ крещеныхъ жидовъ, хорошенько сказать не умвю. Надо быть, изъ выкрестовъ... Вотъ ужъ человвчекъ!.. Такъ и норовитъ оборвать тебя всячески... Слова другого отъ него не услышинь, какъ «мошенникъ», да «борода», да «каналья». Самъ взятку принимаетъ, а мошенникомъ обзываетъ тебя... Да то и двло твердитъ: «Стану я подлостями заниматься? Я ввдь, говоритъ, не черинльная душа... Насъ, говоритъ, аполетами да усами пожаловали, значитъ мундира маратъ нельзя». Да!.. у мундира-то явыка ивтъ, а то бы на весь народъ закричалъ: «шили меня, братцы, на крадены денежки!..»

«Ославлены становые съ квартальными, а тѣ невпримѣръ добрѣй, потому что, хоть бы Николай Өомичъ — и казну грабитъ и отъ взятки не прочь, только воруетъ да взятку береть съ гордостью; и обругаетъ тебя бравши, а подъ ньяну руку и поколотитъ. А тѣ люди простые, поступаютъ по-христіански: сорвать сорвуть, да и доброе слово молвятъ, у тебя

на душф-то и полегче.

«Стоить, баринушка, посмотрёть на Николая Оомича, оченно стоить... Посмотри, какъ будешь въ Зимогорскѣ. Ходить гоголемъ, смотрить звѣремъ, воруетъ какъ волкъ, передъ набольшимъ лебезить ровно полякъ. — А ужъ вреть какъ, обманываетъ!.. Ни на грошъ въ томъ человѣкѣ правды нѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ посмотри, стоитъ поглядѣть: забавный, право, забавный.

«А на выдумки хитрый! Взялъ я однова подрядъ: на шоссейну дорогу камень для ремонту выставить, разбить его. значить, и въ сажёнки укласть. Двадцать тысять подрядился выставить, на цѣлую, значить, дистанцію, а дистанціей заправлялъ Инколай Фомичъ. Шлетъ за мной Юську, солдатажиденка, что на вѣстяхъ при немъ былъ. Прихожу. Лежитъ мой Николай Фомичъ на диванѣ, куритъ цыгарку, кофей расинваетъ: только завидѣть меня, накипулся аки оѣсъ и почалт ругать-ругательски, за што про што — не знаю.

«— Ты, говоритъ, чортова борода, подрядъ-отъ на камень

- «- Точно такъ, говорю, ваше олагородіе, мы-съ.
- «-- А знасшь ли, говорить, что ты теперь весь въ монхъ рукахъ? Захочу — по-міру пущу, на весь вѣкъ несчастнымъ сдылаю. Въ Сибирь могу сослать!.. Въ острогѣ насидишься!.. Руду будешь копать, каналья ты этакая, спину на площади вздують.

«А самы подыважаеть. Такъ и поровить въ рожу, и кулаки наготовв.

«Это онъ, знаешь, страху напущаеть. Такая ужъ у нихъ поведенція.

«A я:

«— Да ты, говорю, ваше благородіе, лучше скажи, что требуется... Для че по пустякамъ кричать!.. Кровь портишь. Неченка неравно лопнетъ...

«- А того мнв требуется, ореть, чтобъ зналь ты, мошенникъ этакій, что я твое начальство, чтобъ не сміль ты, поганая бестія, изъ воли моей выходить ни на капельку.

«— Какъ же, говорю, нашему брату изъ воли начальства выходить? Всякое начальство отъ Бога, это мы знаемъ.

- «— То-то и есть, говорить. Ты у меня, чортова бо-рода, гляди вь оба да ходи по стрункѣ, не то въ бараній рогь согну. Сколько, распротоканалья ты этакая, камню поставить взялся?
 - «— Двадцать тысячъ, ваше благородіе.

Двѣ тысячи ставь, а за восемнадцать деньги миѣ подай.
 Какъ же такъ, говорю, ваше благородіе? Пріемка вѣдь

«- Самъ, говоритъ, принимать стану. А уминчать будешь, по-міру, каналью, пущу да въ придачу двѣ шкуры спущу. «Что станещь дѣлать? Человѣкъ хоша небольшой, а управы

надъ нимъ иѣтъ. Поставилъ двѣ тысячи, разбилъ. Николай в атален жидятамъ саженокъ изъ глины надалать велать да битымъ камнемъ и обложилъ ихъ. Жида на то взять, обрядитъ дъло, иголки не подточишь. По времени изъ округа начальство набажаеть: скачеть по шоссе сломя голову, само сажёнки считаетъ. Всѣ налицо. Говоритъ начальство Николаю Омичу: «спасибо за хлъбъ за соль, а щоссе у тебя исправно». Другое начальство скачеть изъ самаго Питера, тоже сажёнки считаеть: всв налицо, чинъ Николаю Оомичу, крестикъ въ петличку. По времени, сталъ онъ глиняны сажёнки раскидывать, а самъ отписываеть: на ремонть, дескать, камень весь изошель. А чтобъ шоссе-то не оольно портплось, круглый годъ у него полдороги бревнами заложено: чинять, дескать. Только и снимуть бревна, какъ начальству профхать, а обозниковъ въ шею; да еще выпорють, коли вздумають артачиться... Здешній-оть мость видель?...

— Видать-то видаль, а фадить не фадиль.

— Заказанъ. Инколай же Оомичъ заказалъ. Ему была та работа поручена, а подрядъ за мной оставался. Велълъ старый мостишко выстрогать, покрасить, да на старыхъ же стойкахъ и поставить. Съ городинчимъ поладилъ... Вотъ теперь третій годъ ши коннаго ни пѣшаго, опричь начальства, по мосту не пущають. На тоть годь думають, слышь, пускать, ради ремонта, значить: ну, тогда хоть и провалится кто, ничего: урочный срокъ вышель — значить, все въ порядкѣ... А по веснѣ можно наведненіе прописать: снесло, дескать, мостъ волею Божією. Бумага все терпить. А послѣ того Николаю

же Оомичу и новый-отъ мость строить дадуть.

«А съ какой работы барышей нельзя получить, на ту Николай Өөмичъ и не двинется. Гори, тони народъ, — ухомъ не поведеть. Въ здвиней губерийи городъ Мухинъ есть, стоить на горѣ надь Волгой. Гора — страсть: стоймя стоить, а народъ еще сызстари ухитрился нальнить по ней домишекъ, живеть въ нихъ, и горя ему мало. Случается, что иной домъ въ Волгу събдеть, да мухинцамъ это ни почемъ: поохають, повздыхають, да на томъ же мъсть новы дома почнуть льинть. А Мухинъ хоть на Волгь, а городъ безъ воды. За водой на Волгу ходить неспособно: гора крута, а родникъ во всемь городу одинъ. Еще въ стары годы тотъ родинкъ обрядили, а по улицѣ, что подъ гору идеть, деревянну трубу въ землѣ заложили, да ключъ-отъ въ нее и пустили. Чанъ врыли ведеръ ста въ три, вода-то въ него и стекала, и никогда въ томъ чану не переводилась. И на домашнюю потребу, и на случай Божія насланія, въ пожарное то-есть время, всегда было ея довольно. Такъ и жили мухинцы льтъ сто, коли не больше, попросту, безъ затъй. Мало-по-малу труба засорилась: двло не мудреное. Видять мухинцы городску нужду, приговоръ составили, опредълили трубу починить и чанъ новый врыть на счеть обывателей. Сдълали смъту всего-то въ восемь съ полтиной. А хотя, по закону, городское общество и само можетъ такую дешевую постройку дълать, только этого сдълать певозможно, потому что начальство обижается, а обидывшись однимъ, на другомъ наверстаетъ. Оттого дума обо всякой постройкв, хотя-бъ она кусанаго греша не стоила, губернскому правленію рапортуєть. Такъ и ві Мухинъ сдълали. Въ губернскомъ правленіи ихиюю бумагу прочиталъ регистраторъ, да и то съ налету. Видитъ, но строительной части, доложили, слушали, приказали: позаслать въ строительную комиссію. Тамъ свой журналь слушали и приказали капитану Линквисту, отправясь на мъсто, освидътельствовать происшедшую въ мухинскомъ «городскомъ водопровод в» порчу и представить свои соображенія о лучшемъ устройствів того водопровода. Посмотръль на бумагу Николай Өомичь, да какъ увидаль, что всейто благодати на восемь съ полтиной, илюпулъ даже на нес, да еще промолвиль: «не тому у насъ въ корпуст обучали, чтобъ такой дрянью заниматься».

«Проходить годь, прівзжаєть въ губернію мухинскій голова. Какъ водится— поклоны да подносы пужнымъ людямъ. Завернулъ и къ Николаю Оомичу, Христомъ Богомъ проситъ его дъломъ о чанъ посившить: «Вода въдь совевмъ не бѣ-житъ, ваше благородіе. оборони Господи— пожаръ, до тла сторимъ». Какъ накинется на него Инколай Оомичъ! Обругалъ на чемъ свътъ стоитъ и потребовалъ триста цъковыхъ благодарности. Номилуйте, — говоритъ голова: — вѣдь это дѣло илевое, всего-то восемь съ полтиной. Нельзя-ль подешевле?» Какъ зарычить, какъ затопаеть Ипколай Оомичь: насилу голова и ноги уплелъ... Еще годъ проходитъ, труба совсѣмъ засорилась, въ чану, какова есть капля воды, и той не стало... Еще годь прошель — по улиць вода стала землю пучить, а туть почтовый тракть пролегаеть. Изрыла вода дорогу такъ. что и способу и ыть. До губернатора жалобы отъ проважающих в стали деходить, городского голову за нерадбије отъ службы удалили. Тоть, извъстно дело, радь-радехонекъ, для того, что служба торговому человѣку хуже горькой рѣдьки. Сто цЬлювыхъ Николаю Өомичу свезъ, думаль, знаешь, что отъ него это произошло. Тоть, инчего, взяль... Еще годь, другой проходить. Мухинды безь воды волюмь воють, а ему нашевать. Сыскались охотники изъ мъщанъ сами трубу вычистить. въ Сибирь чуть не угодили: такую статью подвели. что еле-еле откупились. Прізвжаль въ Мухинъ и губернаторь, посмотрѣлъ и сказалъ: «надо починить».

«Обыскался чедвёдь поблизости Мухина. Пали слухи въ губерніи. А Николай Оомичь на медвёдя охочь быль ходить: какъ заслышаль, такъ и поскакаль «по дёлу о водопроводё». Медвёдя застрёлиль, водосточной трубы въ глаза не видаль, для того, что зима была, а изъ городскихъ доходовъ прогоны взяль туда и обратно. И медвёдя въ губернію на городской счеть въ особыхъ саняхъ везъ: ёхалъ Мишка поль видомъ

инструментовъ.

«Донесъ Николай Оомичъ: такъ и такъ, «Ездиль въ городь Мухинъ «по дѣлу о водопроводѣ», дѣлалъ нивеллировъу, грунтъ нашелъ слабый. подземными ключами размываемый, рѣкою Волгой подмываемый, совсѣмъ ни на что неспособный; потому деньги за сондировку и нивелировку, полтораста рублей, въ уилату рабочимъ нзъ моей собственности удержанные, покоривйне прошу возвратить откуда слѣдусть, а для благосостоянія города Мухина и для безопаснаго и безостановочнаго слѣдованія по большой дорогѣ казенныхъ транспортовъ и арестантовъ, а равно проѣзжающихъ по казенной и частной надобностямъ, необходимо мухинскую гору предварительно укрѣпить и потомъ уже устроить водопроводъ для снабженія жителей водою». «Новаляли бумагу по разнымъ мѣстамъ, съ годъ времени

поваляли, полтораста рублей велёли Ливквисту изъ мухинскихъ доходовъ выдать, а ему приказали смёту составить на

укрвиление горы и на устройство водопровода.

«Составилъ же Николай Оомичъ смъту — чуть не миллонъ пасчиталъ. Десятокъ-другой такихъ городовъ, каковъ Мухинъ, со всѣми ихъ потрохами продать, такихъ денегъ не выручинъ. А дѣло-то, помни, на первыхъ порахъ было въ восемь съ полтиной. Хорошо видно. планы да смѣты сдѣлалъ Николай Оомичъ, награда вышла ему... А мухинцы ни водопровода ни чана съ водой до сихъ поръ и во снѣ не видали... Живи, какъ знаешь, чинить не смѣй. Дѣло заглохло, улицу совсьмъ разрыло, дома три повалило, а какъ лѣтошный годъ на самый Петровъ день случился пожаръ: весь городъ и выдрало. Слъдствіе сдѣлали. Вышло, что загорѣлся Мухинъ отъ воли Божіен, а виновнымь никто не состоитъ. Въ пользу погорѣвшихъ подписку сдѣлали, и Николай Оомичъ чуть ли не первый два цѣлковыхъ подинсалъ: губернаторина сопрала — нельзя...

«Не могу сказать, какъ по другимь мъстамь, а въ нашей губерніи всякое казенно строенье дълается на живу нитку. Поживы-то хочется побольше, потому и желъзда поубавять, и ьпришчекъ непережженый поставять, и балку положать покороче. Барышъ двойной: и отъ стройки перенадетъ и ремонту

но скорости потребуется.

«Воть отчего казенная стройка въ дорогую цѣну обходится и завсегда бываеть непрочна. Про другія мѣста не знаю, а у насъ всѣмъ на виду, что случилось. Пятнадцати лѣть не прошло, какъ большія работы въ губерній были: не одинъ милліонь въ землю засацили, городска казна до сихъ поръ гряхтить: городь въ долгу, какъ въ шелку. А на все, что было въ тѣ поры построено — глядѣть горько: губернаторскій домъ снизу доверху трещину даль, скоро подъ гору поѣдеть, казармы развалились, откосы обсыпались, съѣзды завалило, оть набережной слѣда не осталось. Двѣ церкви стариннаго дѣла разсыпались, кремлевская стѣна свалилась, а стояла болѣе грехъ сотъ головъ... Надо бы было въ горь родники отвести. Ихъ не отвезли, зато у строителей деревеньки явились: солдаты, что киринчъ караулили, и тъ домишки ссбъ построили.

«А вы стары годы не гакъ строили. Видълъ ли, баринушка. соборъ у насъ въ губерніи? Пятьсотъ годовъ стоитъ, хоть бы трещину малъ: сводъ на немъ хоть въ заможъ сведенъ, да завершень осиновымъ коломъ. И держитъ тотъ колъ церковиьй сводъ шестую сотию тодовъ, и стоитю тотъ сводъ ровио изъ чъди вылитый. Въ старину-то въдъ хигрости да учъбъя было номеньше, зато совъсти было побольше».

НЕПРЕМЪННЫЙ.

Разсказъ.

Живя въ богоспасаемомъ градѣ Бобылевѣ, познакомился я со всѣми его обывателями, отъ городничаго и соборнаго протопопа до сапожника Абросима и коллежскаго секретаря Маурина, что состоялъ подъ надзоромъ полиціи «за нѣкоторые дебоши въ одномъ изъ столичныхъ городовъ россійской имперіи», какъ онъ выражался.

Хаживаль по мив Андрей Тихонычь Подобвдовь — «непремвиный». Это значить непремвиный засъдатель земскаго суда. По увздамь, съ учреждения становыхъ, вывелось старинное слово «засъдатель», и непремвинаго засъдателя земскаго суда

стали звать просто «непремѣннымъ».

Это было илъшивенькое, коренастое созданіе, въчно въ форменномъ съ гербовыми пуговицами сюртукъ и въ мухояровыхъ панталонахъ. Добръйшій быль человъкъ, всякому старался услужить, а къ службъ до того быль усерденъ, что хворалъ только въ табельные дни. Что всего замъчательнъе — не пилъ.

Опъ изъ старинныхъ столбовыхъ, но захудалыхъ, мелкопомѣстныхъ дворянъ. За отцомъ его по иятой ревизіи въ Д. губерніи было записано двѣнадцать душъ крестьянъ. Съ течепіемъ времени имѣніе его «пропало безъ вѣсти».

- Затерялось-съ, затерялось, съ грустью и глубокими вздохами говаривалъ Андрей Тихонычъ. А теперь, пожалуй, душъ двадцать пять народилось бы. Такое ужъ несчастье!.. Слъдовъ отыскать не могу. Пропали души, да и все тутъ.
 - А земля-то куда-жъ дъвалась, Андрей Тихонычъ?
 - II земля затерялась...
 - А документы?...

- II документы затерялись... Такъ-таки все затерялось. Что станень двлать? Видно, ужь на то воля Божія.
 - Что-жъ вы не хлонотали?
- Два раза пробоваль, да толку не выходило. На гербовыя только истратился. Еще, слава Богу, по манифесту простили. Не то просто бѣда разориться бы могь. Воть вы, Андрей Петровичь, въ Истербургѣ служите, стало-быть, все знаете... Скажите Бога ради. не предвидится-ль по скорости милостиваго манифестика?

Кто-жъ это, кромѣ государя, можетъ знатъ?.. А вамъ что?
 Да еще бы разокъ попробовълъ: авось вывезстъ. А не вывезетъ, такъ по крайности тъмъ бы былъ спокоенъ, что

гербовыхъ не привелось бы платить.

Родитель Андрея Тихоныча служиль, по выбору дворянь, въ земскомъ войскѣ 1807 года и потому посилъ золотую медаль на владимірской ленть, мундиръ съ малиновымъ воротникомъ и шляну съ зеленымъ перомъ. Служилъ въ Бобылевѣ по выборамъ до смерти, а умеръ безъ гроша. Въ наслѣдство Андрею Тихонычу, кромѣ безъ вѣсти пропавшихъ двѣнадцати душъ, достался домашній скарбъ, турецкій кинжалъ, ружье Лебеды да ста полтора книгъ екатерининскаго времени. большею частью разрозненныхъ. Тихонъ Алексѣнчъ Подобѣдовъ жалѣлъ народъ, оттого и померъ нищимъ. Зато крестьяне всего Бобылевскаго уѣзда служили по немъ панихиды, записали имя его въ своихъ поминаньяхъ. Старики то сихъ поръдобрымъ словомъ его поминаютъ.

Единственный его сынъ, Андрей Тихонычъ, чуть не босикомъ бъгаль въ уъздное училище, а научившись тамъ писать скорописью, былъ взятъ родителемъ изъ храма Минервы и введенъ во храмъ Фемиды, говоря классически, а если попросту сказать — родитель помъстилъ его въ первое повытье *) бобылевскаго уъзднаго суда. Тихонъ Алексъичъ говаривалъ: «уъздный судъ — всему начало и всему голова: тутъ молодой человъкъ всему навыкнетъ, тутъ и тяжебныя дъла и уголов-

ныя, туть всего лучше начинать службу».

Года черезъ три Андрей Тихонычъ получалъ уже по сорока ияти копескъ въ мѣсяцъ жалованья. Какимъ богачомъ казался онъ товарищамъ! Тѣ, получая такое же вознагражденіе, были обязаны содержать кто мать-старуху, кто вдовую сестру съ ребятишками, кто слѣного отца, калѣку. А Андрей Подобъдовъ живетъ у отца на готовомъ! сытъ, одѣтъ, обутъ, да еще сорокъ иять копескъ въ мѣсяцъ... Богачъ!.. Переметевъ!...

^{*)} Часть канцелярін, то же, что теперь называ стся «столомъ».

Еще при жизни родителя Андрей Тихонычъ получить регистраторскій чинъ и получать жалованья по девяноста по восьми конескъ въ мѣсяцъ, безъ вычета на госпитали и раненыхъ. Опъ ужъ обзавелся тросгочкой и важно ею помахивать, прогуливаясь по дырявымъ тротуарамъ Бобылева, обзавелся зелеными замиевыми перчатками и на кровныя денежки сиравиль суконную шинель гороховато цвъга «съ семидесятью семью воротниками» — верхъ щегольства того времени.

Счастливый, довольный и собой и міромъ, двадцатил'ятній Андрей Тихонычъ сталъ номышлять о подруг'я жизни. На у'яздныхъ вечерникахъ присос'іживался къ Оленьк'я, дочери магистраторскаго секретаря, говориль ей про свое сердце, и хоть она ему про свое пичего не сказывала, однакожь Андреи Тихонычь смекаль, что и красненькую ленточку на груди Оленька для него прикалываеть и височки колечкомъ потому

приглаживаеть, что ему такъ нравится...

Вдругь его родптель, Тихопъ Алексвичъ, скушавиш за ужиномъ шесть сковородокъ грибовъ въ сметанв, къ утру дежаль на томъ столв. гдв накануив кушалъ вкусные, сочные березовики. Опъ былъ первой жертвой первой холеры въ Бобылевв... Остался Андрей Тихонычъ одинъ на своихъ рукахъ. Еще слава Богу, что ин за нимъ ни передъ нимъ никого не было: одинъ какъ перстъ. А осталасъ бы обуза на рукахъ — матъ, напримвръ, аль сестры пезамужийя: не та-бъ участь ему впереди была. Пустился-бъ во вся тяжкая, спился бы съ круга. Всегда такъ бываетъ.

Увидаль, что на девяносто восемь консекъ безо взятекъ жить нельзя. А взятки брать не выучился. Пробоваль, да онъмимо его къ секретарю проскакивали. Ему работа, да на совъсть гнеть, а секретарю денежки. Горько стало Андрею Тихонычу. Объ Оленык и думать пересталь, да и она, видя, что отъ него толку не будеть. вышла за инвалиднаго пору-

чика и зажила домкомь на счеть солдатиковь.

Тошно стало Андрею Тихонычу въ Бобылевв. Хоть землю, думаетъ, буду конать, хоть воду стану посить. а перевду въ

губернію... Авось тамъ другая мнѣ линія выпадеть».

«Экін я счастливець, — подумаль онь, когда совершенно неожиданно получиль м'ясто въ одномь губернскомъ присутственномъ м'ястъ. — Ліалованье хорошее, и душа спокойна, оттого что взятокъ брать ни съ кого не приходится. Знай, лупи, дери одну казну-матушку... А это развъ грѣхъ...»

Служиль - служиль Андрей Тихопычь, пряжку безпорочную выслужиль, титулярнаго получиль. Человъкъ смирный, покор-

ный, безотвѣтный, каждое слово начальства, ровно слово изъ Неопалимой Купины, принималь. Оттого и начальство его возлюбило: каждый годъ Андрей Тихонычъ получаль наградныя изъ остаточныхъ суммъ. Отъ тѣхъ наградъ да отъ круницъ, что отъ казенной соли перепадали, составился у Андрея Тихоныча капитальчикъ тысячъ въ иять ассигнаціями.

Однажды занимался онъ въ кабинетв его превосходительства, господина статскаго совътника Александра Иваныча. И до сихъ поръ въ провинціи статскихъ совътниковъ зовуть превосходительствомъ, а это было еще въ тв времена, когда статскимъ совътникамъ давали станиславскія звъзды безъ ленты. Какъ же со звъздой-то да по генералъ? — Сановникъ!...

Такимъ звіздопосцемъ-сановникомъ былъ Александръ Иванычъ фонъ-Кабрейтъ. Правиль онъ много літъ казенной палатой — казенная соль, винокуренные заводы, откупщики рекрутскіе наборы, торги на поставки и подряды, купеческія свидітельства, казенные ліса, оброчныя статьи, перечисленіе душъ — все подъ его властной рукой... И статьи-то какія все жирныя!.. На иять, на десять такихъ сановниковъ разділить — всі бы сыты были... И разділили по времени - государственныя имущества въ особую палату отвели и Василья Трофимыча надъ ними посадили. И Александръ Иванычъ доходовъ не лишился, и Василій Трофимычъ разбогатіль. А прійхаль въ губернію въ одной шинелишкъ.

— А что, — сказалъ Александръ Пванычъ, когда Подебѣдовъ

кончиль работу. — Женать ты, Андрей Тихонычь?

Сроду впервые начальство по имени по отчеству его назвало. У Андрея Тихоныча въ глазахъ зарябило: будто крестикъ въ петличку подвъсили. И го опять, о чемъ спрапиваеть его превосходительство, пе по служов, а по двлу, можно сказать, партикулярному.

Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство, — задыхаясь отъ душевнаго волиенья, едва могъ проговорить Андрей Ти-

чинох

 Тебѣ бы. братецъ, жениться... Ты человѣкъ ужъ степенный.

Растаяль Андрей Тихонычь.

Какъ прикажете, ваше превосходительство, — чуть слышно пробормоталь онъ.

— Приходи ко мив завтра вечеркомъ... часу этакъ въ

восьмомъ... Слышишь?

— Слушаю, ваше превосходительство.

-- Да одинься почище... Къ невисть пойдемъ.

 — Слушаю, ваше превосходительство, — не въря ушамъ, мольшть Андрей Тихонычъ.

Какая милость низошла по благости Божіей! И на мысль

не вспадало, во сив не грезилось!..

Ногь не слыналь подь собой, когда въ темную, дождливую осеннюю ночь крупно и сифино шагаль онъ по липкой грязи, возвращаясь отъ его превосходительства въ дальній конецъ города, гдв нанималь горенку у вдовой дьяконицы... «Какое счастье, какое вниманье начальства!» — думаль онъ. Цфлую ночь заснуть не могь. Приходило въ головую о невъств: «Кто бы такая была?.. — раздумываль онъ. — И собой какова, молода-ль, не ряба ли, иль какого изъяну не имъетъ ли?» Мысль о милости начальства вытъсняла однако нескромныя мысли о невъстъ. «Ну ее совсъмъ! Милость его превосходительства, воть это дѣло!. По имени по отчеству! Вмъстъ, говорить, поъдемъ!.. Вмъстъ!... Да этого онъ секретарю не скажетъ!»

На другой день разодѣтый, распомаженный Андрей Тихонычь явился въ назначенное время. Тотчасъ позвали его вы

кабинеть. Александръ Иванычъ одъвался.

— Ты куринь? — спросиль его превосходительство. —

Гришка, трубку Андрею Тихонычу.

Если-бъ колънопреклоненное королевство, долго и тщетно отыскивая властителя, — какъ, напримъръ, Испанія, а въ былыя времена Польша, — со слезами и съ рыданьями сказало д-ской казенной палаты столоначальнику: «Андрей Тихонычъ, бери корону, царствуй надъ нами!» — едва-ли-бъ слова будущихъ върноподданныхъ настолько смутили его душу, насколько смутили ее слова Александра Иваныча. Его превосходительство трубку табаку изволитъ предлагать!.. Самъ изволитъ предлагать!.. Гришка суетъ ему въ руку длинный черешневый чубукъ съ громаднымъ янтаремъ... Дрожатъ руки у Андрея Тихоныча, отъ умиленья и слезы въ глазахъ и зèлень туманомъ.

— Да ты садись, — молвиль его превосходительство, застегивая номочи. — Садись воть здѣсь на диванѣ. Покойнѣе будеть.

Языкъ отнялся у объднаго. Хотбль что-то сказать, не смогъ. Въ блаженствъ таялъ.

«Батюнка, батюнка! — думаль онъ: — видишь ли?.. Видинь ли ты, до какой чести дожиль твой Андрюненька?»

Слезы градомъ лились у Андрея Тихоныча.

— Что съ тобой? — спросилъ Александръ Иванычъ.

— Такъ-съ, ничего, ваше превосходительство. Покойника батюшку вспомнилъ...

— Похвально, молодой челов'вкъ (а молодому челов'вку было за тридцать за иять). Дъйствительно, въ столь важную минуту жизни должно призвать благословение родителей... Хорошо, мой другь, хорошо!.. Похвально!.. — прибавилъ Александръ Иванычъ, цълуя Андрея Тихоныча.

Оть полноты чувствь коровой заревъль Андрей Тихонычъ.

Насилу отношть его Гринка холодной водой.

 Садись, — сказалъ Александръ Иванычь, когда Андрей Тихонычь, какъ столоъ, стояль на крыльцѣ передъ каретой его превосходительства.

«На козлы аль на запятки?» — пришло на умъ Андрею Ти-

хонычу. Лакей втолкнуль его въ карету.

«Батюшка, батюшка!—чуть не вслухъ сказаль Андрей Тихонычъ.—Видишь ли?»

Въ первый разъ въ жизни онъ вхалъ въ каретв. И съ къмъ?.. Прівхали на «дачу». Такъ въ губернскомъ городъ Д... у великихъ людей звались домики, гдв цвѣли роскошные цвѣточки... Цвѣточекъ Александра Иваныча — одна изъ многочисленныхъ сестеръ Стрѣльскихъ, что, служа по крѣпостному праву князю Кошавскому, служили съ тѣмъ вмѣстѣ кто Таліи, кто Мельпоменѣ, кто Терпсихорѣ въ дощатомъ ветхомъ балаганѣ. По святцамъ Пелагея, по театру Полина Ивановна, служила Терпсихорѣ, но, отбивъ объ неровный полъ театра рѣзвыя свои ноженьки, пятый годъ вѣрно, нелицемѣрно служила Александру Иванычу. А онъ ее за то на волю откупилъ...

Видѣлъ Андрей Тихонытъ ярко освѣщенныя комнаты... Видѣлъ, какъ его превосходительство, съ словами: «вотъ твой женихъ, Иоленька», подвелъ его къ грузной барынѣ въ раснашномъ капотѣ. Видѣлъ, какъ она сунула ему въ губы жир-

ную руку. Видълъ, какъ подали шампанское...

Какъ во сиъ. И какъ опъ съ ума не сошелъ?.. Золотые часы, серебряная табакерка, епотовая шуба, а главное — милость на-

чальства, и супруга, кажется, не строгая!...

Сыграли свадьбу, и зажили домкомъ Андрей Тихонычъ съ Нолиной Ивановной... И къ Александру Иванычу попривыкъ Андрей Тихонычъ, не съ прежней робостью говорилъ съ нимъ. А говорилъ нерѣдко, потому что господинъ фонъ-Кабрейтъ, хотя свою Полину замужъ и выдалъ. однакожъ нѣтъ-нѣтъ, да, бывало, и завернетъ къ ней вечеромъ посидѣтъ. О томъ, о семъ покалякаютъ, потомъ его превосходительство и скажетъ Андрею Тихонычу: «Что ты, братецъ мой, все дома сидишь? Съѣздилъ бы хоть въ театръ, что ли, аль къ кому изъ знакомыхъ. Отъѣзжай на моихъ дрожкахъ, ежели хочешь». И поѣдетъ, бывало, въ гости Андрей Тихонычъ... Мѣсяца черезъ три послѣ свадьбы Полина Ивановна сынка принесла. Въ тотъ же день навѣстиль молодыхъ Александръ Иванычъ: родительницѣ билеть въ тысячу цѣлковыхъ «на зубокъ» положилъ, Андрея Тихоныча крѣпко обнялъ и разъ пять поцѣловалъ.

— Ты відь дворянинь? — спросиль его превосходьтельство

Андрея Тихоныча.

Такъ точно, — робко отвѣтилъ Андрей Тихонычъ.

— Въ родословную заинсанъ?

- Такъ точно, ваше превосходительство... - Отецъ твой дослужился до дворянства?

— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство. Нашъ родъ старинный, столбовой, въ шестой части родословной книги. И въ бархатной книгъ записанъ, при Симеонъ Гордомъ наши предки на Москву вытхали. Такъ въ нашей грамотъ

проинсано...

— Очень радъ, очень радъ! — сказаль Александръ Иванычь. — Стало-быть, новорожденному не нужно, чтобъ у тебя Станиславчикъ въ петличкѣ висѣлъ, или чтобъ ты коллежскимъ асессоромъ былъ. Очень радъ!.. А то въ нынѣшнее время это немножко затруднительно... О сыпѣ не безпокойся — Богъ дастъ, подрастетъ, дорога ему будетъ.

Сунуль въ руку Андрею Тихонычу ломбардный билеть въ десять тысячъ ассигнаціями, еще поцаловаль его со щеки на щеку и уахаль, говоря на крыльца счастливому супругу:

Очень радъ, что сынъ твой старинный дворянинъ, очень

радъ...

Подариль его превосходительство Полинв Ивановив домикъ въ Бобылевъ. Ин на что онъ ему не пригоденъ былъ, и достался-то поневолв: за долгь ли оставилъ его за собой Александръ Иванычъ, другое-ль что-то въ этакомъ родв было.

Подосићли дворянскіе выборы, его превосходительство го-

ворить Андрею Тихонычу:

- Хочень въ Бобылевъ въ непремънные?

Свата не взвидаль Андрей Тихонычь... Масто, на которомъ отецъ его померъ, про которое и мечтать не смаль.

— Ваше превосходительство!.. ваше превосходительство!.. только и могь онъ выговорить, вехлинывая отъ подступавшихъ рыданій...

Я тебя выберу.

H выбраль.

Въ Бобылевскомъ уфадѣ Александръ Иванычъ самъ-другъ заправлялъ всфиъ на выборахъ. Другихъ крупныхъ помъщиковъ не было.

Вобылевскій уїздъ обыкновенно присоединяли къ Чернолъсскому. Его превосходительство каждый разъ, бывало, и говорить чернолъсскимъ дворянамъ: «По вашему увзду я буду класть, кому куда прикажете, а по «моему увзду» по-моему двлайте. Въдь мив, а не вамъ съ выбранными чиновниками придется три года возиться. Такъ ужъ вы сделайте милость».

Чернолъсские по-его и дълали. Оттого въ Бобылевъ губерпатора не столько трусили, сколько Александра Иваныча.

Такимъ образомъ его превосходительство и сдълалъ Андрея

Тихопыча непременнымъ.

И какъ быль ему онъ благодарень... Того ему и въ голову придти не могло. что Полина Ивановна поизмялась, и его превосходительству свёженькой захотёлось, ради чего и выбрать онъ Андрея Тихопыча въ непремънные.

Въ первое наше свиданье спрашиваетъ Андрей Тихонычъ

меня, привставая со стула:

— Какъ въ своемъ здоровьт его превосходительство Александръ Иванычъ, осмѣлюсь васъ спросить?

— Какой Александръ Ивапычь?

— Его превосходительства Александра Иваныча не знасте? —съ удивленіемъ вскликнуль Андрей Тихопычъ. Не могло у него сложиться мысли, чтобъ кто-инбудь могь не знать его превосходительства. Напрасно, напрасно, — говориль онъ, озадаченный монмъ вопросомъ: человъкъ извъстный. Да вы его въ Петербургв должны были знать. Въдь онъ туда каждый годъ вздить, — прибавиль Андрей Тихонычъ.
- Истербургъ не Бобылевъ, Андрей Тихонычъ. Мало-ль

тамъ народу: Всъхъ не узнаешь, — сказаль я.

— Не имъль счастія бывать въ Петербургв, а надо полагать, что такихъ людей, какъ его превосходительство Александръ Иванычъ, и тамъ не очень много, — возразилъ Андрей Тихонычь, — Иятьсоть душь отличнѣйшаго имѣнія, статскій совітникъ, звізда!.. Оть самихъ господъ министровъ почтёнь!.. Такихъ людей немного, очень даже немпого... Это ужь нозвольте вамь доложить... Не можеть быть, чтобъ по всей Россійской имперіи много было такихъ людей. Если бы его превэсходительство продолжали службу, могли бы губернатогомъ быть, даже министромъ, потому что умъ необыкновенный.

- Отчего-жъ онъ не служить?

-- И-н-нельзя-съ, -- немножко помявшись, отвътиль Андрей Тихонычъ.

— А что

Непріятность въ ивкоторомъ родв, — подсудность небольшая.

- A!

- Не подумайте, что за небреженіе по службы. Пыть-съ. По злобь, единственно по злобь враговъ. У кого ихъ нътъ. Андрей Петровичъ? У всякаго есть!.. А дъло его превосходительства, можно сказать, самое простое: о казенной поставкъ...
- A! о поставкъ! Что-жъ. видно, поставка-то не поставилась?
- Правильно изволили сказать, но сами согласитесь, вёдь соль матеріаль сырой. Мало-мальски водой ее хватить. тотчась на утекъ и превращается, можно сказать, въ ничто-жество. Его превосходительство Александръ Иванычъ объ этомъ своевременно доносили по начальству: буря, дескать, и разлитіе рѣкъ, и крушеніе судовъ. Слѣдствіе было произведено, и рѣшеніе воспослѣдовало; предать дѣло волѣ Божіей. А враги назначили переизслѣдованіе. Тутъ воли-то Божіей и не оказалось. Понимаете?..

— Что-жъ теперь подълываетъ вашъ Александръ Иванычъ?

— Четвертый годъ старается, нельзя ли третьиго следствія выхлонотать. Авось бы онять на волю Божію поворотили...

И въ своихъ делахъ Андрей Тихонычъ точенъ до самыхъ

послѣднихъ мелочей. Любилъ порядокъ.

Верстахъ въ двънадцати отъ Бобылева проживалъ въ своей деревушкъ мелкономъстный помъщикъ Чоботовъ Михайла Алексънъв. Разъ въ сентябръ пріъзжаетъ къ нему Андрей Тихонычъ. Помъщикъ радъ; Андрея Тихоныча всъ любили. А всетаки членъ земской полиціи, спрашиваетъ хозяинъ: не подълу-ль.

— Я ничего, сударь мой Михайла Алексвичъ. По сосвдству отъ васъ быль — у Лизаветы Ивановны; и къ вамъ за-

вернулъ «освидътельствовать» почтепіе.

. Інзавета Ивановна, тоже мелкономѣстная, жила въ усадебкѣ верстахъ въ трехъ отъ Чоботова.

— Ну, такъ милости просимъ. Какъ по-вашему, за часкъ,

аль прямо за водочку? — спрашиваетъ Чоботовъ.

— Благодарю покорно, Михайла Алексънчъ, я въдъ на минуточку. Развяжите вы меня Христа ради съ Лизаветой Ивановной... Будъте милостивы.

— Что такое, Андрей Тихопычъ?

- Да воть какое дѣло, сударь ты мой. Годъ нынче вышелъ такой: гусей нелегкая больно много уродила. Кто, бывало, прежде цыплятами снабжалъ, нынче все гуся шлегъ, кто прежде свинью привозилъ, и тотъ нынче съ гусями лѣзеть. Такое, сударь мой, окаянство — просто бъда. Гуся не охаешь, птица добрая, да расходу много проклятая требуеть, обжорлива очень. Колоть теперь рано: и перо слабо, и потроха не жирны, и сала немного... Откормить къ Казанской да свезти въ губернію, можно будетъ барыши имѣть, да кормить-то, сударь ты мой, чѣмъ станешь?.. Самимъ вамъ, Михайла Алексѣичъ, извѣстно, какой нынче на овсы-то урожай. Вовсе ихъ нѣтъ. И прежде-то ко мнѣ немного овса подвозили, а нынче, повѣрите ли вы Богу, воза порядочнаго не собралъ. Ей-Богу, право, не лгу... Что мнѣ лгать-то?.. Я человѣкъ простой.

— Такъ что же вамъ, Андрей Тихонычъ?.. Овса, что ли, ве-

льть насыпать? — спросиль Чоботовъ.

— Какой съ васъ овесъ! — съ негодованіемъ воскликнуль Андрей Тихонычъ. — Сохрани Господи и помилуй овсомъ отъ васъ взять!.. Какъ ето можно!.. А вотъ мучки ржаной такъ пора бы прислать, Михайла Алексѣнчъ. Чать, ужъ обмолотились.

— Не намололи еще, Андрей Тихонычъ.

— Ну ладно, дъло не къ спъху... Такъ вотъ я объ Лизаветь-то Ивановнь. Вся у меня на нее надежда была, думаю, дасть возикь овсеца, гуси-то у меня и откормятся. Прівхаль къ ней въ Трегубово: — «Такъ и такъ, молъ, сударыня, не погуби гусей, дай овсеца». А она: — «Рада бы радешенька, говорить. Анарей Тихонычь, не пожальла бы для тебя, да выдь гръхъ-отъ, говоритъ, какой у меня случился, овсы-то еще въ бабкахъ на поль, хоть самъ погляди». — Какъ же, говорю, Лизавета Ивановна, окольвать, что ли, гусямъ-то? Помилуйте, говорю, матушка, колоть, что ли, мив ихъ спозаранокъ-то? Изубытчусь въдь. Пожальй...» А Лизавета Ивановна: — Поъзжай, говорить, къ Михайлъ Алексънчу, у него овсы смолочены, онъ тебь не откажеть». — Я ей и такъ и сякъ... Нетъ, сударь, уперлась баба: потзжай да потзжай къ Михайлъ Алекстичу, да и все тутъ... Ужъ я ей толковалъ-толковалъ, никакъ, сударь, подъ ладъ не дается. Баба такъ баба и есть, хозяйства понимать не можеть.

— Что-жъ, — сказаль Чоботовъ: — коли надо, такъ я дамъ овса.

— Помилуйте, Михайла Алексвичъ... Да какъ же это возможно? Какъ же такіе пенорядки вводить? — съ сердцемъ вскрикнулъ Андрей Тихонычъ, съ мъста даже вскочилъ.

— Какіе же непорядки, Андрей Тихонычъ?.. Не понимаю

я васъ, растолкуйте, пожалуйста.

 Сдѣлать по-вашему — поля перемѣшать, хозяйство, знасочивенія П. Мельникова. Т. І. чить, спугать. Разв'в это порядки? Скажите на милость, порядки это, али нъть?

— Хоть убейте, не могу понять.

— Да развів вы не знасте, какъ у меня увідъ-отъ подвлень? У меня вотъ какъ заведено, сударь ты мой, — важно и серьезно началъ Андрей Тихонычъ. — По сю сторону рѣчки Синюхи всв господа помѣщики на ржаномъ стоять, а по ту сторону на яровомъ. Съ васъ, съ Петра Егорыча, съ Анны Никитичны беру ржаной мукой, а съ Лизаветы Ивановны, съ Егора Пантеленча — овсомъ, гречей, горохомъ. Какъ же миѣ съ васъ овсомъ-то взять, когда вы во ржаномъ полѣ стоите? Этакъ, батюшка, и концовъ не сведешь... Поля перепутать — хозяйство сбить.

Какъ Михайла Алексвичъ ни ублажалъ Андрея Тихоныча взять съ него овсомъ, не согласился. Упёрся, какъ баранъ въ ствну рогами, никакихъ резоновъ не принялъ. «Не спутаю

хозяйства»,—да и полно...

Покончили на томъ, что Михайла Алексвичъ послалъ Лизаветв Ивановив овса взаймы, и она, какъ помвщица яровая, отдала этотъ овесъ Андрею Тихонычу. Когда же, уладивъ дело, Михайла Алексвичъ хотелъ послать овесъ на своихъ лошадяхъ въ городъ къ Андрею Тихонычу, тотъ не согласился и на томъ настоялъ, чтобъ овесъ былъ отвезенъ къ Лизаветв Ивановив, а она бы ужъ его въ городъ отиравила.

Воть какой точный быль человикь Андрей Тихонычь.

И всё въ Бобылеве любили его, и онъ всёхъ любиль. Душа у него самая мягкая, каждому былъ радъ услужить, чемъ только могь. Чиновники, бывало, о немъ: — «А нашъ-отъ блаженный! Онъ ничего. Пороху не выдумываеть, а человёкъ тихій». Мужички въ одинъ голосъ: — «Такого барина, какъ Андрей Тихонычъ, ввёкъ не нажить. И родитель былъ душа-человекъ, а этотъ и того лучше; всякому доступенъ, всякаго по силъ-возможности милуетъ. Много за него Господа молимъ».

А быль же и у него врагь. При всемъ благодушіи, при всей кротости не могь Андрей Тихонычъ говорить про него равнодушно. Это быль бобылевскій почтмейстеръ Егорычъ.

— Отчего вы не любите Ивана Петровича? — спросиль я

однажды Андрея Тихоныча.

— Нельзя мнѣ любить его, Андрей Петровичъ... Онъ — злодѣй мой... Такую бѣду надо мной сдѣлалъ, что представить себѣ не можете. Такая по милости этого подлеца со мной конфузія случилась, что вспомнить страшно!.. Ехидный человѣкъ!.. Самый злющій, самый жадный!..

«Служеніе свое первоначально имѣль онъ въ гусарскомъ полку, по скорости исключенъ за пьянство. И какъ же теперь онъ злословитъ ихнюю гусарскую службу, даже вчужѣ обидно. Увѣряетъ, якобы гусары не кутятъ, и что у нихъ чуть кто выпьстъ да маленько пошутитъ, тотчасъ его вонъ изъ полка. «Хоть меня, говоритъ, взять — ну что такое я сдѣлалъ? Выпивши, голый я по базару прошелся, и за это — хлопъ! — изъ полка вонъ». Всячески злословитъ. «Какіе, говоритъ, наперсточные кутилы, бабыми наперстками пьютъ». И здѣсь кажлаго человъка обильть готовъ.

«На что я? На весь уёздъ пошлюсь, никто меня ни въ чемъ не примётилъ. Такъ нётъ, и меня оскорбилъ по азартной своей нравственности. Да оскорбилъ-то какъ! Безъ ножа

голову снялъ.

«Покамѣстъ я по милости его превосходительства Александра Иваныча на семъ мѣстѣ «пріуставленъ» не былъ, проживаніе имѣлъ въ губерніи, а домикъ, что его превосходительство Полинѣ Ивановнѣ пожертвовали, отдавалъ подъ почтовую контору. Когда-жъ переѣхалъ въ Бобылевъ, дому-то срокъ не вышелъ еще. Дѣлать нечего, и отъ своего угла безъ малаго два года въ наемной квартирѣ пришлось проживать, потому кон-

трактъ, можно сказать, вещь священная.

«А л, осмѣлюсь вамъ доложить, хоть на мѣдныя деньги обученъ, но старшихъ уважаю и долгъ почтенія не забываю, для того что воспитанъ въ страхѣ Божіемъ. Душу имѣю памятную, къ благодарности склонную, для того, по христіанскому обычаю, передъ каждымъ праздникомъ, не имѣя возможности, за отдаленностію разстоянія, лично поздравлять его превосходительство Александра Иваныча, письменно свой долгъ исполню. Придешь, бывало, на почту: Иванъ Петровичъ письмо примстъ, гривенникъ получитъ — я и спокоенъ. И шло такимъ манеромъ дѣло безъ мала два года.

«Зачалъ меня «оброчнымъ» звать. Встрѣтится гдѣ, во все горло оретъ — черезъ улицу, черезъ илощадь ли — все равно: «Здравствуй, оброчный! Красна Пасха на дворѣ, оброкъ неси». А иной разъ даже попрекнетъ: «Эй, ты, оброчный, къ Вознесенью-то опоздалъ, смотри, братъ, въ недоимку со штрафомъ

впинну».

«А мий невдомекъ, что такое слова его означаютъ. Какой, думаю, я ему оброчный? Подъ начальствомъ не состою, зависимости не имъю: какой же я ему оброчный? Разъ даже въ церкви, послъ объдни, такимъ прозвищемъ меня обозвалъ. Стали ко кресту подходитъ... Я, исправляя долгъ почтенія. благородныхъ съ праздникомъ поздравляю, и ему подлецу сви-

дѣтельствую почтеніе... А онъ поклониться-то поклонился, да, осклабившись, при всѣхъ и бухнулъ: — «Спасибо, оброчный, за поздравленье, и за оброкъ спасибо, что не запоздалъ»... Сердце меня взяло! Какъ же это въ самомъ дѣлѣ?.. Въ храмѣ Господнемъ, при городничемъ, при исправникѣ, при дамахъ, при всѣхъ благородныхъ, вдругъ меня такимъ манеромъ хватилъ!.. Не вытерпѣлъ, сказалъ ему: — «Милостивый государь мой, говорю, я столновой дворянинъ и потому у васъ на оброкѣ состоять не могу, а ваши слова, милостивый государь мой, для меня безчестны». Вспылилъ тутъ я самъ немножко, обидѣлъ его при всѣхъ: «милостивый государь мой» назвалъ. А онъ хоть бы чтò, нисколько не обидѣлся, точно не ему сказано. Да еще говоритъ: — «Хоша ты и столновой дворянинъ, а все-жъ мой оброчный»... Я отъ него въ сторону ношелъ, думаю: «Господь съ тобой, наругатель ты этакой».

«Подъ конецъ контракта слышимъ — Иванъ Петровичъ у Спиридонова домъ покупаетъ и контору къ себѣ переводитъ, чтобы, знаете, и наймомъ квартиры не харчиться, и съ казны за контору деньги получать. Меня не прижималъ, съѣхалъ

даже до сроку.

«Ужъ и отдълалъ же онъ домъ-отъ. Хуже харчевни сдълалъ его: стъны сургучомъ измазалъ, полы перегноилъ. Просто, съ позволенія вашего сказать, такая была гадость, что уму непостижимо!

«Вижу, надо поновить. Туть, благодаря Бога, его превосходительство Александръ Иванычь въ свою вотчину провзжать изволили и по душевному своему расположенію лёску мив пожаловали, плотниковь прислали, конопатки, гвоздочковь и другого желіваца, сколько требовалось. Понсчиниль я крышу, стіны понсправиль; думаю, кстати ужь и полы-то перестелю — плотники даровые. Тронули полы въ большой комнать, гдів «пріемная» была, гляжу: половицы-то еще хороши, поосіли только, щели въ палець шириной и больше. Оно, конечно, можно бы ихъ и сколотить, да ужъ видно мив Божеское напоминаніе было. Заколодило въ голові: перестели да перестели. Что-жь, думаю, перестелю, тепліве будеть, да и черный-оть поль заодно поисправлю, золой его забью, чтобъ не дуло.

«— Сымай, братцы, полы, — говорю плотникамъ, а самъ точно

подъ какимъ-нибудь предчувствіемъ состою...

«Какъ принялись за топоры, какъ запустили ихъ подъ половицы, какъ пошла у нихъ работа, повърите ли?.. у меня мурашки по спинъ. И сердце-то болъетъ и въ головъ-то ровно туманъ... Точно какъ будто сейчасъ растворится дверь и войдетъ губернаторъ. «А сколько дълъ? А покажи-ка, распорядительный!..»

«Вышель на дворъ освѣжиться. Слышу, плотники про бумаги толкують. «Брось, — говорить старшой: — опосля все спалимъ».

«Я къ окну.

«- Что, моль, у васъ туть такое?

«— Да вотъ, говорятъ, больно много бумаги подъ поломъто насовано... Надо-быть, въ эту щель совали.

«— Давай, говорю, сюда. Что такое?

«Высыпали они мит за окошко ворохъ страшенный... Угод-

ники преподобные!.. Все-то письма, все-то письма!..

«Которы распечатаны, у которыхъ и печати цѣлы. Одна печать — письмо не тронуто. пять — вскрыто. На адресахъ куши не великіе: цѣлковый, два, три, къ солдатикамъ больше, въ полки.

«А плотники подкидывають да подкидывають. Соть пять накидали... Господи Боже мой!.. Нѣть же у человѣка совѣсти, и начальства не боится.

«Сталь я ворохь разбирать, а самого какъ лихоманка треилеть. Думаю: «Злодъй-отъ въдь безъ разбора письма подъ полъ сажаль... Ну какъ я на государственный секреть наткнусь... Червь какой-нибудь, нуль этакой, какой-нибудь непремънный, да вдругь въ высшія соображенія проникнеть!.. Что тогда?.. Пропалъ аки шведъ подъ Полтавой! Охъ, ты, Господи, Господи!..»

«А вёдь не кто, какъ Ђогъ. Сказано: «На кого воззрю? Токмо на смиреннаго». Такъ иное дёло. Государственныхъ-то секретовъ и не было!

«Батюшки!.. Мое письмо!.. Къ его превосходительству!.. Варомъ меня такъ и обдало!.. . Лучше-бъ государственный секретъ узналъ!.. Злодъй, злодъй!

«Разъ, два, три, четыре... всѣ шестьдесять восемь, всѣ до

единаго! Продъ ты этакой!...

«Хоть бы одно распечаталь! Любопытства-то даже не было. Безчувствіе-то какое вѣдь!.. Слеза меня прошибла... Воть оно «оброчный»-оть!.. Гривенники-то браль, а письма подъ поль да подъ поль... Значить, я ему въ самомъ дѣтѣ передъ каждымъ праздникомъ по гривеннику оброку носилъ.

«Пропадай они гривенники!.. Его-то превосходительство, Александръ-отъ Иванычъ, что могутъ про меня сказать? «Неблагодарное животное», вотъ что могутъ сказать!.. Какъ же это въ самомъ дѣлѣ?.. Безъ малаго два года и ни одного поличения.

почтенія!.. Господи, Господи!..

«Собралъ я письма. связалъ въ узелокъ: маршъ въ нову контору... Иванъ Петровичь въ засалениомъ, сургучомъ зали-

томъ халатъ письма принимаетъ — день-отъ почтовый быль... Онъ было мнъ: «здравствуй, оброчный!»

«— Свинья ты, свинья, Иванъ Петровичъ! Бога не боишься

и стыдъ забылъ.

«А онъ:

«— Чамъ ты, оброчный, обидался?

«Я письма-то на столъ, и говорю: — Это что?

«А онъ и въ конфузію не пришелъ, только спросилъ:

«— Аль полы перестилаеть?..

«— Просьбу, говорю, подамъ, подъ законъ подведу тебя.

«Зло-то меня, знаете, очень ужь взяло.

«А онъ хоть бы бровью моргнулъ.

«По маломъ времени однако заговорилъ:

- «— А я, говорить, допрежде тебя рапорть пошлю, что, моль, оставиль я, при перевздв на квартиру, въ домв титулярнаго советника Подобедова постъ-пакеть съ донесеніями къ разнымъ министрамъ, пакеты съ надписью «секретно» да сто тысячъ казенныхъ денегъ... П онъ-де, титулярный советникъ Подобедовъ, тотъ постъ-пакеть похитилъ... Что тогда скажешь? А?
 - «Я такъ и обомлълъ. Вижу, дъло-то хуже секретовъ.
 - «Хотъть изловчиться: У меня, говорю, свидътели есть.
 - «А онъ:
- «— Плотники, что ли? Такъ я, говорить, ихъ отстраню, потому что они у тебя въ услужении. На это, брать, статья ость.
- «Вижу, нѣтъ у человѣка стыда въ глазахъ... Плюнулъ, пошелъ вонъ».
- Какъ же теперь поздравляете Александра Иванычато? — спросилъ я.
 - Сотскихъ изъ суда гоняю.

именинный пирогъ.

Разсказъ.

Это было еще до крымской войны...

Въ одной изъ степныхъ губерній, въ захолустномъ городкъ Рожновъ, пришлось мнъ прожить по одному дѣлу больше мѣсяна.

Однажды въ воскресный день послѣ обѣдни, когда «благородные» обыватели богоспасаемаго града Рожнова, приложась ко кресту, поздравляли другь друга съ праздникомъ, уѣздный стряпчій Иванъ Семенычъ Хоринскій подошелъ ко мнѣ.

— Сдѣлайте такое одолженіе, — говориль онъ съ какими-то торжественными ужимками, — удостойте чести мой пирожокъ; Антонъ Михайлычь будуть, Степанъ Васильичь, Михайла Сергъпчь. Сдѣлайте такое одолженіе, удостойте!.. Сегодня я именинникъ.

Поздравивъ именинника, я объщался быть у него непремънно.

— Только ужъ нельзя ли пораньше, Андрей Петровичъ: мы въдь люди престые, не столичные, привыкли рано. Сдъ-

лайте милость, теперь же, прямо изъ церкви.

Затъмъ, посуетившись среди «благородныхъ», Иванъ Семенычъ въ алтарь пошелъ приглашать духовника своего, рожновскаго протопопа, отца Симеона. Мимоходомъ тронулъ за плечо купца Дерюгина, торговавшаго бакалеями, виномъ и другими жизненными потребностями и занимавшаго въ ту пору должность городского головы. Дерюгинъ оглянулся, именинникъ что-то шепнулъ ему, и голова съ сіяющимъ лицомъ поклонился стряпчему въ поясъ.

Погода была прекрасная. «Благородные» пѣшкомъ пошли къ Ивану Семенычу. Шелъ городничій Антонъ Михайлычь, шелъ исправникъ Степанъ Васильичъ, шелъ судья Михайла Сергвичъ, шелъ «непремвнный» Егоръ Матввичъ, шелъ почтмейстеръ Иванъ Навлычъ, шли и другіе обоего пола «благородные». Двв бородки примкнули къ бритому сонму чиновныхъ людей: одна украшала красное, широкое лицо Дерюгина, другая густымъ лѣсомъ разрослась по румяному лицу касимовскаго купеческаго брата Масляникова, бывшаго прежде цѣловальникомъ, а теперь управляющаго рожновскимъ виннымъ откупомъ.

Расходившіеся изъ церкви мізцане и разночинцы почтительно снимали шанки и низко кланялись шествующему сонму властей, но никто не удостоился отвітнаго поклона. Не гордость, не чванство причиной тому. Попадись благородный одинъ на одинъ любому мізцанину, непремізно-бъ отвітилъ ему поклономъ и дружелюбно поговориль бы. Но, шествуя въ

сонмѣ властей, какъ поклониться?.. Нельзя!..

Именинникъ встръчалъ гостей на крыдечкъ. Шумной толпой ввалили они въ залу, а тамъ столы ужъ уставлены яствами и питіями, задорно подстрекавшими зръніе, обоняніе

и вкусъ нахлынувшихъ гостей.

Люди мелкой сошки: столоначальники, или, какъ звали ихъ по старинѣ, «повытчики», городской голова, магистратскій и думскій секретари, учителя со штатнымъ смотрителемъ, отецъ дьяконъ, остались въ залѣ. Чинпо разсѣвшись по стульямъ, скромно, вполголоса вели они бесѣду о новѣйшихъ происшествіяхъ въ городѣ Рожновѣ: о томъ, какъ въ ушатѣ съ помоями затонула хохлатенькая курочка матушки-протопопицы, какъ бабушка-повитуха Терентьевна, середь бѣла дня заглянувъ въ нетопленую баню, увидала на полкѣ кикимору, какъ новытчика духовнаго правленія Глоріанскаго кладбищенскій дьяконъ Гервасій засталъ въ самую полночь въ своемъ огородѣ, купно съ дѣвицей Капитолиной Гервасіевной. Говорили, обсуждали, а сами съ жадностью поглядывали на предстоявшую трапезу.

Гости первой статьи, ранга высокаго: городничій, исправпикъ, протопопъ, управляющій откупомъ, судья, «непрем'яный», зас'ядатели у'взднаго суда, почтмейстеръ, два секретаря изъ судовъ земскаго и у'взднаго, казначей, винный приставъ, продолжали шествіе въ гостиную, а тамъ на дивап'я сид'яла разряженная Катерина Васильевна, супруга Ивана Семеныча, съ Анной Алекс'явной городничихой да съ Марьей Васильевной исправницей. У дивана возл'я матери стояли два сынка Ивана Семеныча, одинъ л'ятъ девяти, другой восьми, оба въ красныхъ рубашечкахъ, общитыхъ б'яльми шнурками. Дико смотръли мальчишки: старшій мрачно ковыряль пальцемь въ носу, а младшій, увидя издали протопонову бороду, разинуль ротъ, собираясь задать испратную ревку. Онъ не замедлилъ, братинка завторилъ ему, и Катерина Васильевна, схвативъ сыновей за руки, увлекла ихъ въ детскую и минутъ черезъ нять воротилась къ гостямъ, оправляя помятое платье.

Чай подали. Хоть русскій человѣкъ до чаю охочъ, но, въ ожиданій будущихъ благь, гости пили его не до поту лица. Вскоръ хозяннъ пригласилъ сидъвшихъ въ гостиной перейти

къ залу — водочки выкущать.

— На ты бы сюда велълъ тащить, — молвилъ Иванъ Павлычь почтиейстерь, хвалившійся передъ тімь, что онъ всего Волтера наизусть вытвердиль. Почтмейстеръ всемъ говориль «ты», и оттого всв думали, что онъ вольнодумецъ и ввруеть не въ Бога, а въ Волтера. Иванъ Павлычъ гордился тъмъ.

— Помилуйте, Иванъ Павлычъ, — съ явнымъ замъщательствомъ ответилъ ему именинникъ, ткиувъ пальцемъ по на-

правленію къ дивану.

Нать диваномъ висъть писаный масляными красками портреть пожилого господина въ мундирѣ, съ красной лентой черезъ лівое плечо и съ двумя звіздами. Длинный, горбатый носъ и глаза на выкатъ подъ наморщенными, щетинистыми бровями сурово глядёли изъ ярко позолоченной рамы.

— Экъ чего струсилъ! — захохоталь почтмейстеръ. — He

живой, авось не укусить!..

— Все-таки подобіе, — сдержанно молвилъ именинникъ. —

Вамъ что?.. Вы въдь Волтеръ, а мы христіане.

- Да-съ, могу сказать!.. самодовольно отвътиль, поглядывая на меня, Иванъ Павлычъ. — Могу сказать, что Волтера знаю... Ты бы, Иелнъ Семенычь, хоть «Оду на разрушеніе Лиссабона» раскусиль, такь и не сталь бы призраковь бояться. — продолжаль онъ, указывая на портреть. — Призракъ въль?.. А?
- Полноте вамъ!.. неспокойно проговорилъ именинникъ, увлекая нечесаннаго Волтера къ столу съ графинами и графинчиками. — Вы бы лучше вотъ выкушали.

Можно! — отвътилъ почтмейстеръ, и прошелся по водочкъ.

 Славная икорка! — замѣтилъ городничій, набивая ротъ хльбомь, вплотную намазаннымь свыжей зернистой икрой. — Изъ Саратова?

— Изъ Саратова,— отвётиль именицикъ. — Хорошая пкра. Что бы тебё, Маркелычъ, такую держать? — сказаль Антонъ Михайлычь стоявшему у притолки городскому головъ.

Почтительно подойдя къ «хозяниу города», голова съ низкимъ поклономъ и плутовской усмъщкой промолвилъ:

— Несходно будеть, ваше высокородів. Сами изволите

знать, какой здёсь расходъ.

— Мы бы стали брать, вотъ Степанъ Васильнчь, Алексъй Петровичъ, Иванъ Семенычъ, всъ...

— Нѣть, ужъ увольте, ваше высокородіе. Ей-Богу, несходно. Правъ былъ голова: несходно ему было хорошую вещь въ лавкѣ держать. Икра за прилавкомъ не залежалась бы, въ день либо въ два расхватали-бъ ее «благородные» — на книжку. А это значитъ: «пиши долгъ на двери, а получка въ Твери».

— Пирогъ поданъ!.. — возгласилъ именинникъ. — Андрей Истровичъ, Антонъ Михайлычъ, милости просимъ. Иванъ

Павдычъ, а повторить?

— Можно, — отвѣтилъ почтмейстеръ, и повторилъ въ пятый либо въ шестой разъ. Ученикъ Волтера придерживался россійскаго, о виноградномъ отзывался презрительно, называя его свекольникомъ.

Гости перваго сорта вокругь стола усѣлись, мелкая сошка инли и ѣли стоя, барыни съ Катериной Васильевной удалились въ ея комнаты. Нельзя-жъ при кавалерахъ прихлебывать настоечки да наливочки.

Зашла бесёда о желёзныхъ дорогахъ. Стоявшій за стульями штатный смотритель съ приличной осторожностью осмёлился доложить, что было-бъ хорошо и даже необходимо для отечественнаго просвёщенія провести желёзную дорогу въ Рожновъ. Городничій закинулъ назадъ голову и, съ презрёньемъ взглянувъ на смотрителя, молвилъ:

— Ишь чего захотѣлъ!

ПІтатный смотритель поперхнулся кускомъ пирога и съ глухимъ кашлемъ, наклоняясь и закрывая ротъ салфеткой, торопливо вышелъ въ переднюю.

— А что-жъ?.. Недурно бы было, — сказалъ исправникъ. —

Съ Волги живыхъ стерлядей сюда бы возили.

Исправникъ, по собственному его выраженію, имѣя «характеръ гастрономическій», держалъ повара, привезеннаго изъ Москвы, и смотрѣлъ на обѣдъ какъ на цѣль человѣческой жизни.

 Часты будутъ навзды изъ губерній, — отвѣтилъ городничій. — Изъ мундира не вылѣзай. Да и накладно.

— Правда, — подтвердилъ сонмъ благородныхъ. Согласился

и гастрономъ-исправникъ.

По угламъ разговоры шли дъловые. Только и слышно было:

— Къ вамъ послано было отношеніе, на это отношеніе вы отвічали...

— А по указу губерискаго правленія...

- Педоимка наросла страшная, коть бы туть тресни, ничего не подълаешь...
 - А казенная палата и посылаеть указъ...
 Ну, и заключить его въ тюремный замокъ!

II за столомъ разговоръ съ желѣзныхъ дорогь на дѣла пе-

решелъ.

- Дѣятельностью могу похвалиться, говориль исправникь. Загляните когда-нибудь къ намъ въ земскій судъ, Андрей Петровичь, посмотрите... Тридцать шесть тысячъ исходящихъ!.. И до этакого числа, могу сказать, я довель. При покойникъ Алексъв Алексъичъ ръдкій годъ двадцать тысячъ набиралось. При моей бытности, значитъ, въ полтора раза дѣятельность умножилась. Дѣлъ теперь у меня... Ардаліонъ Петровичъ! крикнулъ онъ черезъ столъ секретарю земскаго суда. Сколько у насъ дѣлъ? По суду? басомъ спросилъ секретарь.
 - По суду? басомъ спросилъ секретаръ.
 И по суду и у становыхъ, всего сколько?

— Тысяча восемьсотъ шестъдесять девять дѣлъ къ первому числу показано, — пробасилъ Ардаліонъ Петровичъ и хлоп-

нуль на-лобъ рюмку хересу.

— Возьмите вы это, Андрей Петровичь, тысяча восемьсоть шестьдесять девять дѣль. Среднимь числомь хоть по двадцать листовь на дѣло положить... вѣдь это... двадцать да шестнадцать... семнадцать... вѣдь это тридцать семь тысячь листовь безъ малаго. Да еще мало я кладу по двадцати листовъ на дѣло. Такъ изволите ли видѣть, какова у насъ дѣятельность...

Слова исправника просьбицу означали: когда, дескать, увидите министра, скажите ему: «есть, молъ, ваше высокопревосходительство, въ Рожновъ исправникъ, Степанъ Васильичъ, отличный исправникъ, дъятельный, привелъ уъздъ въ цвъту-

щее, можно сказать, положеніе».

А вечеркомъ на сонъ грядущій такъ исправникъ мечталъ: «Скачеть отъ губсрнатора нарочный, скачеть, скачеть, прямо ко мнъ. — «Пожалуйте, говорить, къ губернатору для объясненія по дѣламъ службы». ѣду, разумѣется, немедленно, являюсь... А губернаторъ на шею ко мнъ. — «Поздравляю, говоритъ, поздравляю, Степанъ Васильичъ, поздравляю!» А самъ крестикъ изъ пакета вынимаеть, къ мундиру мнъ пришпиливаетъ. Я, разумѣется, въ плечо его превосходительство, руку ловлю... Пе даетъ. — «Лучше, говоритъ, я тебя въ губы»... За-

манчиво, чорть возьми! Ей-Богу, заманчиво!.. Какой бы обыдище задаль!.. Какъ свиней кормять пареной рыпой, такъ бы всыхъ закормилъ я трюфелями!.. Пироговъ бы страсбургскихъ выписаль, омаровъ... На каждаго по пирогу да по цыльному омару!.. Такими бы дюшесами столь изукрасилъ, что кто-бъ ин взглянулъ, такъ бы и обомлыль».

Пиршество межъ темъ продолжалось. Именинникъ торопливо перебъгаль отъ гостя къ гостю, упрашивая ровно Богъ знаетъ о какой милости побольше покушать. Напрасно онъ хлопоталь, и безъ того гости охулки на руку не клали. Исчезло со столовъ пять кулебякъ съ вязигой да съ семгой, исчезъ чудовищный осетрь, достойный украсить объденный столь любого откупщика; исчезли бараны котлеты съ зеленымъ горошкомъ и даровые рябчики, нашпикованные не вполив свъжимь домашнимъ саломъ. Все исчезло въ безднѣ «благородныхъ» утробъ... Со славой тъ утробы поспорили бы съ утробами поновскими... Про нихъ, къ общему удовольствію гостей, рожновскій Волтерь, обращаясь къ отцу протонопу, сказаль: «Сидитъ попъ надъ псалтырью, другой попъ съ нимъ рядомъ. «Что-бъ означало, — спросиль одинъ: — бездна бездну призываеть?» Другой отвъчаеть: «Это, говорить, значить: попъ нопа въ гости зоветъ».

Изъ-за стола встали грузны. Волтеръ хотѣдъ-было домой идти, но, отыскивая картузъ, сѣдъ нечаянно на стулъ у окошка и тотчасъ заснулъ. Духовенство ушло, вслѣдъ за нимъ и мелкая сошка.

Оставинеся завели рѣчь про губсрнаторскую ревизію, потомъ заговорили о портретѣ, висѣвшемъ въ гостиной именциника.

- Разскажи, Иванъ Семенычъ, про портретъ-отъ, сказалъ городничій.
- Да вы вѣдь ужь знаете, Антонъ Михайлычъ, несмѣло отозвался Иванъ Семенычъ. Зачѣмъ же повторять?
- Да воть нашъ гость дорогой, Андрей Йетровичъ, но
- Эхъ, воскликнуль Иванъ Семенычъ, махнувъ рукою.— Не понять Андрею Петровичу!.. Мы вѣдь люди простые, степняки, не петербургскіе... Иѣтъ ужъ, Антонъ Михайлычъ, пущай его висить!... Богъ съ нимъ... Мы-жъ теперь маленько подгуляли... Нехорошо въ такомъ видѣ про такія дѣла говорить.

Неотступныя просьбы поколебали именинцика. Тихо подошель онь къ гостиной, осторожно притвориль дверь и усѣлся въ кружокъ. На лицѣ его замѣтно было душевное волненіе. Положиль онъ широкія ладони на колѣни, свѣсиль немного голову и, помолчавши, вполголоса началь разсказывать:

— Его превосходительство Алексвії Михайлычъ Оболдуевь, нашъ губернскій предводитель, — его, Андрей Петровичъ, вы, конечно, имъете честь знать, — изволили лѣть пять тому назадъ въ Рожновскомъ уѣздѣ съ аукціона купить заложенное и просроченное имѣніе гвардіи поручика Княжегорскаго, село Княжово съ деревнями... Въ томъ селѣ домъ былъ старый-престарый, комнаты — сараи, потолки со сводами, стѣны толстыя, ровно московскій Кремль. Въ стары-то годы, знаете, любили строиться прочно, чтобъ строенью вѣку не было. Толсто, несуразно, зато прочно выходило.

«Домъ у Княжегорскаго былъ запакощенъ хуже не знай чего. Когда въ нашей губерніи вторая бригада восьмой дивизін стояла, онъ его подъ военный постъ отдавалъ. И стіны, и полы, и потолки въ такомъ видѣ послѣ христолюбиваго воинства остались, что самому небрезгливому человѣку стоило только взглянуть, такъ, бывало, цѣлый день тошнитъ... И въ такомъ-то домѣ — слышимъ — его превосходительство, Алексѣй Михайлычъ желаетъ по лѣтамъ проживать. Оченно ему по-

нравилось мъстоположенье Княжова.

«Съ диву пали. «Какъ же это, думаемъ, его превосходительство Алексъй Михайлычъ, особа обращенія деликатнаго, воспитанія тонкаго, въ вертепъ станетъ жить?» Однакожъ года черезъ полтора его превосходительство, можно сказать, восьмое чудо сотворили: изъ запакощеннаго дома такой, могу вамъ доложить, соорудили, что хоть бы въ Петербургъ возлъ государева дворца поставить. Зимніе сады, цвътныя стекла, бронзовия ръшетки, карнизы, изъ бълаго камня съченые. Не домъ — чертоги.

«Такъ и ахаютъ всѣ, а его превосходительство Алексѣй Михайлычъ изволять говорить: «подождите, то ли еще будетъ». И выписали они изъ Риги нѣмца — Карла Иваныча, чтобы онъ княжовскій домъ живописью украсилъ. Пріѣхалъ Карлъ Иванычъ, а былъ онъ нѣмецъ настоящій, ни единаго то-естъ слова по-русски не разумѣлъ. Послѣ наторѣлъ, а на первыхъ порахъ ровно полоумный былъ: ты ему говоришь дѣло, а онъ выпучитъ глаза да головой мотаетъ. Смѣшной былъ нѣмецъ!

«Чего только онъ ни натворилъ: потолки расписалъ, нагихъ Венеръ, Купидоновъ и другихъ языческихъ боговъ намалевалъ, и всѣ-то они вышли у него народъ здоровенный, матерой, любо-дорого посмотрѣть!

«Живучи въ Княжовѣ, Карлъ Иванычъ въ Рожновѣ частенько

бывалъ.

«Подружился я съ нимъ, когда онъ по-русски сталъ понимать. Мастеръ наливки дёлать и все по рецептамъ. И меня тёми рецептами снабдилъ. Наливочки, смёю полагать, изряднехоньки. Андрей Петровичъ, сливяночки не прикажете ли, али вотъ поляниковки!.. Деликатесъ, могу доложить!..

«Однажды пріважаеть немець въ городъ прямо ко мнв. «— Что, говорю, Карлъ Иванычъ, зачвиъ Богь принесъ?

«— Дѣльце, говорить, Ифанъ Симонишь, есть.

«- Какое д'яльце?

«Пошелъ нѣмецъ разсказывать.

«Дѣло вотъ какое было. Въ ихней Нѣмечинѣ, въ самой тоесть настоящей Нѣмечинѣ, въ Ревелѣ, сродникъ померъ у Карла Иваныча, и ему доводилось наслѣдство получить. А какъ получить—не знаеть. По дружбѣ взялся я ходатайствовать, довѣренность взялъ у него и пошелъ въ Нѣмечину бумаги писать. Возни много было, нѣмцы — народъ ремесленный: законовъ не разумѣютъ... И присутственны-то мѣста у нихъ не какъ у людей: «оберъерихты» да «гутманы», самъ чортъ не разберетъ!.. А Карлъ Иванычъ горячка: ему-бъ въ одинъ день наслѣдство взять безо всякой переписки. «Иѣтъ, говорю, братъ, шалишь, не въ порядкѣ будетъ, ты повремени, а я стану писать, какъ слѣдуетъ». Насилу могъ урезонить. Наставивши его на должный порядокъ, безъ малаго полтора года велъ его дѣла. Выслали напослѣдокъ Карлу Иванычу изъ ревельской Нѣмечины шестьсотъ цѣлковыхъ.

«Зарадовался. На козыихъ своихъ ножкахъ такъ и подпры-

гиваетъ, ручонки такъ и потираетъ...

«— Сколько, говоритъ, надо, Ифанъ Симонишь, благодарности?

«А я ему:

«— Богь съ тобой, Карлъ Иванычъ!.. Съ ума ты, что ли, спятилъ... Я хлопоталъ по дружов, денегь не возьму.

«А онъ:

«— Да мнъ, говоритъ, совъстпо, Ифанъ Симонишь.

«Хорошій быль человъкъ, даромъ что нъмецъ, совъсть зналъ.

«— А коли, говорю, совъстно, такъ подари картинку своего

«Такъ и запрыгалъ... Руку мит пожимаетъ, меня же благодаритъ, что картину у него потребовалъ... Слезы даже на глазахъ выступили. А не тому радъ, что деньгами мит не поплатился. — «Мит, говоритъ, то дорого, что вы, Ифанъ Симонишь, искусство любите».

«А я ему:

«— Ужь тамь, брать, люблю ли я, нѣть ли, а картинку-то мнѣ подай.

«— Есть, говорить, у меня «Разбойникъ венеціанскій», младенца рѣжеть, да ссть, говорить, «Итальянское утро», да

есть говорить, губернаторскій портреть.

«Разбойника взять поопасился. По должности неприлично... Стрянчій... У царскаго-то ока да вдругь разбойникъ въ домъ заведется?.. Хоть и не русскій, а все нехорошо... Опять же супруга каждый годъ тяжела бываеть, неравно на послъднихъ часахъ взглянеть на «Разбойника» да испужается... Портретъ взять, думаю, будеть не по чину, смъяться бы не стали. — «Какая-нибудь, дескать, пиголица, уъздный стряпчій, а тоже подобіе его превосходительства у себя имъетъ». Давай, говорю, «Итальянское утро». На томъ и ръшили.

«Добрая недёля прошла, а «Утра» нёть какъ нёть... Сталь л подумывать, не надуль ли меня нёмець, по губамъ только не помазаль ли? Однакожь нёть, везуть изъ Княжова ящикъ аршина два длины, полтора ширины. Воть оно «Утро»-то!...

Честный человъкъ, не надулъ.

«Жену кликнулъ... Гляди, молъ, «Утро» привезли. Дъти прибъжали.

«-- Папася, напася, -- голосять: -- это пастила, что ли?

«— Нишкните, говорю, какая туть настила! Туть «Итальянское утро»: солнышко восходить, коровки идуть, настушокь на свирѣлкѣ играеть.

«Ребятишки такъ и запрыгали; одинъ кричитъ: «папася, мнѣ

коловку!», другой голосить: «папася, пасуська!».

«Какъ вскрыль да поставиль я картину на столь, такъ даже ахнуль... Этакой ты безстыжій, Карлъ Иванычи! Къ женатому человѣку да такую пакость!.. Утра-то на картинѣ вовсе нѣть: стоить молодая дѣвка въ одной рубахѣ, руки моеть, рубашонка съ плечъ спущена, все наружи, рядомъ постель измятая... И другое житейское — все тутъ же!

«Жена какъ взвизгиетъ да всплеснетъ руками. Плюнула

на картину, говоритъ:

— Срамникъ ты, срамникъ этакой, Иванъ Семенычъ!.. На старости лѣтъ пакостями вздумалъ заниматься!.. Я, говоритъ, отцу Симеону пожалуюсь, задалъ бы тебѣ на духу хорошенькаго нагоняя, епитимью наложилъ бы. А меня, покамѣстъ эта мерзость въ домѣ, ты и не знай.

«Ушла и дверью хлопнула.

«А ребятишки пальцами въ картину тычутъ, кричатъ: «кормилка! кормилка!». А кучеръ Гришка, что ящикъ въ комнаты вносиль, сзади стоить, ухмыляется да бормочеть себѣ подъ носъ: «ровно кума Степанида».

«— Вонъ всв пошли! — крикнуль я.

«Остался одинъ передъ «Утромъ», разглядывать сталъ... Бъсъ и ну смущать... Глаза масляные, съ поволокой, зубы оълые, сама дородная; смугла, зато грудиста, а волосы смоль, какъ есть смоль черные.

«Гляжу-гляжу, а самъ чувствую, какъ грѣхъ-отъ на душу лѣзетъ. Мурашки по спинѣ... Дышишь — задыхаешься, въ сердце ровно горячей иглой кольнуло тебя. Разоѣжались глаза... Хорошо намалевано!.. Да гдѣ-жъ «Утро-то итальянское»?

«Вспомниль, что въ законѣ, въ бракѣ то-есть состою — нечего, значить, на чужую красоту глаза пялить... Какую Богь послаль — той и держись, а на чужую не смѣй зариться, грѣшныхъ мыслей не умножай!.. Такъ Господь повелѣль... «Грѣховодникъ ты, грѣховодникъ, Карлъ Иванычъ! Вотъ оно въ тихомъ-то болотѣ черти живутъ. Тихоня, скромникъ, бывало, на курносую, рябую стряпку взглянетъ, такъ весь заръдѣетъ, а вотъ чѣмъ занимается!..»

«Жену кой-какъ усовъстилъ, резоны ей представлялъ всякіе: даровому-де коню, матушка, въ зубы не смотрятъ, а тебъ, говорю, опасаться нечего, дъвка не живая.

орю, опасаться нечего, дъвка не живаз «Степанидой попрекнула. А и ей:

«— Степанида, говорю, матушка, вещь живая, и ты сама знаешь, что я теперь — ни-ни. А это, говорю, картина, вещь бездушная, гръха отъ нея случиться не можетъ.

«Такъ да этакъ, уговорилъ Катерину Васильевну повъсить

картину въ гостиной.

«Пов'єсили. Только сталь я зам'єчать, что моя Катерина Васильевна невесела ходить; каждый разъ, что ни пройдеть черезъ гостиную, плюнеть. Иной разъ всплакнеть даже. Станешь что-нибудь говорить съ лаской, она: — «Ступай, говорить, въ гостиную, тамъ у тебя «Итальянское утро».

«Раздоръ семейный, несогласіе!.. Ахъ, ты, нѣмецъ окаянный! «Рождество Христово подошло, съ визитами всѣ. Мужчины пріѣдуть — съ «Утра» глазъ не сводять, а барыни — хоть святыхъ вонъ неси. «Человѣкъ вы немолодой, Иванъ Семенычъ, — корятъ меня: — малыхъ дѣтей имѣете, а такой соблазнъ въ честной домъ внесли... Бога не боитесь!... И ни одна, бывало, мимо картины не пройдетъ, чтобы не плюнуть!.. А небось, какъ у его превосходительства Алексѣя Михайлыча въ Княжовѣ балы бываютъ, такъ изъ угольной отъ Аполлоновой статуи нашихъ барынь плетью не оттонишь.

«Житья не стало отъ окаяннаго «Утра». Отецъ Симеонъ

началить сталь:—«Грёхъ, говоритъ, въ одной компатё со свя-тыми иконами богомерзкое изображеніе держать».

«Жаль было картинки. Не бросить же!.. Ежели въ гостиной пельзя держать, перенесу ее въ заднюю, — маленькая тамъ у

меня горенка есть, для прохлады...

«Хуже стало. Весь Рожновъ заговорилъ, что царское око въ потаенный разврать ударился! Отецъ протопонъ заходиль, строго выговаривалъ.

«Провались ты, думаю, окаянный ивмецъ, со своимъ «Итальянскимъ утромъ»! — Заколотилъ его въ ящикъ, и назадъ въ Княжово. «Давай,—пишу Карлу Иванычу,—губернатора».
О ту пору, какъ я «Утро» отправлялъ, его превосходи-

тельство господинъ губернаторъ у насъ въ Рожновъ на ревизіи быль. Прівхаль грозный и увхаль грозный. Такой робости задаль, такъ всёхъ понастроиль, что только Господи ты Боже... Во все самь входиль: и сукно на столахъ охаялъ, и коверъ, говорить, по закону долженъ быть... Замѣтилъ, что законы не за замкомъ лежатъ, что стугъя поломаны, на заднюю лъстницу даже ходилъ. Всъмъ досталось, а мнъ изволилъ сказать: «Ты ни за чёмъ не смотришь, пичего не видишь!» Такъ и сказалъ... Ей-Богу!

«Думаю: — «Ну какъ ивица да продернетъ на портретв... Какъ угораздить его, чортова сына, безъ орденовъ изобра-зить. Повъсить нельзя будеть его превосходительство. Хуже

«Итальянскаго утра» выйдеть».

«Везуть ящикъ. Тутъ я ни жену ни дѣтей не позвалъ, вдвоемъ съ Гришкой ящикъ вскрывали... Ахъ, ты, иѣмецъ окаяпный... Звѣзду намалеваль, а ленгы нѣтъ... Да еще во фракъ изобразилъ начальника-то губернін!.. А у фрака-то, можете себв вообразить, лацкань больше чемъ полъ-звизды закрываетъ.

«А сходствія мпого; и смотрить грозно и руку за жилеть. Такъ вотъ, кажется, сейчасъ и скажетъ: «а ты чего смотришь,

дуракъ?»

«Повѣсилъ я портретъ въ гостиной падъ диваномъ. Спервопачалу у насъ въ домѣ все посмирнѣй пошло, и жена меньше ругается и развратомъ не попрекаеть. Кто ни придеть, всякій, бывало, съ почтенісмъ взираетъ. Одипъ Иванъ Навлычъ, ну

да онъ что?.. Волтерь, такъ Волтеръ и есть.

«Заварилось той порой казусное дёло. Окружной съ откуп-щикомъ не поладилъ, каши ему наварилъ. Изъ-за выставокъ дъло ношло. Знаете, выставка пятидесятидневная, а сидять съ виномъ круглый годъ. Окружной взъерошился, дёло поднялъ. Произвели слёдствіс, въ уёздный судъ представили, плохо сочиненія п. мельникова. т. і. о́ткупщику. Самъ прискакалъ... Заметался во всѣ стороны: «отцы, говоритъ, родные, выручайте». Съ окружнымъ на ми-

ровую, съ нами тоже.

«Только-что увхаль онь оть меня, стою въ гостиной, считаю благостыню. Подняль глаза, варомъ меня обдало! Его превосходительство глаза такъ и выпучилъ. — «А! мошенникъ, попался!.. Въ моемъ виду берешь!.. А но Владиміркв хочешь?.. А?..» Руки съ деньгами я за себя, самъ думаю: — «А въ самомъ двлв, неловко въ присутствіи его превосходительства якобы благодарность получать. Оно, конечно, не въ самоличности, однакожъ подобіе».

«Да сыскоса и глянуль на портреть... диво, ей-Богу!.. Не

страшно.

«Однакожь, думаю, что-жь это за оказія? Сталь замічать: — никто не боится портрета, даже и ребятишки. Старшій-оть у меня побойчье, безъ робости въ гестиную ходить, запрыгаеть на одной ножкв передъ портретомъ, спустить рукава съ ручонокъ да и кричить во все горло: «Альмянинъ, альмянинъ, больсеносой альмянинъ!»

«— Какой, — крикну ему, — армянинъ? Это начальникъ, ты

долженъ имъть къ пему уважение.

«А онъ прыгаеть да твердитъ: «Пе нацяльникъ — альмянинъ!.. Не нацяльникъ — альмянинъ»... Да все на одной пожкъ. Съкъ

два раза — неймется.

«Песарцы») въ Рожновъ прівхали, моя Катерина Васильевна и кликни ихъ... Бабье двло, имъ бы хоть ноглазвть на нарядныя вещицы. Разложили цесарцы товары въ залв. Жена и ну приставать: купи да купи ей браслетку да брошку. Я спачала будто не слыту, а какъ надовла, вызваль ее въ гостиную, сталъ урезонивать.

«— Образумься, говорю, матушка! Пристало-ль тебѣ, говорю, браслеты да брошки посить? Вѣдь ты ужъ не молоденькая!..

«Какъ ругиетъ меня!.. Да разъ, да другой, и пошла и ношла. «— Что ты, говорю, матушка, раскудахталась? Хоть бы его превосходительства постыдилась!

«А Катерина Васильевиа какъ захохочеть, такъ даже и

покатилась.

^{*)} Цесарцами назывались мелкіе торговцы, развозившіе по городамь и помѣщичьимь деревнямь товары и лѣкарства. Они назывались и «венгер-цами». Это были словаки, много между ними было и жидовъ, прикидывавшихся словаками. Лѣтъ сорокъ или болѣе тому назадъ, велѣдствіе злоунотребленій жидовъ, особенно по продажѣ лѣкарствъ, пиогда даже ядовъ, горговля эта была стѣсиена до того, что векорѣ цесарцы у насъ совсѣмъ перевелись.

«— Дуракъ, говорить, ты, дуракъ... Какое это начальство? Это, говорить, тряпка малеванная! Это, говорить, воть что...

«Да какъ харкнетъ прямо въ носъ его превосходительства. «Я такъ и ахнулъ... А какъ прошло время, думаю, что-жъ

это въ самомъ дѣлѣ? Не похоже развѣ?

«Сталъ больше замѣчанія держать. Что за шуть, прости Господи... Никакой робости передь портретомъ... Что такое?.. До того дошло, что иной разъ послѣ пирушки голова развинтится,—тряпку съ уксусомъ приложишь, травничкомъ опохмелинься да, принеся подушку въ гостиную, положишь ее на диванъ, да въ халатѣ подъ портретомъ и ляжешь. Лежишь да посматриваешь, иной разъ даже скажешь мысленно: «Ну что? Ну вотъ я и пьянъ, и въ судъ не пошелъ, а ты ничего не можешь сдѣлать, даромъ что губернаторъ». То-есть, я вамъ доложу, ин малѣйшей робости. Тутъ только я догадался, что портретъ-отъ былъ привезенъ на другой день послѣ того, какъ его превосходительство намъ копоти задалъ. Со страху-то на первое время онъ грозно смотрѣлъ и уваженіе къ себѣ вселять, а какъ дѣло-то поулеглось и портреть-отъ приглядѣлся, робости и не стало.

«Не ловко дѣло. Ребятишки подрастаютъ, и ежели мальчишки съ малолътства не будутъ уважать начальство, что выйдетъ изъ нихъ, какъ вырастутъ?.. Сохрани Господи и помилуй отъ такого несчастія! Взялъ я отпускъ дёнъ на четырнадцать, въ

губернію потхаль. Портреть съ собой.

«Тамъ узнаю, что его превосходительство новой монаршей милостію взысканъ, Владиміра второй степени большого креста нолучить удостоился. Портретъ-отъ, значитъ, я и кстати при-

везъ, другую звъзду надо пририсовать.

«Живетъ у насъ въ губерніи Иванъ Лазаревъ, цараповскій отпущенникъ. Живописью кормится: вывѣски по городу пишетъ и Божьимъ милосердіемъ отчасти промынляетъ, иконы то-есть пишетъ, и хоша запиваетъ, однако богомазъ изъ наплучшихъ. Портреты, окромѣ царскихъ да его превосходительства, теперь перестатъ писатъ; портретная-де работа подошла и совсѣмъ, почитай, перевеласъ съ тѣхъ поръ, какъ угораздило нѣмца какого-то штуку выдуматъ: посадитъ человѣка передъ ящикомъ, портретъ въ ящикѣ самъ готовъ. Ни дать ни взять, какъ камедіянты яичницу въ шляпѣ стряпаютъ. Нечистая-ль сила тутъ малюстъ, другое-ль что, только эти ящики, — говоритъ Иванъ Лазаревъ, — насущный хлѣбъ у нашего брата отбили... Вѣдь на вывѣскахъ да на Божьемъ милосердіи далеко, говоритъ, не уѣдешь.

«Я къ нему, къ Ивану Лазареву. Пріятеля-то, Карла Ива-

ныча, въ нашей губернін тогда ужъ не было, въ Ивмечниу увхалъ. Говорю Лазареву: — «Вотъ, братецъ ты мой, портретъ его превосходительства, припиши ты другую звъзду, въ мундиръ наряди и въ ленту, да въ лицв величія и строгости подпусти. Заодно ужъ и золотую раму спроворь».

«Поладили за тридцать цёлковыхъ кругомъ.

«— Смотри же, говорю, не попорти, работа нѣмецкая.

«— Помилуйте, говорить, батюшка Иванъ Семенычъ. Намъ нъмецка работа ни почемъ. Бывала въ нашихъ рукахъ самая даже итальянская. Не самоучкой дошли до искусства, покойникомъ бариномъ изъ годовъ Ступину въ академическую школу былъ отданъ. Десять лътъ, сударь, въ Арзамасъ выжилъ! Рафаэля можемъ писать.

«— Къ тому я тебъ говорю, Иванъ Лазаревъ, что руки-то

у тебя больно трясутся.

«— Это, говорить, ваше благородіе, отъ пьянства. Запоемъ пью. А вы не сумлівайтесь; хоша рука и дрожить, однакожъ на губернаторскихъ портретахъ шибко набита. Такъ я ее, сударь, набиль, что вотъ хоть сейчасъ, въ вашемъ виду зажмурюсь и портретъ напишу: въ рость, такъ въ рость поясной. Оченно много заказываютъ.

«Ждалъ я недолго. Несетъ Лазаревъ портретъ. Передвлалъ на диво. Своимъ добромъ хвалиться не велять, а тутъ ужъ просимъ извиненія... Хорошъ! утанть нельзя.

«Какъ принесъ его Иванъ Лазаревъ — взглянулъ я и глаза

опустилъ.

«— Спасибо, говорю. Воть твои деньги, воть еще полтинникь на водку. Одолжиль!..

«— Питеръ, не губернаторъ, — говоритъ Иванъ Лазаревъ, отступивъ шага на три и закинувши голову.

«— Именно, говорю, хоть въ Интеръ такой портретъ.

«— Громы, говорить, мещеть грозный зѣвъ *).

«— Грозёнъ, говорю, дъйствительно. И зъвъ, говорю, у сто превосходительства очень грозёнъ. Зарычитъ на ревизін— душа въ иятки уйдетъ. Ну, говорю, можно тебъ чести приписать, Иванъ Лазаревъ, руки у тебя золотыя. Жаль только, что руки-то золотыя, да рыло поганое. Зачъмъ не въ мъру пъешь?

«— Эхъ, завей горе веревочкой!.. Прощайте, батюшка Иванъ Семенычъ. Тенерь за ваше здоровье запилъ Ванька, загулялъ.

^{*)} Пванъ Лазаревъ въ Арзамасъ у Ступпна учился миоологіп, зпалъ про Зевса и Юпитера. Пванъ Семенычь, не получивъ классическаго образованія, полагаль, что сму онъ про Петербургъ да про губерваторскій зъвъ говоритъ.

«Что ни знаю живописцевъ, до вина очень охочи. Хоть и Карла Иваныча взять: бывало, такъ наръжется, что и русскому не сумъть! А изъ господскихъ, что отдаютъ вь ученье живописному, все давятся побольше; баринъ учитъ-учитъ человъка, а какъ только выученный малый поступитъ въ барскій домъ, тотчасъ и задавится. Ну и убытокъ.

«Привожу домой обновленный портреть, вѣшаю на прежнее мѣсто. Тишина райская ношла. Жена ни гугу, а дѣти разревутся— нянька прямо ихъ въ гостиную. Покажетъ на портреть,

скажетъ: «а вонъ бука-то!». Ребенокъ и стихнетъ.

«Сами изволите видѣть: и величіе, и строгость, и важность, все. И двѣ звѣзды и леита черезъ плечо.

«Случится въ судъ опоздать, такъ я изъ спальной черезъ кухню, а мимо портрета не могу. Не вынесу, ей-Богу не

вынесу!

«Да не я одинъ... Помпите, Антонъ Михайлычъ, какъ въ прошломъ году и полученіе безпорочной пряжки праздновалъ. Этакъ же вотъ собрались всѣ у меня, Андрей Петровичъ, только вечеромъ. Послѣ ужина подали жженку варить. Середь гостиной столъ поставили, свѣчи вынесли, зажгли жженку. Только вдрутъ вотъ Антонъ Михайлычъ какъ закричитъ: «Убери, Иванъ Семенычъ, убери поскорѣй!..» Взглянули, а отъ пламени-то личико его превосходительства такъ и морщится, такъ и хмурится. Пошелъ я къ Катеринѣ Васильевнѣ, взялъ драдедамовый платокъ и съ благоговѣніемъ завѣсилъ портретъ».

— Да, сходствіе большое, — зам'єтиль, затягиваясь жуко-

вымъ, Антонъ Михайлычъ.

— Мечта! — замѣтилъ исправникъ.

— Хороша мечта, — возразиль городничій. — А въ прошлую ревизію какъ за мосты да за гати кого-то пудрили? Тоже мечта была?

— Ивть, Степанъ Васильичь, — подхватиль именинникъ: — туть не мечта. На что Иванъ Павлычь, и тоть передъ пер-

третомъ горла зря не распускаетъ. Да гдв онъ?

Огляпулись: Волтерь, сидя на стуль и склонивь на окно буйную голову, спаль богатырскимъ сномъ. Пять экстръ приди, десятка два эстафеть прівзжай, — не добудятся.

— Свалило, - мотнувъ головой, заметилъ городничій.

БАБУШКИНЫ РОЗСКАЗНИ.

Разсказъ.

Бабушка Прасковья Петровна Печерская кончила жизнь далеко за сотню годовъ отъ роду. На старости лѣтъ хватила старушка грѣха на душу — молодилась. Бывало, бабушкѣ все восьмой десятокъ въ доходѣ. Лѣтъ двадцать пять доходилъ, — такъ и не дошелъ.

Бабушка Прасковья Петровна на самомъ-то дёлё была мнё прапрабабушкой, да мы всё ее бабушкой звали. И эго ста-

рушкѣ правилось.

Спросишь, бывало:

— Въ которомъ году родились вы, бабушка?

— А воть ужь года-то, mon coeur, и не упомню, — отвътить. — Да ты считай: покойница матушка принесла меня въ самый тоть день, какъ на Охтъ попа жгли. Привозить того попа въ Петербургъ князь Дундукъ, а князь Дундукъ въ ту пору былъ еще некрещеный, и тотъ попъ былъ у него самый набольшій: по-нашему архісрей, по-ихнему, по-калмыцки, чурлама. Онъ въ Петербургъ возьми да и помри, а по калмыцкому закону мертваго попа падо жечь. Ну и сожгли. Весь Петербургъ тогда на Охту высыпалъ: всякому лестно было поглядъть, какъ поповъ жгутъ. И батюшка съ матушкой, дай Богъ имъ царство небесное, ѣздили. Матушку-то въ народъ и помяли: какъ прівхала домой, такъ меня и принесла... Такъто, Андрюша!.. Ты зналъ ли, голубчикъ, что я недоносокъ?

Бабушка! да вѣдь этому больше ста лѣтъ *).

— Полно-ка ты, — ваворчить бабушка: — молодь еще надо мной смѣяться!.. Сто лѣть!.. Экъ что сморозиль!.. Перекрести лобъ-отъ, опомнись... Семьдесять восемь либо семьдесять семь — это можеть статься, а ты ужъ гляди-ка что махнуль!.. Сто годовъ!.. Прошу покорно!..

^{*)} Сожженіе чурламы было въ май 1736 года.

И пойдеть, бывало, ворчать бабушка, но не надолго: добрая была старушка и меня очень любила. Съ малолётства былъ и ся баловиемъ. Меня, бывало, такъ и звали: бабушкинъ внучекъ да бабушкинъ внучекъ. И она очень это любила.

Глуха подъ старость стала и видѣла плохо, но память сохранила рѣдкую. И, какъ часто бываеть съ людьми преклопныхъ лѣтъ, хорошо помнила только время молодости. Какъ начнетъ, бывало, свои розсказни про времена елизаветинскія да екатерининскія — все до подробности разскажетъ, а французскаго погрому не помнила, хоть и вывезли ее изъ Москвы за пять часовъ до вступленія Наполеона и она, крестясь и глухо рыдая, всю ночь проглядѣла изъ подмосковной на страшное зарево славнаго пожара.

— Какъ же это вы забыли, бабушка, какъ Наполеонъ-отъ

въ Москву приходилъ? - спросишь, бывало, ее.

— Ивть, милый Андрюша, не припомию. Не припомию, родной... И долго жила на Москвв, а такого не помию... Да кто онъ такой быль? По прозвищу изъ чужестранцевъ, должнобыть?

— Французъ, бабушка

— Французъ!.. Истъ, моя радость, такого не помню. И хвастать не хочу. Много вёдь французовъ-то тогда на Москве проживало... Да онъ кто таковъ? Танцовщикъ аль гувернеръ, можеть статься?

— Императоръ, бабушка.

— Императоръ!?. Какъ такъ императоръ?.. Какой?

— Императоръ французовъ, бабушка.

- Перестань, Андрей!.. Грѣхъ надъ бабушкой смѣяться. Господь счастье отниметь... Смотри-ка, что вздумалъ. Нашель у французовъ императора!.. А еще учишься!.. Нехорошо... Императоровь, то соеиг, во всѣмъ свѣтѣ только двое—нашъ да еще римскій; салтанъ турецкій тоже въ рангѣ императора состоить, только не совсѣмъ, для того, что некрещеный. А у французовъ, топ соеиг, король, гоі de France et de Navarre... Да... какъ ныныняго-то зовуть? Louis seize все еще царствуеть, аль дофинъ воцарился?

— Эхъ, бабушка, чего хватилась! Да теперь ужь лѣтъ пять-

десять, какъ Людовику головку срубили.

— Жалью, очень жалью. Безподобный быль король и къ намъ всегда быль расположенъ. Моп соизіп, князь Свибловъ, при нашемъ резиденть въ Парижь находился и разсказываль про Louis seize очень много хорошаго. «Il ne parle jamais de notre impératrice, — говаривалъ mon cousin: — que dans les termes du plus profond respect et de la plus haute estime». По-

тому и жалью его. Только выдь опъ быль такой миролюбивый; съ къмъ же это онъ воеваль? Съ гишпанскимъ, полагаю.

— Ин съ къмъ, бабушка, не воевалъ.

— Il est tué — ты сказаль.

— Tué-то tué. Да не на войнъ, а на эшафотъ.

— Послушай, Андрей! Ты, должно-быть, мартинисть... Нехорошо, милый, очень нехорошо! Ужъ ты съ Лопухинымъ не знаешься ли?.. Смотри, mon coeur, пе опечаливай бабушку: мало-ль что можеть случиться! Долго-ль къ Шешковскому въ ланы попасть?.. А у него, men pigeonneau, еще милость Божія, какъ только посвкуть-это еще ничего, примочиль арникой и вся недолга,—а неровень часъ... хуже бываеть... Н'ять, Андрюша, береги ты себя и бабушку не огорчи!.. И объ чужестранныхъ короляхъ всегда говори съ уваженіемъ... И какія відь ты, въ самомъ діль, несодівянныя вещи говоришь: и король-отъ на эшафоть, и французскій-то императорь въ Москву прівзжаль... Стыдно, топ соенг, безпримърно какъ стыдно... Постой... постой, Андрюша! Вспомнила, вспомнила... Ты перепуталь, радость моя!.. Точно, быль на Москвъ императоръ, только не французскій, а римскій! Жозефомъ звали. Видала его, голубчикъ, видала... На балъ у главнокомандующаго видѣла, въ Нескучномъ — у графа Алексѣя Григорьича Орлова, въ Кусковѣ — у Шереметева на праздникѣ... Какъ теперь на него гляжу: черты такія тонкія, нѣжныя. Только опъ сохраняль самое строгое incognito и завсегда въ трактирахъ да на постоялыхъ дворахъ приставалъ. А когда у государыни въ Царскомъ Сель находился, проживалъ въ бань. Надъ баней-то государыня трактирную вывъску вельла повъсить. Онъ и повъриль, да такъ и прожиль все время въ банъ и тыть свое incognito сохраниль... Графомъ Фалькенштейномъ прозывался, а ты и прозвище-то ему какое-то несообразное придумаль... Наполеонъ! Что такое Наполеонъ?.. Такихъ святыхъ и у католиковъ нътъ, не то что у насъ, правовърныхъ... Собачья кличка какая-то!.. Нехорошо, мой дружокъ!.. Будь умникъ, топ bijou, такихъ словъ не говори, особенно при чужихъ людяхъ... осудятъ... Нехорошо... Да...

Много испытала въ своей жизни покойница-бабушка. До замужества жила въ Петербургв, а выходила замужь не очень стара: лътъ четырнадцати. Была при дворъ Елизаветы Петровны и Екатерины второй, жила въ Москвъ во время чумной заразы, въ Казани передъ пугачовскимъ разгромомъ, въ Нижнемъ, въ Архангельскъ, въ Прославлъ, въ Кіевъ и опять по нъскольку разъ въ Москвъ и Петербургъ. Много видъла, много слышала, больше того испытала... Что гръха тапть —

смолоду бабушка пошаливала... Да какая-жъ молодая, свътская женщина въ тотъ въкъ не пошаливала?.. Время было такое... А вотъ что странио: каждая женщина, въ стары ли годы, въ нынъшнемъ ли въку, ежели смолоду пошаливаетъ, подъ старость непремънпо въ ханжество пустится, молебнами да постами молодые гръшки поправить бы... За бабушкой не водилось этого. Печать восемнадцатаго въка неизгладимо сохранилась на ней до самой кончины... Бывало, съ грустью, со слезами на тусклыхъ очахъ глядитъ на свою изсохшую, желтую руку, вспоминая то время, когда напудренная молодежь любовалась ся прекрасной, пухленькой, бёлоснёжной ручкой... Лътъ съ иятидесяти въ зеркало перестала смотръться... Страшно стало постаръвшей красавицъ взглянуть на себя... Ho никогда нимало не ханжила. Напротивъ, отъ нея отъ первой узналъ я про Вольтерову le sermon des cinquante, про Фоблаза, про la guerre des dieux.

Впрочемъ, въ послъдніе годы жизни своей бабушка каждый день до обмороковъ замаливалась. Сотни по полторы, по двъ земныхъ поклоновъ по вечерамъ на сонъ грядущій клала... Разыгрывалось тогда въ лотерею головинское имѣнье, бабушка взяла три билета, и ей очень хотѣлось выиграть Воротынецъ. Объ этомъ-то она и молилась, да такъ усердно, что каждый разъ, бывало, ее безъ чувствъ въ постель уложатъ... Лотерея была разыграна, бабушкѣ вынулись пустые, но опа върпть тому не хотѣла и попрежнему молилась до обмороковъ о богатомъ Воротынцъ, объ его садахъ, пристаняхъ, картинныхъ галлереяхъ и другихъ богатствахъ диковиннаго имбиія.

Много воды утекло съ тъхъ поръ, какъ пришлось мив бросить горсть сырого, желтаго песку на бархатный гробъ нѣжно любившей меня старушки... Я быль очень еще молодъ, когда, бывало, сидя у изразцовой лежанки, гдѣ любила грѣть свои косточки нокойница-бабушка, слушаль разсказы ея про старые годы. Не могь тогда оцьнить ижъ: мимо ушей они пролетали, другіе тотчасъ забывались.

Но теперь, когда стихли порывы легкомысленной молодости и сёдина начинаетъ въ бородё пробиваться, добрая бабушка, съ ел сказаньями, воскресаеть въ намяти, и люди восемнадцатаго вѣка встають передо мной, какъ образы какой-то знакомой, хоть и не прожитой жизни. Влескъ протекшей эпохи ослѣпительно бъеть въ глаза... Все такъ величаво, такъ пышно, широко и обаятельно...

Но этотъ блескъ—случайный, внёшній. Поднимая заповёдную пышную зав'єсу, за которую отъ пытливыхъ взоровъ грядущихъ поколёній хоронится восем-

надцатый въкъ, видишь душевную пустоту, царствующую нады вътренымъ покольніемъ, что, прыгая, танцуя, шутя и смъясь, съ тріолетомъ буриме на устахъ, врасилохъ застигнутое смертью, нежданно для него и негаданно вдругь очутилось въ сырыхъ и темныхъ могилахъ... Когда оживаютъ въ памяти разсказы милой бабушки и возстають передь душевными очами ббразы давно почившихъ дъдовъ, слышатся: и наглый крикъ временщиковъ, и таниственный лепстъ юродивыхъ, и подобострастныя ръчи блюдолизовъ, и голосъ въчно живущей правды изъ-подъ дурацкихъ колпаковъ. Слышатся амурный шопотъ петимстровъ и метрессъ, громкія, сочныя лобзанья дворовыхъ красавиць, ревъ медвідей, глухіе удары арапника, вой собакъ и сладостныя созвучья итальянской музыки. Чудятся баснословные праздники, ледяной дворецъ Анны Ивановны, маскарадъ на московскихъ улицахъ, екатерининскій карусель, потемкинскій баль, плаванье по Волгь съ переводомъ Мармонтеля, блестящая побздка въ Тавриду...

Все ликовало въ тотъ въкъ!.. Й какъ было не ликовать? То быть вікь богатырей, вікь, когда юная Россія поборола двухъ королей-полководцевъ, двъ первостепенныя державы низвела на степень второклассныхъ, а третью-подалила съ сосъдями... Полтава, Берлинъ и Чесма, Минихъ въ Турціи, Суворовь на Альпахъ, Орловъ въ Архипелагъ и геніальный, неподражаемый, великольпный князь Тавриды, создающій новую Россію изъ ничего!.. Что за величавые образы, что за блескъ, что за слава!..

Но съ этимъ блескомъ, съ этой славой объ руку идутъ высокомърное полуобразованіе, рабольнство, слитое воедино съ наглымь чванствомь, корыстныя заботы о кармань, наглая неправда и грубое презрѣніе къ простонародью...

Но миръ вамъ, дъды! Спите покойно до трубы архангельской, спите до дня оправданія!.. Не посмвемся надъ вашими могилами, какъ смъялись вы надъ своими бородатыми дъдами!...

I.

Сергъй Михайловичъ.

— Куда какъ просто живали мы въ старину-то, Андрюша. Сравненія н'ять никакого съ нынішними поведеніями... Затійное было времечко, раздольное да привольное.

«Не ломали твои дедушки дворянскія головы надъ всякими науками, зато выхранку такую задавали по ночамъ да пообыдавши!.. Немного думали, mon pigeonneau, зато много кушали, и оттого здравы и долголетны бывали.

«А теперь пошли люди тщедушные и живуть не подолгу. А отчего? Мало фдять, много думають... Да... Вёдь крёпкая-то

дума кровь портить, mon coeur... Да...

«А какіе здоровенные люди въ наше-то время бывали! Генералъ-аншефа Михайлу Васильича Пильнева взять... Помнишь, въ Прославлъ государсвымъ намъстникомъ былъ?.. Онъ тебя очень ласкать изволилъ... Какъ, бывало, ни прівдеть къ намъ, тебя на кольнки посадить и жалованиу табакерку съ алмазами дастъ поиграть... А ты ее одинъ разъ и раскокалъ... Наценька твой за это намъстнику свраго аргамака подвель, а тебя высѣкъ... Нѣтъ, постой, mon coeur, — неренутала я, это папеньку твоего за табакерку-то высъкли... Такъ... Точно такъ — Петрушу, не тебя: ты еще тогда не родился... Такъ воть Михайла-то Васильичь... Истипно быль человъкъ, можно чести приписать. Быкъ, сударь мой, быкомъ... Иначе какъ на софъ не садился, а ежели въ бальной залъ случится ему състь, такъ на трехъ стульяхъ -- меньше нельзя... Породистъ ужъ очень быль... А когда померъ, гробовщикъ такъ и ахнулъ. «Этого барина, говорить, въ одномъ гробъ не похоронишь». Косяки въ намъстничьемъ домъ изъ дверей выламывали, гробъ-отъ чтобъ возможно было вынести... А ныиче что за люди?.. Мозглякъ на мозглякѣ, — смотрѣть даже непріятно. «А ужъ простота какая была, Андрюша!.. По чести сказать,

«А ужъ простота какая была, Андрюша!.. По чести сказать, ужесть какая простота!.. Хоть бы того же Михайлу Васильича взять! Въ лѣтнюю пору, бывало, сберутся молодые, иной разъ старички, да всю ноченьку напролеть и прокуликають. А пили въ стары годы, mon coeur, безпримѣрно — не по-нынѣшнему. Пропивши ночь, подъ утро съ пѣснями да съ музыкой по улицамъ—да прямо въ Рубленый-Городъ. Тамъ у Ильи Пророка передъ намѣстничьимъ домомъ станутъ да какой-нибудъ полонезъ и грянутъ. Разбудятъ, конечно, Михайлу Васильича, онъ безъ нарика, въ одномъ шлафрокѣ на балконъ и выйдетъ.

«— Что вы, пострылы, — крикисть: — съ пьяныхъ-то глазъ у меня весь Ярославль перебулгачили? Аль подъ караулъ захотъли?

«А тѣ ему:

Мы тебя любимъ сердечно, Будь ты намъстникомъ въчно! Наши зажегь ты сердца— Мы въ тебъ видимъ отца!

«И велить Михайла Васильпчъ ключнику наливокъ корзинкудругую на площадь вынести... И самъ выйдеть къ гулякамъ, усядется съ ними на краю горы, что надъ Которостью, да до поздняго утра и прогуляютъ. «Воть выдь и намыстникь быль и генераль-аншефъ, а изрядными людьми не брезговаль, какъ теперь поповить какойинбудь въ люди выскочивши... Parvenu, знаешь, этакой, выскочка изъ подлости... Ухъ, какой безподобный быль человыкъ Михайла Васильичь!.. Ужесть!.. Нопробуй-ка нынче, mon bijou, такъ сдылать — въ самомъ дыль, пожалуй, подъ караулъ угодишь... Какъ можно сравцивать старые годы съ нынышними!..

Гораздо было проще.

«Опять Сергия Михайлыча взять — Чурилина. Безпримирный быль человькь, даромь что изъ солдатскихъ дьтей. Штатскій дъйствительный совътникъ, отставной красногорскій губернаторъ, аннииская лента черезъ плечо — персона, значитъ, немаловажная. Взявиш абшидъ, доживаль свой вѣкъ у насъ въ Зимогорскъ... Иокойникъ твой дедушка съ драгунами тогда въ Зимогорскъ на винтеръ-квартирахъ стоялъ, тамъ и жизньто свою скончаль, въ синодальномъ Благовѣщенскомъ монастырв и погребенъ... Я ужъ вдоввла, у Ванюши жила, когда Сергый-отъ Михайлычъ въ Зимогорскъ на житье перекхалъ... Изрядный быль господинь, отмѣннаго ума, всѣ уважали его и боялись. У кого дѣло какое случится— ссора-ль домашняя, другое ли что— нервымъ долгомъ къ Сергѣю Михайлычу. II совъть дасть и помирить, а ежели кто виновать, и пожурить, да, гляди по внит и по человтку, иного и тросточкой... Всякое дило устроить умиль... И за то Сергия Михайлыча вси какъ родного отца любили, «дедушкой» звали, а онъ всемъ говориль «ты» и каждаго «собакой» зваль — не изъ брани, а любя. Всв ручку у него цёловали, и дамы, даже et demoiselles, а онъ руку цёловалъ только у преосвященнаго, съ попами въ губы цъловался. Безъ спроса Сергъя Михайлыча ни единой дворянской свадьбы не бывало, сынъ ли у кого родится, дочь ли-имени младенцу отецъ съ матерью наречь не смёли, спрашивали, какое будеть угодно Сергью Михайлычу. И всьхъ самъ крестиль — любиль крестить, дай Богь ему царство небесное. Бывало, и у дворянъ, и у купцовъ, и у поповъ у всёхъ въ кумовьяхъ.

«И что-жъ ты думаешь, mon coeur, какая изъ этого непріятность вышла... Подросли крестники да крестницы, хвать — анъ по всей Зимогорской губерніп ни одной дворянской свадьбы сыграть невозможно: всё въ духовномъ родстві, всё одного крестнаго отца дёти. Теперь, слыхала я, такого закона ужъ иётъ, а тогда очень строго было... Пу, извёстно, которые и повлюблялись другь въ дружку, а вёнчаться не могутъ. Досталось же тогда крестному батюшкё на орёхи! Такія поминки сердечному Сергью Михайлычу загибали, что не одинъ, чать,

разъ кипулось ему на томъ свётё. Дёлать нечего: стали невёсть изъ другихъ губерий брать, а барышень въ Москву для замужества возили. Съ десятокъ однакожъ до того крестными братцами заразились, что съ горя да съ печали въ монастырь пошли... Дуры онё были, mon pigeonneau... По моему разсужденью сущія дуры!.. Не могли разві просто любиться?.. Не правда-ль, mon bijou?.. А одинъ изъ крестниковъ съ любви али съ горя, а думаю, оттого, что въ голов'є сквозная пустота была, въ Волг'є утопился, другой изъ мушкетона застрёлился... Вотъ что значить крестить-то безъ пути, Андрюша!.. Поэтому я и не крещу никого... Сохрани Господи!..

«А все-таки Сергый Михайлычъ отмыный быль человыкъ. Такихъ людей, радость моя, въ нынышнее время сыскать невозможно. Въ старину-то выдь, mon petit, люди бывали безпримырно лучше, чымъ теперь... Какъ можно!.. Что теперы... Важности ныть. Ужесть какъ неловко всы выдыланы, и такъ темны въ свыть, такая у всыхъ тыснота въ головы, что просто умора... Ужесть, просто ужесть!.. Разночинцами какими-то всы

глядятъ... Право!.. Безпримърно, какъ смъщны!..

«Не такъ, mon coeur, въ наше время живали. Бывало, ни одинъ дворящить лицомъ въ грязь себя не ударитъ, всякъ свою честь бережетъ строго и съ подлой сволочью якшаться ин за что, бывало, не станетъ, а теперь... Охъ-охъ-охъ-охо!.. Иынче баринъ изъ знатнаго, родословнаго рода съ мѣщаниномъ аль съ кутейникомъ на одной ногѣ себя ставитъ — онъ, дескать, ученый. Да коли онъ ученый, такъ ученость его пущай при немъ и остается, никто у него ее не отниметъ, — да въ дворянскій-то кругъ ему подло-рожденному зачѣмъ лѣзть?.. Мѣсто, что ли, ему тамъ?.. Повѣрь ты мпѣ, mon coeur, ежели какой человѣкъ рожденъ въ подлости, будь у него ума палата, съ неба звѣзды хватай, все-таки dans la société des gentilshommes быть ему не слѣдуетъ. Дворянство тѣмъ роняется, mon cher, l'aristocratie se tombе... Ты это пойми, mon рідеоппеаи... Нельзя же, mon ami, объ этомъ не подумать. На этомъ все держится».

— Бабушка, да відь сами вы говорите, что Сергій-оть Михайлычь изь солдатскихь дітей быль... Какь же вы у

него ручку-то цёловали?...

— Ахъ, Андрюша, Андрюша! Какъ ты этого, дружокъ мой, сообразить не можешь?.. Тутъ совсёмъ иное... Сергей Михайлычъ — штатскій действительный советникъ, отставной губернаторъ, аннинская лента черезъ илечо, двё тысячи душъ. Тутъ ужъ une autre position dans le monde. Мало ли что! Н

Меншиковъ оладьями торговаль, и Шафировь въ лавкъ сидълъ, и Разумовскій на клирост ивль, однакожъ какими вельможами стали... Туть, mon cher, милость Божія, а больше того — la faveur de la cour... Кто взысканъ и вознесенъ, къ тому, въ какой бы подлости онъ ни родился, хоть бы отъ самаго последняго холона, - подлость льнуть не можеть... Навсегда омыть такой человькь оть первороднаго гръха поллости рожденія... Да... Сергій Михайлычь роду хотя быль не иляхетнаго, однакожь въ люди вышель, на службъ разбогатълъ, выгодно женился, дослужился до генеральства... А все умомь. Отменно умный быль человекь: во всякомь умномъ человеке умель сыскать себе милостивца. Сначала самъ ручки у всѣхъ цѣловалъ, потомъ у него стали цѣловать... Вотъ это и называется умъ... Да, mon coeur, это настоящій умъ, не такой, что у нынашнихъ умниковъ проявился... Посмотришь теперь: самь-оть мідной полушки не стоить, а рыло кверху гнетъ по-рублевому... Плеточкой бы ихъ, mon petit, по-старинному, либо кнутикомъ... На истинную дорогу безпремънно

бы вышли. А то смотръть даже непріятно.

«А сталь Сергьй Михайлычь въ люди выходить послъ жеинтьбы. А женился въ пугачовское замфинательство, онъ въ ту пору быль въ Черноръцкъ воеводой... Когда злодън на его городъ нагрянули, задалъ опъ, сердечный, тягу... Въ лѣсу схоронился и царску казну съ собой захватиль, опричь мѣдныхъ тривенъ да иятаковъ сибирскаго дѣла — большущія были монеты — изъ гривны-то порядочную кастрюлечку можно было сдёлать... А нынче — поневол' вздохнень да поронщешь иной разь — и денегь-то такихъ не стало — перевелись... Все-то измельчало, все-то, mon соеиг, измалодуществовалось... Прежніе-то люди какіс здоровенные были — пни дубовые, а ноньшин — хлысты вербовые... Да... Ну такъ воть Сергьй-оть Михайлычь тяжелу-то казну съ собой и не взяль — захватить-то ее было не подъ силу, серебряную казну зарыль въ землю, и въ лесу отъ сущихъ злодевъ отсиделся. А пе ушти изъ города ему было никакъ невозможно, для того, что сила у него была невеликая, да и не больно надежная, а у государственнаго злодъя ратной силы было видимо-невидимо. Пугачъ въ Черноръцкъ недолго канальствоваль, царицына сила по пятамъ за нимъ шла, для того и навострилъ онъ лыжи за Волгу. Только-что изъ Черноръцка влодъй вышелъ, Сергъй Михайлычь въ городъ... Сызнова на воеводство сълъ, чтобъ, знаешь, настоящіе порядки вести... Туть его сердечнаго плетьми взодрали».

⁻⁻ Какъ такъ, бабушка?

— Да такъ, mon coeur, выдрали да и все тутъ... По опибкъ... Такое сумятное время было. — То ли еще по ошибкъто случается, mon enfant!.. А съ Сергъемъ Михайлычемъ видишь ли какъ это приключилось. Только-что онъ на воеводство-то сызнова сълъ, глядь, анъ съ Караульной горы коннида, да все казаки. Переполохъ въ городу поднялся, думаютъ, Пугачъ воротился, бъгутъ, кто куда, сломя голову, Сергъй Михайлычъ въ огородъ, да въ горохъ и схоронился. Однакожъ его отыскали и къ казацкому начальнику сердечнаго приволокли. А начальникъ-отъ еле на конъ держится — пъянехонекъ. Спрашиваетъ Сергъя Михайлыча:

«— Кому служишь?

«А Сергъй Михайлычъ поглядълъ-поглядълъ на его пьяную рожу, думаетъ себъ: — «Гусь-отъ не кто другой, какъ пугачовецъ. Дай, надую шельмеца, а то сще съ пьяныхъ-то глазъ повъситъ, пожалуй». Да и брякнулъ:

«— Служу великому государю Петру Өеодоровичу.

«Только-что молвиль онъ это слово, на кобылу его да въ плети. Ста полтора вкатили да въ тюрьму носадили. А тотъ казацкій начальникъ вовсе быль не пугачовець, а царицынъ — изъ Михельсоновыхъ полковъ. И какъ онъ къ утру-то проспался да узналъ, что во хмелю царицына воеводу выноролъ, — пошелъ къ нему въ тюрьму alléguer pour excuse... А это онъ родного дядю илетьми-то вздулъ... Слово за слово, разговорились... и вышло, что казацкой-отъ начальникъ племянникомъ

роднымъ Сергью Михайлычу доводился... Да...

«Зато послѣ, когда Сергѣй Михайлычъ при уголовныхъ дѣлахъ находился и когда губернаторомъ былъ, какъ ни подадутъ приговоръ о кнутѣ, аль о плетяхъ, завсегда на половинку сбавить, да тому, кто подаетъ, безпремѣнно примолвитъ: «Тебѣ, собака, легко приговоръ-отъ перомъ на бумагѣ писать, а какъ станутъ его на спинѣ кнутомъ подписыватъ, такъ не тебѣ небо-то съ овчинку покажется. Ты, собака, не можешь понимать, что такое кнутъ да плети, а я, по милости родного племянничка, отвѣдалъ, каково они вкусны... Не роди на свѣтъ мать сыра земля!»

«Йослё того, какъ его высъкли, женился онъ по скорости. Нали ему слухи, что недалеко отъ Черноръцка, въ селъ Кияжухъ, молодая вдова бъдствуетъ, Марья Семеновна Жилина, а родомъ Болтиныхъ была. Мужа-то у нея злодъи повъсили въ ихнемъ селъ Енгалычевъ, а сама она съ четверыми дътьми, маль мала меньше, въ овинъ какъ-то ухорониласъ. Жилинская вотчина была немалая — дворовъ подъ тысячу, а жить Марьъ Семеновиъ негдъ: барскій-отъ домъ Пугачъ спалилъ, а у мужиковъ жить побанвалась. Оченно были они тогда неспокойны... Сергъй Михайлычъ послаль къ ней для береженья капрала съ солдатами и зваль ее на житье въ городъ. Прітехала Марья Семеновна не въ глазстахъ, не въ бархатахъ, а въ бабъей понявъ да въ кичкъ, дътки-то — Захаръ Михайлычъ, Дмитрій Михайлычъ, Сергъй Михайлычъ да еще, кажись, Петръ Михайлычъ — всѣ въ пестрядиныхъ рубашонкахъ. Отвелъ воевода Маръъ Семеновнъ съ дътьми квартиру самую лучшую, одълъ ее съ ребятниками, поилъ, кормилъ на свой коштъ, покуда не затихло замъщательство. А потомъ — женился на ней и зажилъ бариномъ. У нея и достатки хорошіе и родство хорошее; а у него мъсто доходное, сталобыть, и можно было жить складно.

«Взявши абшидъ, Сергъй Михайлычъ сталъ въ Зимогорскъ житъ. Тогда ужъ онъ овдовълъ. Жилъ одинъ, а въ домъ завсегда было ладно... Каждый Божій день открытый столъ для званыхъ и незваныхъ и какой есть часъ, какая минута — безъ гостей Сергъй Михайлычъ не обходился. Очень его любили... и побаивались. И нельзя было его не любить, нельзя и не бояться, — въ Петербургъ рука была сила сильна — съ самими Орловыми смолоду въ пріятельствъ былъ. Прежде чъмъ фортуну они себъ сдълали, по трактирамъ съ ними ку-

ликаль да на кулачныхъ бояхъ забавлялся.

«Домъ у Сергъя Михайлыча въ Зимогорскъ ужесть какой большой быль, ровно дворецъ какой... Какъ, бишь, улица-то прозывается?.. Да ты долженъ помнить, Андрюша... Тутъ еще пеподалеку архіерейскій домъ, у Тихона-чудотворца въ приходъ, помнится мнъ».

— Да в'єдь я, бабушка, въ Зимогорск'ь-то никогда и не бывалъ

— Что ты дурачишься, mon petit... Какъ это ты въ Зимогорскв не бывалъ?.. А забылъ, какъ у Сергвя Михайлыча на именинахъ либо на его рожденьи, хорошенько не запомню теперь, ты съ Лизаветой Соболевой вальсъ-казакъ танцовалъ да изъ озорства робу ей разорвалъ? Тебя, раба Божія, тутъ же въ угольпую свели да и высвкли... Что?.. Этого, видно, пе помнишь?

— Да когда-жъ это было, бабушка?.. Что вы?

— Давно, mon coeur... Полагаю, не въ томъ ли году, какъ графъ Каліостро въ Петербургъ прівзжалъ.

— Да въдь этому больше пятидесяти лътъ, бабушка, а миъ

и двадцати нѣтъ...

— И въ самомъ дѣлѣ, mon pigeonneau, — удивилась бабушка. — Правду ты сказалъ... Такъ знаешь ли что? — Что, бабушка?

— Это твоего наненьку высѣкли, Иструшку... Такъ, точно; вспомнила я теперь — доподлинно Петрушу... Какая однакожъ намять-то у меня стала, дружокъ, — все-то я забываю... А кажись бы, какіе еще мои годы?.. Про что, бишь, я говорила, Андрюша?

— Про Сергвя Михайлыча, бабушка.

 Да, про Сергъя Михайлыча. Безподобный быль мужчина, — во всемъ изрядный господинъ. Старехонекъ былъ, а любиль съ дамами поферлякурничать, - не ставиль того во грѣхъ, царство ему небесное!.. Ужесть какіе, бывало, гиплые взгляды кидаетъ да томные вздохи пущаетъ... Право, если-бъ маленько былъ помоложе, каждой бы изъ нашей сестры, до кого ни доведись, можно бы было съ нимъ до смерти залюбиться... По чести, всв мы были до Сергвя Михайлыча охотницы... Je vous assure, даромъ, что сѣдой, a les grands sucсез между нами имълъ... И какъ славенъ былъ, когда, бывало, вачнеть съ дамами дурачиться... Ухъ! какъ славенъ!.. Безпримърно... Съ les demoiselles не любилъ — визгу, говорить, отъ нихъ очень много - все, бывало, съ дамами, съ замужиими... Изъ нашей сестры каждая тотчасъ готова была надать и задурачиться съ нимъ до безумія... Старенекъ только быль: бывало, и толку всего, что языкомъ ноболтаеть, да развъразвѣ когда рукамъ волю дасть.. Ухъ, какъ, бывало, любилъ онь нашу сестру, tête-à-tête, конечно, de tater, de toucher, sonder... Ахт, какъ было утвино!.. Поминив, mon cceur?... И на чужіе амуры любиль посмотрѣть и много помогаль... Ахъ, какъ любилъ покойникъ объ амурахъ козировать *), ахъ, какъ любилъ!.. Вывало, не токма у мужчинъ, у дамъ у каждой до единой переспросить — кто съ кѣмъ «махается», какимъ вферомъ, какъ и куда прелестная пимфа свой вферъ держить **)... Будь молодая, будь старая, въ дівкахъ сиди, замужь выдь -- ему все одно... Игуменью увидить -- и ту разспросить, съ къмъ и какъ... Dans la haute société всв благородныя интрижки зналь до тонкости... Очень это было заиятно Сергию Михайлычу.

«А радушный какой быль, гостепріимный. Л'ятнимь вечеркомь, бывало, выснавшись посл'я об'яда, над'янеть б'ялый кам-

*) Causer.

^{**)} Махапися съ књиъ въ XVIII стоя, употребявлось вићето инившияго волочиться за књиъ. Переводъ s'éventer — обмахиваться въеромъ. Въеръ, какъ и мушки, приявляенныя на лицо, играли важную роль въ волокитствахъ нашихъ прадъдовъ и прабабушекъ. Куда приявилена мушка, какъ и куда махнула красавица въеромъ — это была цъдая наука.

чатный илафрокъ, звъзду къ нему пришпилитъ, кавалерственную ленту черезъ плечо, да за ворота на улицу и выйдетъ. Тамъ на лавочкъ, что у калитки, усядется... И тросточка при немъ, пикогда съ ней не разлучался, потому что на всякомъ мъстъ приводилось поучить того, кто въ умъ развизенъ *). Самъ знаешь, топ соеиг, дураку и въ алгаръ не сельно спускать.

«Идеть, бывало, по улицѣ кто-нпбудь de la noblesse, промепадь, понимаешь ты, дѣлаеть. Еще издали Сергѣю Михайльчу решнекть, потомъ шляпу подъ мышку и подойдеть къ нему. Сергѣй Михайлычъ весело, привѣтно комплименть ему

скажеть:

«— Здорово, собака!.. Сядемъ рядкомъ, нотолкуемъ ладкомъ. «Тоть, разумъется, къ ручкъ, и рядышкомъ съ Сергъемъ Михайлычемъ на лавочкъ усядется... Самъ посуди, mon plaisir, до кого ин доведись - всякому честь съ генераломъ бокъ-обокъ посидать!.. Хотя-бъ и не долгое время — а все-таки честь. Малочиновные дворяне и недоросли нарочно по угламъ улицы изъ своихъ холоней вериниковъ ставили — и только ть вершники завидять, бывало, Сергья Михайлыча у калиточки, тотчасъ сломя голову къ своимъ господамъ и скачуть. Сёль, дескать. Тё въ перегонышки къ Тихону-чудотворцу въ приходь. За угломъ изъ каретъ выйдуть да ившечкомъ, будто для-ради променада, къ генеральской калиточкъ и пробираются... А другь друга для того упреждали, чтобы прежде чиновныхъ посибть и хоть одинь бы моменть съ Сергвемъ Михайлычемъ рядынкомъ посидъть. Случалось, mon coeur, что за угломъ-то и до кулаковъ дёло доходило, потому что каждому желательно было первому у Сергвя Михайлыча ручку ноцьловать. А на глазахъ у него браниться не смъли: бывало, и тросточкой...

«Кто сядеть рядкомъ съ Сергѣемъ Михайлычемъ, тому онь, вынувиии изъ кармана табатерочку, понюхать поднесеть. Гость возьметь съ благодарностью понюшечку віолэ. Въ наше время, mon pigeonneau, всѣлюди de la société безпремѣнио нюхали; иной, сжели табакъ очень ужъ противенъ, ѣдучи въ гости нарочно кружевную манишку и манжеты табакомъ посыпалъ, а сидючи въ гостяхъ то и дѣло, бывало, въ рукахъ табатерку вергитъ, чтобъ зазору отъ другихъ не принять — онъ-де не нюхаеть... И дамы июхали, сt demoiselles при табатерочкахъ ходили. Маленькія такія табатерочки у нихъ были, voiture de l'amour прозывались, для того что изъ нихъ безпримѣрно какъ спо-

^{*)} Глупый.

собио было аматерамь les billets doux передавать. А нынче и табатерки, mon enfant, переводятся— на курево бросились всв... Нехорошо!..

«Спабдивши себя геперальскимъ віолэ, пойдеть дворянчикъ Сергію Михайлычу комплиментировать съ должной политикой

и съ отменнымъ учтивствомъ.

«— Удостойте, дескать, сказать, ваше превосходительство, въ какой позиціи драгоцвиное ваше здоровье находить изволите?

«— Ничего, — молвить Сергьй Михайлычъ: — живемъ да хльбъ жуемъ твоими святыми молитвами. А ты, собака, какъ

себя перевертываешь?

«— Досконально доложу вашему превосходительству, что такая ваша атенція раскрываеть всё мои сентименты и объявляеть нелестную преданность къ персов' вашего превосходительства.

 С— Загаланилъ, пустилъ въ ходъ мельницу!.. Полно-ка ты, собака, попусту чепухи у меня не мели, а изволь по всей откровенности разсказывать, съ къмъ махаенься, на кого гни-

лые взгляды кидаешь?

«Не успветь дворянчикъ ('ергвю Михайлычу про свои амурныя цвин путемъ доложить, какъ изъ-за угла другой господчикъ вывернется, починовиве. Подойдеть къ калиточкв, отдасть решнектъ Сергвю Михайлычу, ручку у него поцвлуетъ, Сергвй Михайлычъ и скажетъ ему:

«— Здорово, собака, здорово... Садись поближе... А ты до-

лой, по тому резону, что этотъ постарше тебя.

«И велить первому състь на тротуарную надолоу, либо хо-

лонямъ прикажетъ стулъ ему изъ хоромъ принести.

«Такимъ маперомъ, одинъ по одному, да весь le grand monde зимогорскій къ калиточкѣ Сергѣя Михайлыча, бывало, и соберется: старые, молодые, женатые, холостые, дамы, барышни — всѣ тутъ. И драгунскій генералъ, и комендантъ, и намѣстникъ съ намѣстничихой, заслышавъ, что у Сергѣя Михайлыча гости на улицѣ, всѣ туда же. Иной разъ по сосѣдству и владыка пѣшечкомъ придетъ, очень былъ друженъ опъ съ Сергѣемъ-то Михайлычемъ. Изъ дома всѣ стулья, всѣ канапе повытаскаютъ, а по угламъ улицы полиція, — подлымъ людямъ ѣзду воспрещаетъ по той причипѣ, что la haute société забавляется.

«Горячее вынесуть, подають, что кому на потребу: пушить, взварцы, глинтвейны, а дамскому полу—чай, оршадъ, фрукты, забдки и всякія закуски... Втихомолочку, mon pigeonneau, потчевали нашу сестру и наливочкой, только не при людяхъ, а въ задиихъ горницахъ либо въ кладовой... Марья Михай-

ловна — аранка крещеная — тёмъ дёломъ у Сергъл Михайлыча заправляла. Славная дёвка была, даромъ, что раба... Ежели погода тихая, на тротуарахъ столы поставятъ, за карты сядутъ. Ето постепеннъй да поскупъе — въ ломберъ, въ ламушь, въ тентере, а кто помоложе да потароватъе — въ фараонъ *), въ квинтичъ и въ рокамболь. Дамы et demoiselles въ наше время тоже охотиицы были въ картишки-то перекинуться, иныя фараонъ даже метали... А молоденькія дъвицы — больше въ марьяжъ, въ тресетъ, въ басетъ да въ чикитишны.

«Разгуляются очень, велить Сергви Михайлычь музыкантамъ играть да архіерейскимъ иввчимъ пвть. Тогда въ Зимогорскв публичный театръ ужъ быль: князь Кошавской, тамошній помъщикъ, цълу деревню во сто дворовъ въ актеры поворотилъ, музыкв обучаль ихъ, танцамъ и всему другому. Пятнадцать літь бился съ сиволаными, а на своемь поставиль-таки: всякія пьесы мужики да дівки стали у него безподобно разыгрывать... Музыканты у Сергвя Михайлыча бывали театральные, князя Кошавскаго: арін и рондо всласть разыгрывали — изъ «Дидоны», изъ «Радкой вещи», изъ «Діанина древа», а павчіе духовные канты, бывало, поють да хохлацкія півсин... Самъ владыка, съ пуншикомъ въ рукахъ, иной разъ, бывало, имь подтягиваеть... Ужесть какъ было весело!.. И то случалось, что на улице-то полоневъ почиутъ водить да менуэты танцовать. Хоть не больно гладко, да не бъда — весело-то зато какъ, смѣху-то чтді.. Ахъ, какъ утѣшно живали мы въ старые годы, mon coeur... Безпримврно, какъ утвино!.. Можно чести приписать, ужъ истинно можно...

«Ужину, бывало, подадуть тоже на вольномъ воздухѣ. На дворѣ у Сергѣя Михайлыча, возлѣ кухии, нарочно для этого елучая палатку разбивали. Ноужинавши, кто постарше, въ налаткѣ останутся и пьютъ тамъ мертвую вплоть до утра, а молодые въ садъ, съ дамами да съ барышиями променадъ нойдутъ дѣлатъ. Садище у Сергѣя Михайлыча десятинахъ на ияти былъ — отдѣланъ незатѣйно, зато для утѣхъ и веселья оченъ былъ способенъ: аллеи темныя, деревья высокія, шпалеры изъ акаціи да изъ сирени густыя, а за шпалерами куртины съ вишеньемъ, съ малинникомъ да съ смородиной... Вывало, постѣ ужина парочки ио саду разбредутся... Тамъ шенчутся, тутъ вздыхаютъ, да то и дѣло чмокъ да чмокъ, чмокъ да чмокъ, всето бывало, mon рідеоппеаці.. Ухъ, чего ни бывало, шоп соецгі.. И все-то прошло, все-то миновалось!..

^{*)} Банкъ.

«А дамы тогдашнія и барышни не того калибра были, что пынвинія. Что нынче? Дрянь! Очень ужь не въ мъру лебедки разсентиментальничались. Такими innocentes хотять себя казать, что смотрёть даже гадко... А все притворство одно, лицемъріе... Ей-Богу! Не върю я имъ, топ соешг, и ты не върь — это онъ такъ только, дурь одну на себя накладывають. Вся эта ихияя modestie, вся эта ихияя pudicité — одна только умора, — онъ одинъ только вздоръ посадили себъ въ голову. Повърь, топ ретіт, что пикакая женщина безъ мужчины дия одного прожить не можеть... Совсьмъ напрасно онъ жеманятся и кажуть себя inaccessibles... Мы это попимали, и оттого въ наше время все было просто, къ натуръ ближе... А теперь?.. Не переродились же онъ, наши же внучки, — отъ насъ же родились!.. Притворство одно, лицемъріе!.. То же самое творять, что и мы въ свои годы, втихомолочку только... А это, по-моему, ужъ гадко... N'est-се раз, топ ретіт, безотмънно одинъ вздоръ. Ну на что это похоже? Пная словно но кровномъ нокойникъ разрюмится, какъ ходя по лугу цвъточекъ номисть аль бабочку раздавить... Фу, ты, пропасть, какіе сентименты!.. Да насъ, бывало, мужчины-то самихъмяли да давили, а въдь не илакали же мы... А это что за мода такая?.. Одно только безуміе, топ ретіт... Объ чемъ, бинь, я говорила, Андрюша?»

— Объ вашемъ кумирѣ, бабушка, объ Сергѣй Михайлычѣ.
— Oui, mon cher, c'est vrai... Certainement il était notre idole, il était idole de nos âmes... Ухъ, какой безподобный былъ!..

Однако скажите, бабушка, неужели всё до единаго передъ нимъ такъ низкопоклоничали?..

— Ахъ, mon coeur, какъ ты говоришь!.. Тебя даже слушать непріятио... Ты мартинисть — я это вижу... Ахъ, Андрюша,
Андрюша — не опечаль бабушку-старуху!.. Долго ли, mon
ретіт, къ Шешковскому угодить?.. Пизкопоклонство, говоришь...
Да развѣ можно такъ называть это... уваженіе, это... это...
высокопочитаніе, это... cette consideration et deférence que
nous avions à Ceprѣй Михайлычъ... Стыдно, mon petit, пехорошо... Ты то не забудь, что Сергѣй Михайлычъ былъ
штатскій дѣйствительный совѣтникъ, а вѣдь это не quelque
chose des vétilles, mon coeur. Тогда же генералы-то не то,
что теперь — въ диковинку бывали... А главное, то вспомии,
mon bijou, что Сергѣй Михайлычъ большую фортуну имѣлъ
и у него прѝ самомъ дворѣ были сильные милостивцы... Самъ
князь Григорій Александрычъ съ руки ему былъ; не разъ

изъ Молдавін за солеными огурцами адъютантовъ къ нему присылаль!.. А ты — низконоклонство!.. Стыдись, радость моя!..

— Да какъ же, бабушка? И ручку-то у него, точно у ар-

хіерея, ціловали, и палкой-то онъ всякаго билъ...

— A зато, mon cher, кром'в пользы ничего нельзя было п получить отъ Сергвя Михайлыча. Всздв у него были благопріятели, все могь сделать, что только душе его угодно. Къ мвстечку-ль доходному кого пристроить, тяжба-ль у кого, подъ судъ ли кто угодитъ — всякаго Сергъй Михайлычъ выручитъ, изъ глубины морской сухимъ вытащитъ, умъй только подойти къ нему. Надежнъй его заступы и быть не могло; захочеть, говорю, со дна моря вытащить... Ему, бывало, стоить только перомъ черкануть — все въ твое удовольствіе будеть. Въ коллегіяхъ ли дѣло, въ сепатѣ ли — ему все равно, потому что вездѣ рука... А ужъ, бывало, кто подъ гиѣвъ къ нему попадеть, тоть лучше ложись да помирай... Бывали случаи...

— Какіе-жъ это случан, бабушка?

— Какихъ ни было, радость моя! Всякихъ бывало, топ соеиг... И всегда такъ выходило, что кто ни вздумаеть супротивничать Сергью Михайлычу, къ нему же потомъ съ повинной придеть, у него же заступы да милостей станеть просить. Человъкъ былъ — сила. Да помнишь, я думаю, какъ онъ смирилъ Боровкова, Ивана Никитича, когда тотъ за наследствомъ Пастасын Петровны въ Зимогорскъ прівзжаль?..

— Какъ же мив помнить, бабушка? Я тогда еще не родился. — Точно, точно, родной — правду ты говоришь. Да, правду. Такъ видишь ли, mon petit. Боровковъ и самъ не мелкой

руки дворянинъ: четыреста дворовъ крестьянъ у него, вѣкъ свой въ Интерѣ жилъ, ко двору пріѣздъ имѣлъ, даже по воскресеньямь на куртагахь бываль... А какъ вздумаль цо уважить Сергвя Михайлыча, такъ онъ его въ бараній рогь согнуль... Пванъ Инкитичь послъ того ползалъ-ползаль пе-

редъ нимъ, прощенье просивпи...

«А зла не помниль; добрый быль человікь, незлобивый... Воровкову всв вины отдаль и все къ его удовольствію сдвлаль... Да... Кромъ должнаго, Сергъй Михайлычъ ничего отъ другихъ не требовалъ: отдай ему аттенцію да ноцілуй ручку, такъ онъ удавиться готовъ за тебя».

— Что-жъ такое съ Боровковымъ-то онъ сделалъ?...

-- А виднив ли, радость моя, Боровковъ. Иванъ Никитичь, роднымъ племянинкомъ доводился кеславской помъщиць, вдовъ премьеръ-майора, Иастасьъ Петровнъ Соколовой... Да ностой, Андрюша, я лучше теб'й про Настасью-то Петровну про самое разскажу... C'était une femme remarquable, mon coeur. Много говорить о себъ заставила... Только вотъ что, не нора ли тебъ банньки, ангелъ мой?.. И у меня глаза что-то слипаются... Лучше завтра про Настеньку-то я разскажу тебф... А тенерь поди-ка съ Богомъ — усин со Христомъ, mon enfant... Дай-ка я тебя перекрещу... Христосъ съ тобой, пріятный сонъ!.. А мнъ еще помолиться надо... Молчи ты у меня, Андрюша, — будешь богать, mon coeur, — вымолю тебь Воротынецъ.

II.

Настенька Боровкова.

— Бабушка!

— Что, голубчикъ?

-- А что-жъ вчерашнес-то объщание?..

— Какое объщаніс, mon petit?

— А про Настасью-то Петровну разсказать.
 — Про Настеньку-то? Да развъ я тебъ объщала, Андрюша?

— А развѣ вы забыли, бабушка?

— Не помню, голубчикъ. Хоть убей — не помню. Память-то у меня, не знаю съ чего, какая-то стала короткая. Оть чего бы это, mon petit?..

— Отъ старости, бабушка.

-- Полно-ка ты... Озорникъ этакой... Все бы надъ бабушкой ему потвинаться... Молодъ еще — материно молоко на губахъ не обсохло... Отъ старости!.. Развъ годы мон великіе?.. Шестьдесять восемь либо шестьдесять семь — развъ это большіе годы?.. Вотъ бабушка моя покойница, княгиня Марья Юрьевна Свиблова, царство ей небесное, жила — такъ ужъ можно сказать, что жила... Большіе годы имфла!.. Ста десяти годовъ померла, — царя Алексвя Михайловича помиила... Когда великій государь овдов'ять, по скорости зачаль онь вдовствомъ своимъ скучать и указалъ со всего царства иляхетскихъ дъвокъ въ Москву свозить, которы были нокрасовите. И обираль царское величество изъ техъ девокъ себе въ царицы. И бабушку на смотръ привозили, а смотрълъ ее великій государь въ постели сонную — на Сипридона-поворота, двѣна-дцатаго значитъ декабря. А была бабушка-то изъ роду князей Сонцевыхъ... И великому государю угодна не явилась сталась царицей Наталья Кирилловна Нарышкиныхъ... Въ молодыхъ своихъ годахъ сидъла бабушка у царицы Агаоьи Семеновны въ верховыхъ боярыняхъ, а когда царица отъ временнаго царствія въ в'вчный покой преставилась, старая царевна Татьяна Михайловна бабушку въ мастерскую свою налату взяла и къ шитью архіерейскихъ шапокъ приставила... Чего-то, бывало, ин поразскажеть покойница! И про стрвльцовъ, какъ опи Москвой мутили, и про капитоновъ *), и про нъмцевъ, что на Кокув **) проживали... Не жаловала ихъ бабушка, — ухъ, какъ не жаловала: — илуты, говорить, были больше и вев силошь урвзиые пьяницы... Францъ Яковлить Лефорть втвиоры у пихъ на Кокув-то жиль, и такіе опъ тамъ пиры задаваль, такіе «кумпанства» стропль, что на Москвъ только крестились да шеноткомъ молитву творили... А больше все у виниаго погребщика Монса эти «кумнанства» бывали — для того, что съ дочерью его съ Анной Францъ Яковличь въ открытомъ амур'в находился... Самолично покойница-бабушка княгиня Марья Юрьевна ту Монсову дочь знавала. — «Что это, говорить, за красота такая была, даромъ, что дівка гулящая. Такая, говорить, красота, что и разсказать не можно...» А дъвка та, Монсова дочь, и сама фортуну сделала и родныхъ всёхъ въ люди вывела. Сестра въ штатсъдамахъ была, меньшой брать, Васильемъ звали, въ шамбеляны пональ, только-что передъ самой кончиной перваго императора ему за скаредныя діла головку передъ сенатомъ срубили... Долго торчала его голова на высокомъ шесту... Молчи, Андрюша, будь умникъ, а я тебф когда-нибудь на досугф все разскажу, что бабушка-покойница про эти діла мий разсказывала... Затьйныя исторіи, топ рідеоппеац, оченно затьйныя — есть чего поразсказать, есть чего и нослушать... А теперь-то про что бишь я говорила?

Про Настасью Петровну хотѣли, бабушка, говорить...

— Такъ, точно такъ, mon bijou, про Настасью Петровцу, про Соколиху то-есть — а по батюшкѣ-то она Боровкова — гепераль-поручика Петра Андрепча Боровкова дочь... Знавала я ее, mon соепт, до топкости знала съ самаго ея малолѣтства. Помоложе меня была... Годами, я полагаю, шестью либо семью, однакожь въ куклы вмѣстѣ пгрывали. Я-то, признаться, ужь замужемъ втѣпоры была, а Настенькѣ седьмой либо восьмой годокъ пошелъ... Молодехонька вѣдь я замужъ-оть шла, Андрюша, всего по четырнадцатому годочку, и для того, года три замужемъ живши, все еще ребячье въ разумѣ-то держала... Нокойникъ твой прадѣдушка Өедоръ Андренчъ, дай Богъ ему царство небеснее, къ каждому, бывало, Божьему празднику безотмѣнно куколку мнѣ купитъ... «На-ка, молвитъ

*) Капитопами называли раскольниковъ.

^{🐃)} Кокусму пазывалась итмецкая слобода въ Месквт.

женушка-нежёнушка, побалуй, позабавься»... Дай Богь ему царство небесное — любиль меня покойникъ... И какія куклыто покупаль онъ, Андрюша!.. Нюрембергскія!.. Такія были затійныя, такія утівшныя, что, кажись бы, вікть въ нихъ пграла... Безпримірныя куклы!.. А нынче, mon coeur, и ихъ ужъ не видно — нюрембергскихъ-то... Все, что ни было въ старые годы хорошаго — все перевелось!.. О, охъ, охъ, охъ!.. Про что бишь я говорила, Андрюша?

— Про Настасью Петровну, про Боровкову, бабушка.

— Да... да... Про Пастеньку... Знала ее, mon coeur, самымы кроткимы манеромы знала... И вы малолытствы знала, и при дворы государыни Екатерины Алексывны, вы ту пору, какы самые первые царедворцы, ровно огня, ся язычка стали боятыся...

«Спервоначалу рѣдкостная и премилая особа была: генеральская дочь, съ немалымъ достаткомъ, а изъ себя столь пригожа, что, бывало, какой ни на есть петиметръ только взглянеть на нее, такъ и заразится до безумія... Ухъ, какъ много оть нея господчиковъ терзалось! По чести красавица была отмънная... Одввалась, какъ надо быть щеголихв первой руки... Какъ теперь гляжу на нее, когда ее въ первый разъ въ свъть вывезли... Было это на баль у принцессы курляндской, у той, что оть отна съ матерью изъ Прославля собжала и въ нашу въру перекрестилась. Государыня Елизавета Истровна за это за самое замужь ее за барона Черкасова выдала... Горбатенька была и съ лица не больно казиста... Ухъ, какъ славна была въ тоть вечеръ Настенька!.. Диковинно какъ пригожа... Сама государыня въ тоть вечеръ изволила ей первую свою аттенцію сділать — къ ручків пожаловала... Было тогда на Настенькъ фурро-ферме изъ бланжеваго транценеля съ черными брабантскими кружевами, фижмы съ крылышками, на голов'в пудра, конечно, и прическа à la crochet, съ локонами но плечамъ. Анчико бъленькое, ивжное, улыбочка умильная, брови — соболь сибирскій, и мушки. Одна мушка падъ лівой бровью налылена, другая на лбу у самаго виска. Петиметры оть тахъ мушекъ въ дезеснуара были, для того, что мушка наль лівой бровью непреклонность означаеть, а на лоу, у виска —sangfroid.

«Танцовала Пастенька прелестно и, по чести сказать, всвыт на удивленье. Въ полонезв навой, бывало, такъ и выплываеть, талію маленько на-бокъ перегнеть, вверъ къ губамъ приложить... Прелесть!.. Рость опять какой!.. Стройность какая!.. Одно слово... une taille svelte et bien proportionnée. Королева, по чести — королева!.. У Ланде первой ученицей была... Ахъ.

нътъ — постой, Андрюша, постой, — это у Ланде-то я училась. Первый быль maitre de ballet при государынв Елизаветв Петровив — у него и государь Петръ Оедорычъ обучался и государыня Екатерина Алексвевна, когда еще на Москвв въ невъстахъ проживала... Настенька къ Ланде не попала для того, что онъ на ту пору, какъ ей танцамъ пришла пора обучаться, померъ... Значитъ, она училась у Гранже — тоже знатный быль maitre de ballet... Изрядные балеты строиль въ эрмитажномъ театрѣ: le Faune jaloux, Apollon et Daphnys. Везпримърно, какъ прекраспо!.. И танцовать Гранже обучать отмінно, ну, то возьми, что Панинъ къ государю Павлу Петровичу для выучки танцамъ его приставилъ, значитъ, хороний maitre de ballet былъ... У него-то Настенька и училась, и такъ изрядно ее Гранже обучилъ, что не разъ ее на шляхетный театръ въ Зимиемъ дворце Галатею представлять наряжали... Ухъ. какъ славна была Настенька, какъ. бывало, Галатею представляетъ!.. Съ золотымъ papillon въ рукт раз de trois съ графинями Чернышевыми пойдетъ... Да воть тебв, Андрюша, одно слово — ужъ какъ безпримврно танцовала Глъбова падчерица — Софья Николавна Чоглокова, знасшь, которую государь Петрь Өедөрычь la fraile de la cour сдълаль. Хоть и кривобока маленько была, а весь свыть собой восхинала, однакожъ Настенька Боровкова и ее, бывало, за поясь заткнеть. Манимаску да матрадуры невпримъръ лучше Чоглоковой она танцовала. Та, бывало, чуть не лоинсть съ досады, на нее глядя. И въ менултахъ Настенька ни разу вь грязь лицомъ себя не ударила... Да...

«И такая была скромница, такая добрая, кроткая, безотвытыя... По чести, mon ссеиг, когда было ей шестнадцать либо семнадцать льть — ангеломъ пебеснымъ всв ее почитали. Да...

C'était une personne compatissante et sensible.

«Отець съ матерью души въ ней не чаяли: была у нихъ Настенька одна единственная дочь — дѣтище молёное, прошеное. Такъ въ глаза и глядѣли ей... Тѣмъ дѣвку и нопортили, что смолоду полную волю ей дали во всемъ. Не знавала Настенька грознаго слова родительскаго, не слыхивала слова запретнаго — на волѣ да въ холѣ жила, какъ хотѣла... Ну и сдурилась... Совсѣмъ сбилась съ похвей! . Тккъ сдурилась, топ реtit, что въ двадцать лѣтъ ее узнать было невозможпо...

«А все кпиги... Книгь зачиталась— и зашель у ней умъ за разумъ. Читала все, что ни попало, безъ толку, безъ разбору— а отецъ съ матерью не запрещали: «читай, молъ, все, что полюбится». И набралась Настенька дури да чепухи, — твиъ

и себя погубила...

«Еще въ ребячьихъ годахъ много была начитана — въ порембергскія, бывало, забавляется, а сама наизусть Расиновы трагедіи да «Генріаду» такъ и чешетъ... Разставить куклы на столь да и почиеть изъ «Медеи» декламировать...

«Эго бы ничего — книги хорошія... А какъ было ей лътъ шестнадцать либо семнадцать, нопадись ей Лашоссеева книга «L'Enfant prodigue». Прочитала ее Настенька да въ comedies larmoyantes и втянулась... Изсентиментальничалась, конечно, а потомь къ Жанъ-Жаку Руссо пристрастилась. Натура, видинь, больно ей по нутру пришлась, да еще не знай какія-то тамъ les droits de l'humanité... И зачала дурить.

«По-моему, mon bijcu, ужь если разобрала ее охота книги читать, романы читала бы... Невиримъръ пріятнье, и сдуриться никакъ невозможно... А въ старые-то годы, Андрюша, какіе безнодобные романы нечатали... Ужесть какіе затъйные! Теперь, я такъ полагаю, mon pigeonneau, что такъ и печатать не умъютъ. Лесажевы романы взять на прикладъ — «Жильблазъ де-Сантильянъ» или «Хромоногаго бъса»... Ухъ, какіе знатные романы!.. Читалъ ли ты ихъ, Андрюша?»

— Читаль, бабушка.

— Очень хорошіе романы. Ты мніз почитай ихъ когда-нибудь. Миїз бы это очень было пріятно, потому что эти романы безпримірные... А то еще въ другомъ родіз были у насъ книжечки — это ужъ самыя затійныя... Читалъ ли, голубчикъ, Воккачіо?.. А?..

— Читываль, бабушка.

— А сказочки Лафонтеновы читаль? He Fables de Lafontaine, а сказочки, сказочки?

— Читываль и сказочки, бабушка.

- Э!.. нлутишка!.. Ужъ усивль!.. А, небось, мив пикогда не ночитаеть!.. Лень, видно, бабушку-то старуху нотвишить?.. А не правда ли, топ соеиг, какія утвиныя сказочки?.. Самыя затвиныя!.. Но чести, всв мы были до нихъ охотницы... А Настенька ихъ не читала и ни до какихъ романовъ склонности никогда не имвла... Къ философіи, видишь ли, пристраетилась: — все бы ей Монтескьё, да Дидро, да Жанъ-Жакъ... Опо правда, въ ту пору и при дворв это въ модв было: — сама государыня съ Вольтеромъ въ перенискъ была, оттого и метнулись всв въ философію, только не надолго, для того, что философія-то намъ не къ лицу пришлась... Въ самую ту пору и сдурилась моя дъвка. «Теперь, говоритъ, пришелъ золотой въкъ Астреи — свободнымъ языкомъ можно обо всякой пользъ говорить»... И пошла и пошла, да по скорости и договорилась до сибирскихъ городовъ... Воть тебъ и Астрея!..

— Что-жъ съ ней сдвлалось, бабушка?

— Изв'єстно что — съ ума спятила. Перво-паперво за то вс'єхъ зачала шимиять, что дурокъ да шутовъ при себ'є держать. Это, говорить, зв'єрскій обычай, варварамъ подобими... Поди воть ты съ ней...

— Да развѣ не правда, бабушка?..

— Правда?.. Хороша правда!.. Признаюсь!.. А почему это, позвольте васъ спросить, не держать дворянину при себъ дурака?.. Это очень забавно!.. Ты то всномин, mon pigeonneau, что не только у знатнаго пляхетства, а при всехъ даже королевскихъ дворахъ шуты и дураки не переводились... И у насъ, въ Интерь, при дворъ императрицы Анны Іоанновны бывали шуты, да еще какіе!.. При государыниной собачків князь Волконскій въ нянькахъ состояль, князю Кваснику-Голицыну въ жены не то калмычку, не то камчадалку дали и въ ледяномъ дворцъ ихъ пристроили... И у перваго императора шутомъ быль Балакиревъ — человікъ тоже родословный, да еще цълая коллекція кардиналовъ, а при нихъ князьнана, а княземъ-папой спервоначалу учитель государевъ Зотовъ быль, а послъ него Бутурлинъ... Вонъ какіе люди!.. Да и сама государыня Екатерина Алексвевна дурку держать при себь изволила — Матрену-то Даниловну. Дурка та городскіе слухи ей приносила... Всв знатные очень боялись ея. Помню я, какь на монхъ глазахъ въ ней заискивали. Рылбевъ, оберъполицеймейстерь, къ каждому, бывало, празднику Матренъ Даиндовив и куръ, и утокъ, и гусей шлеть, чтобы язычокъ-оть на его счеть покороче держала... Знала я и Матрену Даниловиу, самолично знала.

«Опять то не по нутру Настеньк'в пришлось, что у знатных персовъ блюдолизы приживали. Паразитами ихъ называли тогда... У всякаго челов'вка по десяти такихъ бывало, а улиныхъ и больше. Всякими манерами они милостивцевъ своихъ пот'вшали: кто плясать гораздь — иляни, кто стихи мастакъ сочинять — оды пиши, а кто во хмелю забавевъ — поятъ, бывало, того винищемъ каждый Божій день, ровно свинью... А за то, что они знатнаго челов'вка т'вшатъ, каждый день имъ столъ открытый и ко всякому празднику кафтань съ плеча... Что-жъ тутъ дурного, то реtit?.. Христіанское братолюбіе — больше ничего... Да... любили тогдаший вельможи б'ёднымъ людимъ помощь оказывать. И сами жили и другимъ давали житъ. А что иной разъ, не разбирая ранга, вспороть велятъ паразита — такъ спина-то у него в'ёдь не куплениая — остались бы кости, а т'ёло наживное д'ёло — нарастетъ... Отчего-жъ знатному и пе пот'ёшить себя?.. Пу, а Настенька не въ ту

сторону гнула — все это, говорить, татарское рабство... Вонъ

куда метнула!.. Безпримърно какъ дурила!..

«Да пущай бы еще у себя дома, въ четырехъ стънахъ такую чепуху городила — такъ нѣтъ, все, бывало, норовитъ при людяхъ дичь нести. Не разбирая никого, такъ, бывало, и рѣжетъ: и на куртагахъ, и у Локателлія *), и на банкетахъ... И горюнка ей мало, котъ самъ князъ Григорій Григорычъ тутъ сиди. Да что Григорій Григорьнчъ! Онъ и самъ подчасъ любилъ такъ же поговорить, какъ и Настенька — за подлый народъ всегда заступу держалъ... А другіе-то, другіе-то! Люди почтенные, сановники — обижались вѣдь!.. А петиметры, заравившись Настенькиной красотой, бѣгутъ, бывало, къ ней, ровпо овцы къ соли, а она и почнетъ имъ свои рацеи распѣватъ, а тѣ слушаютъ развѣся уши-то, да еще поддакиваютъ... Иной, въ угоду Настенькъ, и самъ гдѣ-нибудъ на сторонѣ такую же чепуху почнетъ городитъ... Всю молодежъ дѣвка перепортила — такая зловредная стала... И посты и все отбросила... Разъ посовѣтовала ей на кофею судьбу узнатъ — и кофею не вѣритъ, моп реtit... Вотъ что значатъ философскія-то книги!.. Ты ихъ не читай, Андрюша!..

«Потомъ на воспитанницъ пакинулась. Что онѣ ей сдѣлали — до сихъ поръ ума приложить не могу. Въ стары годы,
дружокъ, во всякомъ почти иляхстскомъ домѣ, мало-мальски
достаточномъ, воспитанницъ держали. Особливо охочи были до
нихъ бездѣтныя барыни да старыя дѣвки. Въ Питерѣ еще
не такъ, а на Москвѣ такъ счету этимъ воспитанницамъ но
было. Набирали нищихъ дѣвчонокъ въ подьяческомъ рангѣ
либо у иляхстства мелкономѣстнаго. Которая барыня штуки
двѣ держитъ, которая пятокъ, а очень знатная и десятокъ
либо полтора. Учатъ дѣвчонокъ, воспитываютъ себѣ на утѣху,

а имъ на счастье...

«А старыя д'явки да барыни бывали охочи до воспитанниць для того, что съ ними въ дом'в людн'вй и отъ того весел'ве. Къ старью-то петиметры не больно охотно вздили: съ праздничной визитой, аль въ именины поздравить, да на званый об'ядь, а запросто никто пи ногой... А привыкши смолоду въ большомъ св'ят'в съ аматерами возиться, старушкамъ-то и скучненько... Вотъ он'в для приманки щегольковъ — молодыхъ-то д'явокъ, бывало, и держатъ... Коли воспитанницы изъ себя пригожи, отбою отъ петиметровъ н'ять — такъ и льнутъ, какъ мухи къ меду... А старушк'я-то весело: глядить на молодежь да свою молодость и вспоминаетъ...

^{*)} Локателли прежде балетиейстеръ быль, а потомъ содержатель дома дли баловъ и маскарадовъ.

«Настенька и супротивь этого во всю ивановскую кричать зачала: это, говорить, рабство, это, говорить, татарское иго, разврать, говорить, одинь, а не доброе дело. Восинтанниць, говорить, къ себё набирать — все едино, что вольныхъ людей въ холоиство закрёвлять... Такъ при всёхъ этими самыми словами, бывало, и дяниеть... И ужъ какъ на нее старыя-то злились. Брякнеть, бывало, Настенька такое слово гдь-инбудь въ большомъ société, а старыя девки, сидя въ углу либо за картами, таково злобно на нее взглянуть да и за табачокъ. И промывали-жъ онё ей косточки: какихъ силетокъ ни выдумывали, чего про Настеньку ни разсказывали — да все вёдь норовили, чтобъ какъ-нибудь доброе ими ея опорочить... Злы вёдь старыя-то дёвки бываютъ, голубчикъ мой!..

«Станень, бывало, говорить Настенькъ:

«— Помилуй, мать моя, что это ты себъ въ голову посадила? Какъ же это возможно сказать, что воспитанниць нехорошо въ знатномъ домъ держать? Спроту самъ Богъ призръть повелълъ...

«А опа:

Хорошо, говорить, призрѣніе!.. Печего сказать!.. Набе-

руть обдимхъ дввочекъ да тиранять ихъ ввкъ свой.

— Да какое-жъ, говорю, тиранство, mon ange? Развѣ не фортуна для какой-нибудь голонятой дворяночки, что она и танцамъ у придворнаго maitre de ballet учится. и по-французски у выписной мадамы. и всему другому, что нужно? Развѣ это не фортуна, что какая-инбудь голь перекатная—съ княжнами, съ графинями вмѣстѣ учится, и послѣ того les dames de la cour ее своей подругой называютъ? Развѣ это не фортуна, говорю, что подьяческому отродью либо мелкопомѣстной дряни такіе петиметры, что еще въ колыбели гвардіи сержантами служатъ, — деклярасьоны въ амурахъ объявляють?.. Номилуй, говорю, Настенька, вѣдь это умора... Съ ума ты снятила, радость моя!.. Не по-дворянски разсуждаешь, ma délicieuse.

«А она:

«— Не въ томъ говоритъ, мать мол, фортуна человъческал. Хороша, говоритъ, фортуна выпала воспитанницамъ княжны Дуденевой!.. Одна за мосъками нянькой ходитъ, другая съ утра до вечера по гостиному двору да по мадамамъ рыщетъ, а вечеромъ на кофет ворожитъ либо чети-минею вслухъ читаетъ. Сегодия, завтра — весъ въкъ одно да одно... Да вст капризы княжиы переноси, вст брани ея и ругательства слушай: она бъситься начинаетъ, а ты ручку цълуй у нея... Не рабство это, не кабала по-твоему?.. А тутъ еще племян-

пичекъ какой-нибудь стансть подъвзжать съ своей гнусной любовью— и сохрани тогда Богъ дъвочку, ежели она не дозволить ему далеко забираться:— нагишомъ со двора сгонить.

«А это точно было, Апдрюша. Случилось это у старой у дівки, у графини Тумавской. Ел племянникъ, голитинской армін поручнить баронь фонт-Ледерлейхеръ, примазываться сталь къ тетушкиной воспитанинць. Отець-оть ся, майоръ, въ прусской войнь быль убить, а мать съ горя да оть быдиости померла, потому графиня изъ христіанскаго милосердія и взяла сироту, ихнюю дочку, къ себв на воспитанье... Какъ зачаль баронь къ майорской дочери примазываться, она супротивъ его на дыбы — не хочу, говоритъ... Онъ и такъ и сякъ — не поддается дъвка. Къ тетушкъ, — а графиня души не чаяла въ племянинкъ, баловень ся быль. Стала и она майорскую дочь усовъщевать — покорилась бы барону, а та и слышать не хочеть — пущай, говорить, женится... Губа-то не дура — въ баронессы захотвла... Много билась съ ней бълная графинюшка: и лаской, и грозой, и косу резала, и въ подваль голодомъ маленько поморила, -- ничемъ взять не моглатакая была упрямица... Печего дътать — сослала со двора съ тымь имыньемь, что послы родителей осталось. А родительскато-то благословенія — тільной кресть да материно кольцо обручальное...

«По времени сказывали, что во вся тяжкая пустилась, въ вольномъ домѣ даже проживала... Ну не дура ли, mon pigeonneau? Невпримъръ бы ей пристойнъе бароновой метреской быть, чъмъ такимъ манеромъ графиню срамить — въдь всъ знали, что она ея воспитанница... Вотъ какъ за хлъбъ-отъ да за соль заилатила!.. Много слезъ пролила бъд-

ная графиня отъ такого сраму...»

— На ней взыщется грвхъ майорской дочери, бабушка...

— Слышите!.. Слышите!.. Распутную дввку къ графинв прировнялъ!.. Какъ не стыдно тебв, топ соеит!.. Стыдно, топ ретіт, безпримврно стыдно такъ непочтительно о знатныхъ персопахъ говорить... Не тебв объ нихъ судить: — ты еще молодъ и не столь знатенъ — это завсегда ты долженъ поминть... Вотъ этакъ же, бывало, и Настенька... Что-жъ вышло?.. Стибла сударка — и следъ простылъ... За такія неподобныя рвчи часто я ее бранивала — какъ тебя вотъ теперь браню... Дуришь, бывало, говорю, та délicieuse: вздоръ одинъ сажаещь себв въ голову... Держать, говорю, воспитанницъ — двло христіанское. А она: — ты, говорить, мой свёть, хоть и замужемъ, хоть и постарше меня, а этого тебв не понять. А чего не понять-то?.. Дурила голубка, просто дурила...

«Отцу съ матерью таки-таки и не попустила держать воснитанницъ. Покамъстъ росла, были у Боровковыхъ три: секретарская дочь да двъ мелкопомъстныя дворяночки... А кольскоро Настенька въ годы вошла, родительскій домъ на свои руки приняла, для того, что съ матерью съ ея кровяной ударъ приключился— ни рукой ин ногой двипуть не могла. И какъ стала хозяйкой, скоро пошла докучать, не держали-бъ роцители воспитанницъ. Такъ въдь и выжила ихъ изъ дома.

«И не разобрать: со зда ли такъ поступала Настенька, аль прямымъ дѣломъ дѣвкамъ хотѣла добра. Да вотъ какой случай выпалъ. Въ самое то время, какъ она докучала отцу съ матерью, чтобъ изъ дому всѣхъ трехъ воспитанницъ вонъ, одна изъ нихъ возьми да осной и захворай... Болѣзнъ страшная: либо помрешь, либо на вѣкъ рябой останенься, къ тому же болѣзнь прилипчивая... Докторъ приказалъ положить больную въ особомъ флигелъ и тѣмъ, у кого осны не было, близко къ тому флигелю не подходить... Что-жъ ты думаешь?.. Истинно ума лишилась, — сама за больною ходить вздумала... За оспенной-то!.. Отецъ съ матерью ей и такъ и сякъ, не дается дѣвка подъ ладъ. Однакожъ Петръ Андреичъ на своемъ поставилъ. Стихла моя Настасья Петровна!..

«Что-жъ? Ночью, бывало, только-что въ домѣ всѣ улягутся, она тихонько башмачки на босу ногу, кунтышъ *) на плечи да черезъ дворъ à petit bruit во флигель, да тамъ за воснитанницей и ночнетъ ухаживатъ... И представь ты себѣ, Андрюша, — оспа-то вѣдь къ ней не пристала... Зато, когда дошло до княжны Дуденевой — расцыганила-жъ онъ Настеньку. Всѣми богами божилась, что не къ больной, а къ любовни-

камъ во флигель она бѣгала...

«Гораздо спустя, говорить Боровковь Настенькѣ, отецьоть ея:

«— Скучно тебѣ свѣтикъ мой, одна ты у насъ одинёшенька, а дѣло твое дѣвичье, нодругу бы надо тебѣ. Вотъ вчерась у Локателлія на вольномъ балѣ довелось мнѣ про одного армейскаго капитана слышать... Заѣхалъ сюда въ Нитеръ съ кучей ребятишекъ да въ одночасье и померъ. Шестеро спротъ малъ мала меньше, пи отца ни матери, ни роду ни племени. интъвсть нечего... Разбираютъ теперъ спротокъ по знатнымъ домамъ. Не взять ли и намъ хоть одну капитанскую дочку? Сказываютъ, есть одпа годковъ въ пятнадцать — цѣвка-то была бы къ тебѣ подходящая...

«А Настенька:

^{*)} Въ родъ ныпъшпихъ салоновъ.

«— Нать, говорить, батюшка, не берите въ домь... Горька жизнь спроты, а горче всего въ ся жизни — чукой хаббъ. Нать, батюшка, ради Господа, не далайте этого. А воть что: поазжайте-ка вы къ Бецкому, къ Ивапу Иванычу, по-просите, чтобъ онъ въ Смольный спротокъ пристроиль, а коль комижекту изтъ, продайте мои брильянты, отдайте деньги за спроть... Въ воскресенье на куртага сама я княжиу Катерину буду просить и къ Делафонша съвзжу *).

«И что же? По Настенькинымъ хлонотамъ да по ея просьбамь взяли въдь въ Смольный-отъ двухъ капитанскихъ дочекъ, а когда онъ отучились, Боровковы замужъ ихъ выдали... И

какое приданое Настенька имъ сдваала!..

«Да такъ ли еще она куролесила, mon pigeonneau, то ли еще дерзкимъ своимъ языкомъ говорила!.. Выглянь-ка за дверь, Андрюша, компатныхъ дъвокъ тамъ иътъ ли. Не под-

слушали бы... Про это знать имъ не годится.

«Ло того подъ конецъ дошла, — шопотомъ продолжала бабушка: — что вездв, гдв ни бывала, зачала ровно въ трещетку трещать, будто бы благородному шляхетству ин крестьянами ии дворовыми владеть не должно... Они, говорить, такіе же леди, что и мы... Слышишь, mon petit?.. Самоё ссоя къ холопямъ прировияла!.. Никто, говорить, не волёнъ съ своего человіка за провинность вамскать... Понимаешь, голубчикъ, куда клонила?.. А все философія да поганыя кинги, что по пълымъ ночамъ читала!.. Все, бывало, у нея Жанъ-Жакъ да Жанъ-Жакъ - вотъ тебк и Жанъ-Жакъ!.. Подлымъ вольности захотвла!.. Да ведь вольность-то дана, mon pigeonneau, шляхетству, дворянскому корпусу за службы дедовъ и прадедовъ, а Настасья Петровна моя хамовой породѣ захотыла вольности!.. Знатныя персоны за то очень на нее сердились и грозились укоротить язычокъ Настенькѣ—значить, либо въ . монастырь на смиренье, либо въ сумасшедний домъ за ръшетку... Испужалась, надо думать — перестала... Ну самъ посуди, mon coeur, пристойно ли двакв такимъ маперомъ разсуждать! Ничуть не славно и совсёмь даже неловко!.. Завсегда у нея въ головъ безпорядокъ былъ!.. Потому и звали се «порченои».

«А то какая еще у нея дурь въ головъ была. Лътомъ Боровковы жили на дачъ, а прежде, когда Настенькина мать здорова еще была, въ подмосковную они ъздили. Въ деревиъто, какъ ты думаешь, что она? Съ бабами да съ дъвками дере-

^{*)} Кияжна Катерина Долгорукова — первая начальница Смольнаго монастыря, Делафонь — си помощинца.

венскими была за напибрата... Воть до какого безобразія допла!.. И что еще выдумала — стала къ отцу съ матерью приставать, чтобъ напяли дьячка деревенскихъ ребятишекъ грамотв учить... Умора!.. Пу съ какой стати мужику грамотв умѣть? Крестьянское-ль это дѣло? Мужикъ знай пахать, знай хлѣбъ молотить, сѣно косить — а кпиги-то ему зачѣмь въ руки. Да дай-ка ему книгу-то — пропьетъ ее въ первомъ интейномъ... Ну, Боровковъ Петръ Апдреичъ на такую глупую причуду любезной дочки не согласился однако... А тутъ по скорости съ женой его ударъ приключился, въ деревню ѣздить перестали, такъ Настенькины затъи и не пошли ни во что...

«Было ужъ ей тридцать годовъ, а попрежнему была изъ себя хороша, кажется, краше еще съ лѣтами-то дѣлалась... А замужъ не шла и выходить не хотѣла... Много нетиметровъ изъ самыхъ знатныхъ персоиъ по ней помирало, однакожъ она тому не впимала и мушекъ съ виска да съ лѣвой бровки ин для кого не сияла... А охотниковъ до нея было много, отбою отъ жениховъ не было. Оно и понятно: дѣвка пе безприданница.— въ Кеславлѣ съ деревнями въ Зимогорской губерніи тысячи полторы домовъ, красота на рѣдкость. Придворные кавалеры и гвардіп офицеры деклярасьоны ей объявляли, только Настенька рѣчи ихъ межъ ушей пронущала и хоть бы разъ для кого на правой сторопѣ губки мушку прикленла:—осмѣлься, дескать, и говори...

«Иные господчики, по старому обычаю, свахъ засылали... Однакожъ не было имъ ни привъту... ни отвъту... А тъхъ, которымъ, по женихову сродству и по его position dans le monde, можно было наругаться маленько, Петръ Андреичъ съ

репримандами со двора спускалъ.

«Кого ждала Настенька — какого царевича, какого королевича—не знаю. А и то надо сказать, то соеиг, что вёдь и на самомъ дёлё царевичъ къ ней разъ присватался — не ношла. Иьеть, говорить, очень, да носъ больно великъ. Изъвыёзжихъ былъ: изъ грузпискихъ, не то изъ имеретинскихъ—много тогда этакихъ царевичей на Прёсиё въ Москве проживало. Только ужъ дураковаты были, да на придачу горькіе пьяницы и драчуны.

«По времени всё возненавидёли Настеньку. Всё стали ей косые взгляды казать: старыя дёвки и дамы за то, что про воспитанниць неумно говорила да силетни ихнія на чистую воду выводила, молодыя красотё ся завидуючи, петиметры за ся sang-froid, а благородное пляхетство за неподобныя рёчи насчеть холоновь... Самыхъ что ни на есть знативйшихъ людей супротивь себя ноставила. Можешь себё вообразить,

топ рідеоппеац, сановниковъ-то самыхъ, опору-то престола, ворами да казнокрадами въ публикъ безо всякаго конфуза зачала обзывать. Не безумная ли?.. Имени, бывало, не помянеть, а про чьи дѣла брякнетъ, у того сй-ой какъ подъ тунемъ зачешется. За то больше и не взлюбили ее. Всякая, дескать, дрянь, дѣвчонка какая-пибудь, да въ великія государственныя дѣла соваться вздумала! А пуще всего опасались, чтобъ грѣхомъ государыня столь здовредную дѣвку приблизить къ себѣ не соизволила, конфиденткой не сдѣлала бы, къ камеръ-фрейлипы не взяла бы... Государыня и то на куртагахъ и въ Эрмитажѣ безпримѣрную аттенцію Настенькъ оказывала, а однажды поутру даже про важныя дѣла съ пей говорить изволила... Киягиня Катерина Романовна даже надулась за это на Настеньку... Оно и поиятно, mon petit, — всякому вѣдь до себя... Ну, и боялись...

«До поры до времени однакожъ терпъли Настеньку. Пущай, кескать, дъвка досыта наругается, дъвичья брань на вороту не виснетъ. А какъ подвела Настенька Мякинина Гаврилу Петровича подъ гитвъ государыни, такъ и зачали знатным персоны промышлять — какими бы судъбами неспокойную дъвку спровадить изъ Петербурга, духу-бъ ея въ столицъ не осталось, въ воду бы канула, заглохла бы гдъ-нибудь въ деревенской глуни, а ежели поможетъ Господъ, такъ гдъ-нибудъ и подальше — куда, значитъ, Макаръ и телятъ не гонялъ.

«А подреда Настенька подъ гнѣвъ и опалу Гаврилу Истровича Мякинина вотъ какимъ манеромъ. На истергофской дорогь у отца у ея, Истра Андреича, дача была. По лѣтамъ, съ той поры какъ заболѣла сама-то Боровкова, они живали на самой той дачѣ... Ходила тутъ съ Настенькѣ изъ ближией деревни крестьянская жевка, грибы къ столу носила, ягоды, овощъ всякій. Аграфеной звали, а была изъ экономическихъ. Переѣхали одинъ годъ Боровковы на дачу — нейдетъ Аграфена: сморчки прошли — нейдетъ, земляника прошла — нейдетъ, малина зачалась — Аграфены нѣтъ какъ нѣтъ. Думала Пастенька, что она померла. И очень жалѣла, къ подлому-то пароду ужъ очень пристрастна была.

«. Тъто за половину новоротило, какъ однажды рапо поутру заслышала Настенька знакомый голосъ: «зелены хороши, огурчики-голубчики зелёненькіе, бобики турецки, картофель молодой!» Кликнула Настенька бабу, зачала ее разспрашивать, куда это она запропастилась, по какому резону половать.

вину лъта у нихъ не бывала.

«Заголосила бабенка:

«— Ахъ, ты, милая моя барышия! Въдь Господь Своимъ

праведнымъ судомъ намъ несчастьние посладъ. Самое горемычное дёло до насъ грённыхъ дошло. Должны въ разоръ разориться, по міру пойти.

«— Что такое?—спрашиваеть Настенька.

« Хозянна-то моего, седьма педёля, какъ въ тюрьму посадили.

«-- Какъ какъ?

«— Да такъ же, родная, посадили, да и все тутъ.

« Да что-жь онъ сдълаль?

- « Охъ, ужъ дело-то его, матушка, такое, что не знаю, какъ разсказать тебъ. Провинился, моя любезная, мой Трифонычъ, провинился и не запирается точно, говоритъ, моя бъда до меня дошла впиоватъ. Люди говорятъ, въ Сибирь его сощлютъ, да и меня, слышъ, съ нимъ. А я къ тому дълу писколько не причастна, только-что нечку топпла да хлѣбы некла...
- «— Да что-ять онъ сдёлалъ? Въ душегубствѣ попался, аль въ разбоѣ?
- «— Ой, пѣть, моя хорошая! Такой ли человѣкъ мой Трифонычъ? Ему Господь и грамоту дароваль божественныя кинги читаеть, сдѣлать ли ему такое дѣло!.. А ужь по правдѣ сказать тебѣ, оѣлая ты моя барышия, такъ я, грѣший человѣкъ, частенько подумываю: невпримѣръ бы лучие было Трифонычу въ разбоѣ аль въ душегубствѣ понасться... Для того, что по убійственнымъ и по разбойнымъ дѣламъ хоть не зачастую, а все-же-таки изъ тюрьмы люди выходятъ, а Трифонычъ-отъ мой, по своей простотѣ да по глупости, въ такое дѣло втюрился, что и повороту нѣть изъ него...

«— Да что-жъ онь сделаль такое?

«— Охъ, матушка моя, большое діло опъ сділаль: орла двінадцать літь жегь.

«— Какъ орла жегъ? Какого орла?

«— Орла, матушка, точно орла. Въ печкъ двънадцать годиковъ жегъ... Это въ примое дъло, что жегъ. Двънадцать лътъ, сударыня!..

«— Да говори толкомъ — что такое?

«— Да видишь ли, бѣлая моя барышня — въ печкѣ-то у насъ въ самомъ поду орелъ былъ, и это точно, что па немъ каждый день дрова горѣли — и хлѣбы завсегда пеклись на немъ. Жегъ, родная моя, точно что жегъ.

«Толку добиться Настенька не могла, а дѣла не покинула. Стала развѣдывать, по скорости вотъ что узнала, mon coeur. «Когла выстроили Зимий дворець, государю Петру Федо-

рычу захотвлось безпремвино къ Сввтлому Воскресенью на повоселье перебраться. Весь Великій пость тысячи народа во дворцв кинвли, денно и нощно работали, сившили, значить, покончить, зашабашили только къ самой заутренв. А лугь передь дворцомь очистить не могли: весь онь быль загроможденъ преведикимъ множествомъ домовъ и хибарокъ, гдв рабочіе жили, и всякимъ хламомъ, что отъ постройки оставалось. Смекнули — полгода времени надо, чтобъ убрать весь этоть хламь, и немалыхъ бы денегь та уборка стоила. а государю угодно, чтобъ къ Свътлому Воскресенью лугъ безпремінно чистехонекь быль. Какъ быть, что ділать? Генераль-полицейместеромъ вътів поры Корфъ быль—онъ и доложи государю — не пожертвовать ли, моль, ваше императорское величество, всемъ этимъ дрязгомъ нетербургскимъ жителямъ, нущай, дескать, всякъ, кто хочетъ, невозбранно идетъ на дворцовый лугъ и безданно-безпошлинно беретъ, что кому пригляпется: доски тамъ, обрубки, бревна, кириичи. Государь Истръ Осдорычь на то согласился... Поскакали драгуны по городу — въ каждомъ домѣ повѣщають — идите, можь, на дворцовый лугь, да что хотите, то и берите безданно-безношлинно. Истербургъ ровно взбъленился: со всъхъ сторонъ, изо всвуъ концовъ побъжали, побуали на лугъ... И вообрази ты себв, топ рідеоппеац, въ одинъ день відь все убрали. А было это въ самую Великую иятницу. И отъ насъ изъ дому на дворцовый лугъ людей съ лошадьми посылали -полтора года, mon petit послъ того дровь мы не покунали. Хорошій быль распорядокь — вев оченно довольны оста-

«Савелій Трифоновь, Аграфенниь-оть мужь, въ самое то время въ Истербургѣ съ подводой быль. Услыхавин, что полиція народь во дворцу сбиваєть, и онъ, сердечный, туда ноѣхаль, набраль цѣлый возъ кафелей со полівами да голжандскаго кирпичу. А у него въ дому на ту пору нечь плоховата была: онъ ее жалованнымъ-то кирпичомъ и ноправиль... Да на грѣхъ угораздило его кафель-оть съ орломъ въ самый подъ положить.

«Дввнадцать леть прошло — Трафоныча въто время, какъмонастырщину государыня Екатерина Алексвна новоротила на экономію, въ волостные головы міромъ изобрали. Туть пе возлюбиль его управитель ихнії, что отъ коллегіи экономіи къ монастырскимъ крестьянамъ былъ приставленъ, Чекатуновъ Якинфъ Сергвичъ. Какъ теперь на него гляжу: старичокъ такой быль свденькой и илутоватъ, нечего сказать... Смолоду еще при государынъ Анив Ивановив былъ въ армей-

скихъ офицерахъ и. сказываютъ, куда какъ жестоко хохловъ прижималъ, когда по педоимочнымъ дѣламъ въ малороссійской тайной канцелярін находился. Трифонычъ, должно-бытъ, какъ-нибудь не ублаготвориль его, онъ и взъѣлся... Однакожъ, какихъ подконовъ ни подводилъ подъ Трифоныча, не могъ подуѣтъ. Времена-то не тѣ уже были, не бироновщина.

«Прівзжаєть Чекатуновъ въ волость, гдв Трифонычь въ головахъ сидвлъ, прямо къ пему, разумвется, для того, что на хозянна хоть и волкомъ глядитъ, а угощенья ему подай... Папушникъ Аграфена на столъ положила: «рушьте, молъ, сами, ваше благородіе, какъ вашей милости будеть угодно».

«Чекатуновъ сталъ ръзать напушникъ — глядь, а на нижней-

то коркт орель.

«— Это что? — крикнуль онъ грознымъ голосомъ.

«— Орелъ, — говоритъ Трифонычъ: — орелъ, ваше высокородіе.

«— Да у тебя царскій, что ли, хлібот-оть? Изъ дворца кра-

деный?.. А?

Какъ это возможно и помыслить такое дёло, ваше высокородіе? — отвёчаеть Трифонычь. — Глядь-ка что выдумаль! Изъ царскаго дворца краденъ!.. Я вёдь, чать, русскій!.. Изволь въ печку гляпуть, тамо въ поду киринчъ съ орломъ вложенъ, на хлёбё-то онъ и вышель.

«Посмотраль вы нечку Чекатуновъ, видитъ — точно орель.

с— А гдф, говорить, ты взяль такой кирпичъ?

— А на дворцовомъ лугу, — отвѣчаетъ ему Трифонычъ: — въ то самое время, какъ но царскому жалованью народъ послѣ дворцовой стройки хламъ разбиралъ.

 Такъ это ты двѣнадцать лѣтъ царскаго-то орла жжень, закричалъ Чекатуновъ. схвативъ Трифоныча за воротъ. — А?
 Да понимаень ли ты, злодѣй, что за это Спонрь теоѣ слѣдуетъ.

«Трифонычъ въ ноги. А Чекатуновъ расходившись — въ жельва Трифоныча, да въ острогь за жестокимъ карауломъ.

«А Чекатунову такія діза не впервые творить приходилось. При Биропів въ Малой Россій онт за жженаго орлалюдей мучилъ.

«Дёло повели крутенько. А было это въ самое пугачовское замѣшательство. Чекатуновъ главному своему пачальнику Гаврилѣ Нетровичу Мякинину такимъ манеромъ дѣло Трифоныча представилъ, что будто онъ съ государственнымъ злодѣемъ былъ заодно и въ самомъ Петербургѣ хотѣлъ народъ всполощить. Трифонычъ былъ мужикъ домовитый, зажиточный, въ ларцѣ у него цѣлковиковъ немало лежало: тутъ все прахомъ пошло.

«Разувнавнии доподлинно двло, Настенька, не молвивнии отцу ни единаго слова, приказала заложить карету, одвлась еп grand toilette и въ Царское Село... А тамъ государыня завсегда изволила лѣтнюю резиденцію имѣть. Поѣхала Настенька съ дачи ранымъ-ранехонько и въ саду на утренней прогулкѣ улучила государыню. А ся величество завсегда въ семь часовъ поутру изволила свой променадъ дѣлать. Остановилась Настенька у той куртины, гдѣ сама государыни каждый день изъ своихъ рукъ цвѣты поливала. Видитъ, бѣгуть двѣ рѣзвыя собачки, играютъ промежъ себя; а за ними государыня въ легкомъ капотѣ пюсоваго цвѣта, въ шляпѣ и съ тросточкой въ рукѣ. Марья Савишна Перекусихина съ ней, позади егерь.

«Увидала ее Настенька, тотчасъ на колъни.

«— Что съ вами, милая? Отчего такъ встревожены? — спрашиваеть ее государыня.

« — Правосудія и милости у вашего величества прошу.

«Государыня улыбнулась.

— За того прошу, ваше императорское величество, за кого просить некому, — молвила Настенька. — За простого мужика, за невинную жертву злобы и лихоимства. Въ тюрьмъ сидить, домъ разоренъ... Честный Савелій Трифоновъ изъбогатаго поселянина павъкъ нищимъ сталъ.

«Только-что Пастенька эти рёчи проговорила, государыня впезапно помрачилась, румянець на щекахъ такъ и запылаль у пей. А это завсегда съ ней бывало, mon coeur, когда

чимъ-пибудь недовольна дилалась.

«— Не знаете, за кого просите! — съ гнѣвомъ проговорила государыня. — Трифоновъ — воръ, соумышленникъ государствен-

наго злодвя.

— Ваше величество, беззащитнаго поселянина оклеветали... Опричь Бога да васъ, никто его спасти не можеть... Разсмотрите дъло его.

«Ĥи слова не промолвя, государыня отверпулась и пошла въ боковую аллею... Настенька осталась одна на колиняхъ.

«Недъли черезъ три Трифоновъ быль на волю выпущенъ и все добро его назадъ было отдано. Чекатунова отръшили. Гаврилъ Истровичу Мякинину было сказано: жить въ подмосковной.

«Въ перво же воскресспье Пастенькѣ велѣно было на куртагѣ быть. Государыня съ великой аттенціей приняла ее. При многихъ знатныхъ персонахъ обияла, поцѣловала.

«— Благодарю васъ за то, что избавили меня отъ величайшаго песчастія царей — быть песираведливой, — сказала ей государыня. — Мы основали нашъ престоль въ человѣколюбіи и милосердін, но по навѣту злыхъ людей я едва не осудила

невиннаго. Богь васъ наградить.

«И всё зачали увиваться вкругь Настеньки. На другой жо день весь grand monde перебывать у Боровковыхъ съ визитами — даромъ что кому двёнадцать, кому двадцать версты надо было ёхать до ихней дачи... Только и рёчи у всёхъ, что про Пастеньку да про злодёйство Мякинина съ Чекатуновымъ.

«А про себя не то думали, не то гадали знатныя персопы...

Подконы подводить зачали подъ Настеньку.

«Въ то время, mon enfant, самымъ важнымъ вельможей былъ Левъ Александрычъ Нарышкинъ... Праву отмѣнио веселаго, на забавныя выдумки первый мастеръ. Какъ пойдетъ, бывало, всѣхъ шпынятъ, такъ только держисъ, а все какъ будто спросту. Государыня его очень жаловала. Когда еще великой княгиней была, большую довѣренностъ къ нему имѣла—и когда воцариласъ, много жаловала. Человѣкъ былъ, что называется, на всѣ руки... Ежели на куртагѣ бывало певесело, а Нарышкина пѣтъ, государыня всегда, бывало, изволитъ сказатъ: «видно, что Льва Александровича пѣтъ». Но чести сказатъ — мертваго, кажется, умѣлъ бы разсмѣшитъ, а праздинки задавалъ — не то что намъ: — чужеземнымъ, иностраннымъ на великое удивленье бывали.

«Даваль онъ балъ у себя на дачв. Знатная дача была у Льва Александровича но истергофской дорогв. Какіе онъ на ней фейверки двлаль, люминаціи съ аллегоріями *) — скавать, mon bijou, невозможно. Самъ Галуппи музыкой, бывало, править — старый человъкъ былъ настарый, а зачисть музыкантами командовать, глаза у свдого такъ разгорятся, ровно у молодого истиметра, когда своей dame de l'amour ручку ножимаеть... Сады какіе у Нарышкина были, фонтацы!.. По чести сказать, какъ войдешь, бывало, въ его люминованные сады — ума линишься: рай пресвътлый, царство пебесное —

больше инчего... Parole d'honneur, mon petit.

«Разъ, какъ теперь помию, накапун'в Ильппа дня, прівзжа<mark>етъ</mark> къ памъ Пастепька.

«— Ты, говорить, къ Нарышкину завтраший день на праздникъ поблень?

«— Пѣтъ, говорю, ma délicieuse, не поѣду... Для того, что инвитасьоны не получили.

«А меня досада такъ и разбираетъ... Какъ такъ? Беровковы

^{*)} Фейерверки, иллюминація.

будуть, мы не будемъ!.. Обидно!.. Выла я тогда молода, къ тому-жъ не изъ послъднихъ... Мужъ къ генеральскомъ рангъ какъ жо пе досадно-то?.. Самъ посуди, mon pigeonneau...

«— Поздравляю, говорю, поздравляю, ma délicieuse, что къ Нарышкину повдешь... А мы люди маленькіе, незнатные...

Куда ужъ намъ къ Нарышкину?..

« — Особливо мив то чудно, — говорить межь твиъ Настенька: — что на праздникв будуть только самыя первыя персоны. Изъ дъвицъ: Веделева Анста, Шереметевыхъ двъ, Папина, Полянская, Хитрово... Все les frailes de la cour... Какими судьбами меня пригласили — ума приложить не могу.

«-- Значитъ, ma douceur, и тебѣ la fraile de la cour ска-

жуть... Будень, говорю, во времени-и насъ номяни.

«Захохочеть Настенька, да такъ и залилась.

«— Нашла, говоритъ, la fraile de la cour! По чести сказать,

къ лицу мив будеть!..

«А сама ехорашивается, стоя передъ зеркаломъ... Нельзя же, топ соент-женская натура... Кто изъ молодыхъ женщить мимо зеркала пройдеть не поглядъвшись? Ни одна не пройдеть, топ рідеописац, пов'трь, что ин одна... Потому что у каждой о всякую нору одно на ум'в - какъ бы мужчинку къ себъ прицъпить... Ты, men couer, не гляди, что онъ молчать да кажутся les inaccessibles. Повърь бабущив, голубчикъ мой, что у каждой женщины льтъ съ четырнадцати одно на умв: какъ бы съ мужчинкой слюбиться... Ей-Богу, mon cher... Притворству не въры!.. Которая тебъ но мысли придется, см'вло приступай... Рано ли, поздио ли, будеть твоя... Новърь, mon bijou—я въдь онытна... Смълести только побольше, голубчикъ, а будеть къ концу діло подходить, - дерзокъ будь... На визги да на слезы винманія не обращай. Аля проформы только визжать да стонуть... Видинь, mon petit, какъ бабушка-то тебя житейской мудрости учить... Послъ сколько разъ помянень, поблагодаринь меня, старуху, за мои les instructions... Върь, mon agneau, и въ стары годы и въ нынвшніе pour chaque femme et pour chaque fille пичего ить пріятиве, какъ объятья мужчины... Изо всей силы, топ petit, къ себъ прижимай, мии, кости ломи-тьмъ пріятиве... Про что, бишь, я говорила, Андрюна?»

— Да все про Боровкову, бабушка... Какъ опа къ Нарышкину сбиралась и охорашивалась, стоя у васъ передъ

зеркаломъ...

— Точно, голубчикъ, точно... Изогнула она этакъ на бокъ талію, ручкой подбоченилась, а глазенки такъ и горять... Ухъ, какъ отм'внио была хороша, ухъ, какъ славна!.. А близиру ради тоже прикидывается—я, дескать, дурнушка.

«И вдругъ пригорюнилась она:

- «— И́Бть, говорить, Параша какая я fraile de la cour?.. Воть если-о́ъ государыня взяла меня зам'всто Матрены Даниловны.
- «— Христосъ съ тобой, говорю я, Настепька. Сама не знаешь, что мелешь!.. Въ дурки захотъла!.. Какой туть промънъ, та délicieuse?
- «— Большой, говорить, промёнь! Родись я мужчиной—генераль-прокуроромъ захотёла бы быть, всякій бы часъ государынё докладывать, какъ болёсть народъ, какъ ищеть суда и правды, а найти не можеть!.. А родилась женщиной въ дурки хотёла-бъ, въ шутихи... Эхъ, какъ бы мнё падёть чепчикъ съ погремуниками... Сколько бы правды тогда разсказала царицё!..

«— Дуришь, Пастенька! То говоришь—шутовъ не падо, то

сама въ дурки лѣзешь.

«А она:

«- Не поинмаешь ты ничего, говорить.

«Темъ и копчили.

«На томъ нарышкинскомъ праздникъ государыня изволила добрыя въдомости объявить, — съ туркой миръ былъ заключенъ. Съ тъми въдомостями присланъ былъ премьеръ-майоръ Соколовъ. И того Соколова Нарышкинъ позвалъ на праздникъ; государыня такъ приказала. А премьеръ-майоръ Соколовъ dans la grande société былъ совсъмъ темный человъкъ, и никто изъ знатныхъ персовъ не зналъ его. Пріъхавши къ Нарышкину, ровно въ лъсу очутился, бъжать такъ въ ту же пору. Прижался въ уголку, думаетъ: «ахти мнъ, долго-ль въ мукъ быть».

«Настенька, зам'ятнями Соколова не въ своей тарелев, нодошла къ нему, зачала про Молдавію разспрамивать, про тамонніе правы и порядки... Премьеръ-майоръ растаяль, глядя

на ел красоту-съ перваго взгляда заразился.

«Говорять они этакь въ уголку—какъ вдругь зашумѣли, забѣгали. Александръ Львовичъ съ женой на крыльцо, Галупии стукнуль налочкой, и грянуль полонезъ. Государыня пріѣхала... Соколовъ съ Настенькой въ парѣ ношелъ, и когда полонезъ окончился, къ нему подошелъ князь Орловъ Григорій Григорьичъ *). А пріѣхаль онъ съ государыней.

«— Ба, ба, ба! — говорить. — Здравствуй, Соколенко, какими

судьбами ты здѣсь?

^{*)} Анахронизмъ, какихъ много въ «Бабушкиныхъ росказняхъ». Миого путала покойница.

«Соколовъ низко кланяется, допоситъ князю Григорью Гри-

горынчу, что съ мирными въдомостями присланъ.

«— Какъ я радъ, что нахожу тебя здѣсь и вижу здоровымъ и благополучнымъ,—сказалъ князь Григорій Григорычъ и сталъ цѣловать премьеръ-майора.—Ко миѣ пожалуй, братець! Не забудь, Соколенко...

«Тотчасъ всѣ гурьбой къ Соколову. Въ знакомство себя по-

ручають.

«Государыня, замѣтивши ласки киязя Григорья Григорыча

къ Соколову, спросила, какъ опъ его знаетъ...

«— Нашъ кёнигобергскій, —говорить князь. — Въ прусскую войну мы съ Соколенкой на одной квартиръ стояли... Старый пріятель!

«А Соколенкой любя премьеръ-майора князь Орловъ называлъ. Такая привычка была у пего: русскихъ кликалъ по-

хохлацки, а хохловъ по-русски.

«Приметиль князь Григорій Григорьичь, что Соколовь съ Настеньки не спускаєть глазь.

«— Аль заразился?..--спрашиваеть.

«Молчить премьерь-майоръ, а краска въ лицо кинулась.

«— А відь она приглядніе чімь Лотхень будеть?..—гово-

?тых князь.—Поминшь Лотхенъ?

«Соколовъ ни живъ ии мертвъ. Придворнаго этикету не разумветъ, что отввчать на такія затвиныя рвчи— не придумаеть.

«— За ней тысячи полторы дворовъ, — говорить князь. — А сама столь умиа, что всёхъ кёнигсбергскихъ профессоровъ за ноясъ заткиетъ... Хочешь?..

«Молчитъ премьеръ-майоръ.

«— Постой, — говорить ему князь: — и тебя съ отцомъ познакомлю.

«И, взявши Соколова подъ руку, подвель къ Боровкову, къ

Петру Андреичу, и говорить ему:

— Вотъ, ваше превосходительство, мой искренцій другь и закадычный пріятель Антонъ Васильнить Соколепко... Прошу любить да жаловать.

«Познакомились. Не шутка, — самъ Григорій Григорьичъ

знакомить.

«Утромъ премьеръ-майоръ къ Боровковымъ на дачу, черезъ

два дин опять... И зачастиль.

«Недёли съ двё такимъ манеромъ прошло. Вдругъ пов'єстку отъ камеръ-фурьерскихъ дёлъ Петръ Андреичъ получаетъ — быть у государыни въ Царскомъ Селё.

«Когда онъ оттуда домой воротился — лица на немъ нъть.

Прошель въ спальню, гд больная жена лежала.. **Пастеньку т**уда же по скорости кликнули...

«— Знаешь ли, — говорить Петръ Андреичъ: -- свътикъ мой,

зачимъ государыня меня призывать паволила?

«Молчить Настенька. А въ лицъ ни провишки чуяло сердце.

«-- Жениха сватаетъ...

«- Кого? - спросила Настенька.

« Соколова Антона Васильнча, того самаго премьеръмайора, что изъ Туречины съ миромъ прівхаль.

«Молчить Настенька.

«— Человікть, казалось бы, хорошій. Съ самимъ княземъ Григорьемъ Григорьичемъ въ дружбів, опять же и матушки государыни милостью взысканъ...

«Ин слова Пастенька.

«— Призвавии меня, изволила сказать государыня: — «Я къ тебь свахой, Нетръ Андреичъ, у тебя товаръ, у меня кунецъ». Я поклонился, къ ручкъ пожаловала, съеть приказала. — «Знаень, говоритъ, премьеръ-майора Соколова, что съ мирными въдомостями прислапъ? Человъкъ хорошій — киязь Григорій Григоричъ его коротко знаетъ и много одобряетъ». Я молчу... А государыня, весело таково улыбаясь, опять миъ ручку подаетъ... Ј'аі fait le baisement. а ея величество, отнуская меня, говоритъ: — «Сроду впервые въ свахи попала, ты меня ужъ не стыди, Петръ Андреичъ». Я было-молвилъ: — «Не мнъ съ нимъ житъ, ваше величество, дочь что скажетъ...» А она: — «Скажи ей отъ меня, что много ее люблю и очень совътую просьбу мою исполнить»...

«Ин гу-гу Пастенька. Смотрить въ обно и не смигнеть.

«Обернулась. Иерекрестилась на святыя иконы и столь твердо отцу молвила:

«— Доложите государынь, что исполню ся высочайшее по-

велвніе...

«Суста въ дом'в подпялась: шьють, кроять, приданство готовять. Съ утра до почи и барынии и сънныя дівки свадебныя півсни поють.

«А женихъ еще до свадьбы себя ноказалъ: разъ, будучи хмеленъ, за ужиномъ вздумалъ посудой представлять, какъ Румянцевъ Силистрію бралъ, а послъ ужина Истра Андрепчева

камердинера въ ухо.

«Свадьбу во дворцъ вънчали... И въ новзжанахъ была, mon pigeonneau, и государыня тогда со мной говорить изволила... Очень была я милостями ся обласкана... А какой изрядный фермуаръ Настепькъ опа ножаловала!.. Брильянты самые круп-

пые, самой чистой воды, караты по три по четыре въ каждомъ, а въ середкъ прелестный изумрудъ, крупнъе большой вишии, гораздо круппъе...

«Черезъ педъло пость свадьбы, на самый Покровь, Соколову сказано: быть воеводой въ сибирскомъ городь Колывани.

«По первому пути и повхала въ Сибирь Настенька.

«А уладилъ ту свадьбу и выхлоноталъ Соколову сибирское восводство — вовсе не киязь Григорій Григорьичъ и не Нарышкинъ Александръ Львовичъ, а тъ знатныя персоны, что Настенькина язычка стали побанваться... Это ужъ мы послъ узнали...»

на станціи.

Разсказъ.

Надвигалась грозовая туча; изрѣдка сверкала молнія, порой раскатывался громъ въ поднебесьѣ... Сталъ накрапывать дождикъ, когда прівхаль я на Рѣкшинскую станцію.

Станціонный домъ сгорѣлъ, на постройку новаго третій годъ составляется смѣта: пришлось укрываться отъ грозы въ

первой избъ.

Крестьяне въ пол'в на работ'в. Въ изб'в восьмил'втияя д'вечонка качаетъ люльку, да с'ёдой старикъ илею чинитъ.

— Богъ на помочь, дѣдушка!

Спасно, кормилецъ!

— Что работаень?

— Да вотъ шлею чиню. Микешка, мошенникъ, намедии съ исправникомъ вздиль, да песъ его знаетъ, въ кабакъ ли въ Ереминв завхаль, въ городу-ль у него на станціи озорникъ какой шлею изрезаль... Что станешь делать!.. На-смехъ, известно, что на-смехъ. Видятъ, парень хмельной, ну и потвикаются, супостаты... Шибко сталъ зашибать Микешка-то, больно шибко. Беда съ нимъ да и полно.

— Что онъ тебь?.. Сынь али внукъ?

-- Какое сынъ! Въ работникахъ живетъ.

— Зачимъ же ты пьяницу въ работникахъ держиль?

— А какъ же его не держать-то?.. Его дѣло спротское — сгинуть можетъ человѣкъ... А у меня въ дому все-таки подъ грозой. У него же мать старуха, вонъ тамъ на задахъ въ кельёнкѣ живетъ. Ей-то какъ же будетъ, коль его прогоню?.. Опа, сердечная, только сыномъ и дышитъ.

Пережидая грозу, долго толковалъ я съ Максимычемъ такъ звали старика. Зашла рѣчь про исправника. Максимычъ

его расхваливалъ.

— Исправникь у насъ баринъ хорошій, самый нодходящій, — говориль онь. — Ие то чтобы драться, какъ покойникъ Истръ Алексвичь, — царство сму небесное! — словомъ пикого не обидить. Славный баринъ — дай Богь сму здоровья, — все творить по закону. А нокойникъ Петръ Алексвичь — лютой быть, такой лютой, что не приведи Господи. Звврь, одно слово, звврь. А нынвший, Алексви-огь Петровичъ, баринъ тихій, богобоязненный: воть третій годъ доходить — волосомъ никого не тронуль. А самъ весь въ кавалеріяхъ, а на правой рученькъ двухъ перстиковъ нъть: на войнъ, слышь, отсъкли.

«Воть ужь третій годь сидить онъ у насъ въ исправникахъ и все по закону поступаеть. Уложенна книга завсегда при немъ. Чуть какую провинность за мужикомъ приметитъ, тотчасъ ему ту провинность въ Уложенной сыщеть и дасть вычитать самому, а коли мужикъ неграмотный, пошлеть за грамотеемъ, не то за дьячкомъ, аль за дьякономъ, аль и за пономъ... Велитъ статью вслухъ прочитать, растолкуетъ ее, да что по стать в следуеть, то и сделаеть, а каждый разъ маленько помилуеть. Вёдь во всякой статье и большой есть взыскъ и маленькій: такъ Алексей Петровичь, дай Богъ ему здоровья, все маленькій кладеть... И всегда судить на людяхъ, сотскіе каждый разъ всю деревню собыоть, чтобы всв видьли, чтобъ всв слышали, какъ онъ судъ и расправу даеть. «Теривть, говорить, не могу творить судъ втайнъ, пущай, говорить, весь міръ знасть, что я сужу но правдѣ, по закону, по совъсти...» II точно... Всегда взыскъ дълаетъ, какъ въ Уложенной книгъ батюшка царь написалъ... И завсегда маленько посбавить взыску-то... Отець родной, не баринъ... Всъ имь довольны остаются, Бога благодарять за такого исправника.

«Спервоначалу, какъ навхаль, мужички, какъ водится, сложились-было всей вотчиной: хлюбь-соль ему поднесли и почесть. Хлюбъ-соль принялы: «отъ хлюба отъ соли, говорить, гръхъ отказываться, и потому я, по Божьему вельнью, его принимаю, а взятокъ и посуловъ брать не могу, а потому и вашего мнё не надо. Не такой, говоритъ, я человъкъ, служилъ, говоритъ, Богу и великому государю върой и правдой, на войны кровь проливалъ и не одинъ разъ жизнь терялъ. Стало-быть, взятками мнё заниматься нельзя, мундира маратъ и пе долженъ. А законъ, говоритъ, буду надъ вами наблюдать строго: у меня, говоритъ, чтобы все какъ по стрункъ ходило. Напередъ приказываю, чтобы въ каждомъ домъ весь законъ исполнялся. Не то, говоритъ, держите ухо востро. Напередъ говорю: строго взышу, какъ по закону слёдуетъ, взыщу. Мнъ, говоритъ, что? Притъснять мужика и отъ Бога гръхъ, и по

своей душв не могу, потому что ввкъ свой въ военной служов служилъ. А что законъ предписываеть, содержать буду крыко и супротивъ закона ни единому человъку попоровки не дамъ».

«На такія рѣчи осмѣлились мужички спросить Алексѣя Истровича: про какіе же это законы изволить онъ рѣчь вести. «Про всѣ, бастъ, законы говорю, сколько ихъ ни на есть, чтобы всѣ исполиялись до единаго».

«Мужики опять осмѣлились доложить:

«— Мы-де, ваше высокоблагородіе, законовъ не разумѣсмъ. Люди мы не мятые, грамотѣ не знаемъ, законовъ не читали, и въ острогѣ мало которые изъ нашей вотчины сидъли... Тамъ, слышь, законамъ-то старые тюремные сидѣльцы всѣхъ обучаютъ...

«На это слово молвилъ Алексћи Петровичъ:

«— Милые вы мои мужнчки! Есть въ нашемъ Россійскомъ государствъ такой законъ, что невъдъніемъ законовъ отрицаться не можно: стало-быть, вы, инчего еще не видя, передо мной супротивность закону сдълали, коли говорите, что законъ вамъ неизвъстенъ... На первый разъ прощаю... Суди меня Богъ да великій государь — беру грѣхъ на душу; а внередъ держите ухо востро. Да поминте у меня: ежели кто осмѣлится ко мив со взятками нодойти аль съ почестью, такъ и распоряжусь по-военному: до полусмерти запорю. Слыните ли?

«Замялись мужички. Обидно, знаешь, стало: перво дѣло — почестью побрезговалъ, а они сто цѣлковенькихъ со всякимъбило усердіемъ; другое дѣло, больно ужъ темныя рѣчи вагибаеть. Сразу-то разумныхъ его рѣчей и вдомекъ взять не могли.

«Плетъ онъ по маломъ времени напередъ себя разсыльныхъ... Святъ, святъ Господь Богъ Саваооъ!..» — тороиливо крестясь, прервалъ рѣчь свою Максимъ, когда яркая молнія чуть не ослѣнила насъ, и въ ту-жъ минуту съ трескомъ и будто съ пушечными выстрѣлами загрохоталъ громъ надъ нашими головами.

— Ай, Господи, батюшка! Въ полѣ-то кого не зашибло ли, — скорбно проговорилъ Максимычъ, немножко оправившись... И, мало помолчавъ, вполголоса продолжалъ рѣчь свою про исправника.

— Плеть Алексви Петровичь по всвыь волостямь, по всвыь вотчинамь повъстить, новый, дескать, исправникь вдеть, вы каждомь бы дому по закону все было. А что такое по закону—ни бумагой ни рвчью того не приказываеть. Прівзжаеть къ намъ вь деревню Ракшино... Дало-то было зимой,

передъ масленицей; чуть ли въ саму широку субботу *). Во всякомъ дому побывалъ, на что келейны ряды, и тъ исходилъ, ни единой кельёнки не проминовалъ. А у самого въ рукахъ Уложениая.

«Къ первому зашелъ къ Захару Дмитричу: изба-то у пети съ краю. Вошелъ, какъ слъдуетъ, только въ шапкъ, и, сиявно се, на столъ положилъ. По-нашему, по-крестьянскому, это бы гръшно, а по вашему закону, по-господски то-есть, можетъ, такъ и надо. У Захара дъдушка слъпенькій есть — лътъ девяносто слишкомъ старичку. Сидълъ онъ той порой на кути. И съ нимъ поговорилъ Алексъй Петровичъ, про стары годы разспросилъ и про то, уважаютъ ли его впучата, доволенъ ли ими. Съ хозяйкой поговорилъ, за досужество въ избъ похвалилъ и все нашелъ по закону, въ порядкъ. Да, выходя изъ избы, сталъ на голбецъ **) и заглянулъ на печку.

«— Зачъмъ, говоритъ Захару, рогожа-то на печи?

«— А вотъ, батюшка, ваше высокоблагородіе Алексѣй Петровичъ, слѣпенькій-отъ дѣдушка-то спитъ на эвтомъ самомъ мѣстѣ. Ему рогожка-та и подослана.

«— Ну, — говорить Алекстий Петровичъ: — это дтло не ладно,

того законъ не позволяетъ.

«— Да відь, батюшка, ваше высокоблагородіе, —проговориль Захарь: — на печи-то горячо живеть, безъ рогожки-то старець спину сожжеть... Безъ рогожки никакъ невозможно.

«— Пущай, говорить, дідушка на полатяхъ спить, а рогожу

на печи держать законъ не дозволяеть.

«— Да ему, батюшка, ваше высокоблагородіе, на полати-то и не взлѣзть. И на печку-то съ грѣхомъ лазитъ. Намедни упалъ, сердечный, да таково расшибся, что, думали, рѣшится совсѣмъ, за попомъ даже бѣгали. Дѣло-то его вѣдь больно старое.

«— На полати не взлизеть, такъ на лавки вели ему спать,

а рогожи на печи не держи: законъ запрещаеть.

«— Какъ же это возможно, ваше высокоблагородіе, — сказалъ Захаръ. — Гдѣ-жъ это видано? Гдѣ-жъ слѣному старцу и быть, какъ не на печи? Дѣло его старос: на лавкѣ холодно. Да и нельзя, батюшка Алексѣй Истровичъ. По-нашему, покрестьянскому — старшему въ семъѣ на печи мѣсто. Какъ же самъ-отъ я съ женой на печи развалюсь, а дѣдушку на лавку ноложу? Такое дѣло сдѣлать: и въ здѣшнемъ свѣтѣ отъ людей нокоръ, и на страшномъ судѣ Христосъ отвѣта потребуетъ.

**) Деревянный пристынокъ у печи.

^{*)} Суббота передъ масленицей. Самые бельшіе базары по селамъ.

«— А когда такъ, — говорить Алексви Петровичъ: — такъ постели дъдушкъ на нечь тюфякъ, да только чтобъ не съномъ былъ набитъ, не соломой, не мочалой, потому что все это запрещено. Набей его конской гривой либо пухомъ.

«— Съ нашими ли достатками, батюшка, ваше высокоблагородіе, такіе тюфяки заводить?.. Чёмъ пуховый тюфякъ спра-

влять, лучше на ть деньги другу лошаденку купить.

«— Какъ знаешь, — говорить Алексый Истровичь: — я выдь тебя не неволю. Только смотри у меня; впередъ беретись. Тенерь я съ тебя по закону невеликое взыскание возьму, а сжели вдругорядь на печи рогожу найду, взыскание будетъ большое. Помии это. Было відь, кажется, вамъ всімъ приказано, чтобы всів готовы были, что законы я буду содержать крыко. Разсыльнаго нарочно присылаль... А вамъ все ни почемъ! Не пеняйте же теперь на меня... Грамотъ знаешь?

«— Господь умудриль, — говорить Захаръ. «Алексъй Петровичь ему Уложениую въ руки.

«— Читай воть въ этомъ мъсть,—говорить.—Читай вслухъ.

«Вычитываеть Захаръ: «кто порохъ да съру, селитру да солому, аль и рогожу на печи держать будетъ, съ того денежное взыскапіе отъ одного до ста рублей».

«Взвыль Захарушка, увидавши такой законъ. Самъ видить, что надо будеть разориться. Все заведеніе продать и съ избой вивств, такъ развв-развв сотию цёлковыхъ выручишь. Воть-тв

и рогожка!

«Повалился въ ноги Алекско Петровичу, хозяйка тоже, ребятишки заголосили, а дѣдушка хотѣль-было поклопиться, да сослѣпа лбомъ на ведро стукнулся, до крови расшибся.

Лежитъ да охаетъ.

«— Помилосердуйте, батюшка, ваше высокоблагородіе, — голоситъ Захаръ: — вёдь это выходитъ, что мив за рогожку надо всёмъ домомъ рёшиться... Будьте милостивы!.. Мы про такой законъ, видитъ Богъ, и не слыхали... Отъ простоты... Ей-Богу, отъ одной простоты, ваше высокоблагородіе.

«Алексви Петровичъ на то кротко да таково любовно про-

мольилъ:

«— Невъдвніемъ закона, братецъ ты мой, отрицаться не повельно. На это тоже законъ есть.

«— Дагдь-жъя, —вопить Захаръ: — сто цёлковыхъ-то возьму? Люди мы несправные, всего третій годъ, какъ съ братовьями

раздёлились.

«Такъ вѣдь воть какой добрый баринъ-оть, дай Богь ему доброе здоровье! Другой бы не номилосердствоваль, сказаль бы: «вынь да положь сто цѣлковыхъ», и говорить бы много

не сталь; а онъ только десятью цёлковыми удовольствовался...

Добрая душа, правду надо говорить!

«Пошелъ Алексъй Петровичь отъ Захара къ Игпатію Зиновьеву. Изба-то рядомъ. Ну и тамъ все этакъ же. Обощелся чинно, ласково, безобидно... Святъ, святъ святъ Господь Саваооъ, исполнь пебо и земля величества славы Твоея!..»

Оиять ярко-синяя молонья, опять страшный громовой ударь. Старикъ со страхомъ крестился, ребенокъ визжаль, дѣвчонка

со страху подъ лавку запряталась.

Оправившись, Максимычъ такъ продолжаль рфчь свою:

— А хоша у Игнатья тоже рогожка на печи была, да, услышавши про бѣду у сосѣда, на дворъ ее выкинулъ. Алексѣй Истровичъ противнаго у пего не примѣтилъ, да, выйдя изъ избы, полѣзъ на чердакъ.

«— А гдѣ, говорить, у тебя кадка съ водой, гдѣ, говорить,

швабра?

- «— Какая кадка, батюшка, ваше высокоблагородіе? спрашиваетъ Игнатій.
- «— А ради пожарнаго случая, говорить, которую вельно ставить. Гдь она?

«Игнатій ему:

- Мит, батюшка, ваше высокоблагородіе, по разводу, на пожаръ съ ухваточъ ходить. И на доскт, что у вороть прибита, ухватъ намалеванъ. Про кадку да про швабру впервой слышу.
- «— Какъ впервой? Да вѣдь у тебя должна же быть кадка съ водой на чердакѣ?
- «— А на что-жъ она потребуется, осмѣлюсь спросить васъ, батюшка Алексый Петровичъ? Дѣло теперь зимиее: вода въ кадкѣ замерзнетъ, какая-жъ отъ нея польза будетъ? А шваброй-то что тутъ дѣлатъ, когда Божьимъ гиѣвомъ грѣхъ случится? Теперь на крышѣ спѣгу-то на аршинъ. Да и лѣтомъ, коли за грѣхи несчастный случай доведется, не со шваброй мнѣ на крышѣ сидѣтъ, а скорѣе бѣжатъ на ножаръ съ ухватомъ. И па доскѣ намалевано, что съ ухватомъ. А ежель но сосѣдству загорится, такъ ужъ тутъ, батюшка, ваше высокоблагородіе, не до швабры, не до ухвата: тутъ скорѣй за свое добришко хватишься, чтобъ на задворицу его для бережья новытаскать.
- «— Да ты много-то. милый мой, не раздабаривай, —говорить Игнатію Алексѣй Петровичь. Не я выдумаль, чтобъ кадка да швабра у тебя на чердакѣ была. Царское новелѣніе, закономъ предписано. На-ка вотъ, читай.

«- Да я, батюшка, сліной человікь: грамоті не обучень.

«Велѣлъ грамотника призвать. Тотъ же сердечный Захаръ пришелъ. Подалъ ему спервоначалу Алексѣй Петровичъ двѣнадцатый томъ... Такъ, кажись, законъ-отъ прозывается.

«-- Читай, говорить, вслухъ.

«Вычитываетъ Захаръ, что у всякаго крестьянина на чердакъ надо быть кадкъ съ водой и швабръ.

«— Фу, ты, прорва какая! А мы и не вѣдали.

«Посл'в того Алекс'яй Петровичь Захару Уложениу въ руки. Показываеть статью.

«— Читай, говорить, да ногромче, чтобы всѣ слышали.

«Вычитываеть Захаръ:

«Коли у хозяевъ домовъ изтъ въ готовности на случай пожара сосудовъ съ водой, съ того брать но закону отъ ияти-

десяти копеекъ до пяти рублей».

«У всѣхъ руки такъ и опустились, для того, что ни у кого на чердакахъ ни кадокъ съ водой, ни швабры и даже никакой посуды, про какую Захаръ вычиталъ, съ роду не бывало... Ко всякому мужику Алексѣй Петровичъ потрудился на чердакъ

слазить. Всв передъ закономъ остались виноваты.

«Что-жъ ты думаешь, кормилецъ? Вѣдь добрый-отъ какой! Законъ ужъ велитъ пять цѣлковыхъ за ту провинность взять, а онъ, дай Богъ ему добраго здоровья, только по зелененькой со двора справилъ... Такой баринъ, такой добрый, что весь свѣтъ выходи — другого не найдешь. Дай Господи ему многолѣтняго здравія и души спасенія!.. Хорошій, хорошій человѣкъ...»

— Лошади готовы, — сказалъ вошединй мужикъ. — За смазочку бы старостъ надо...

— Прощай, дѣдушка!...

— Прости, родной, прости!.. Дай Богъ тебѣ благополучно!

— Такъ хорошъ у васъ Алексѣй Петровичъ? — спросилъ и его еще разъ по выходѣ.

— Расхорошій-хорошій, — отвѣчаль Максимычь: — такой

хорошій, что не надо лучше.

Гроза промчалась... Свёжо, благовонно... Стрёлой летёли добрые кони вдоль по уёзду, что такъ благоденствовалъ подъ отеческимъ управленьемъ добраго Алексём Петровича.

ГРИША.

Изъ раскольничьяго выта.

Давно то было... Л'єть нятьдесять и побольше того въ увздномъ город'є Колгусв'є жило богатое семе́йство Гусятниковыхъ.

Въ дальнемъ углу городка, на самомъ на вспольѣ, строенья Гусятниковыхъ цѣлый кварталъ занимали: туть были и кожевня, и салотопня, и свѣчной заводъ, и клееварня. До сихъ поръ стоятъ развалины большого каменнаго ихъ дома; отъ другихъ строеній слѣда не осталось — все вычистило въ большой пожаръ, когда въ два часа погорѣло полгорода.

И теперь есть въ Колгуевѣ Гусятниковы, по люди захудалые, обницалые! Изъ купцовъ давно въ мѣщане переписались: старики только-что не съ сумой ходять, молодые — въ солдатство по найму ушли. Стибъ, пропалъ богатый домъ, а лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ былъ онъ славенъ въ Казани и въ Астрахани, въ Москвѣ и въ Сибири... Какіе были богачи!.. Сколько добра было въ домѣ, какую торговлю вели!.. Все прахомъ да тлѣномъ пошло!

Держался домъ Гусятинковыхъ матерью теперешнихъ обнищалыхъ стариковъ. Покамъстъ жива была Евпраксія Михайловна, жили въ богатствъ и почетъ; не стало ея — все на иную стать пошло, — унесла она съ собой и прежнюю честь, и прежнее довольство, и прежнее житье-бытье Гусятинковыхъ. Какъ схоронили ее, такъ и зачали сыповья путаться; путались они, путались, да лѣтъ черезъ десятокъ и спать не ужинавши стали лежиться. А не были ни воры ни бражники: люди тихіе, обходительные, и пе дураки... И никакого послѣ материной смерти Божьяго насланія не было — ни пожара, ни потопа, ни суда, ни иного какого разоренія. И въ казенные подряды не вступали и откуповъ не держали... Такова ужъ судьба.

Правда, передъ смертью Евпраксін Михайловны было горе у нихъ. Но, кажись бы, отъ того горя пельзя было въ конъ

разориться. Судьба, одно слово — судьба!..

Отецъ Гусятниковыхъ, мужъ Евираксіи Михайловиы, торговаль бойко, но дѣла не совсѣмъ въ порядкѣ держалъ. Когда номеръ, а померъ-то опъ въ одночасье, на чужой сторонѣ, — къ Саратовѣ никакъ, — чуть-было не пришлось дѣла закрывать. Евираксія Михайловна молодой вдовой осталась, на рукахъ семья: пять сыновей, двѣ дочери — малъ-мала меньше. Седьнымъ ребенкомъ на спосяхъ ходила, какъ пали къ ней вѣсти, что сожитель побывшился. — «Порѣшились Гусягниковы», — заговорили по кунечеству... Родила Евираксія Михайловна, справилась, сорочины по мужѣ справила и сама за дѣло взялась. — «Куда молодой бабенкѣ съ такими дѣлами возиться, — заговорили купцы: — отъ такихъ дѣлъ и у стараго

купца затрещить голова! Куда ей?»

Въ немощахъ человъческихъ Господь силу являетъ: молодая вдова въ три-четыре года дѣла на лучную ногу поставила, кожевенный заводь, при мужь чуть не заброшенный, такъ подняда, что сделался онъ первымъ по губернін, и на Макарьевской ярмаркъ гусягниковская юфть стала всъмъ знаема. Сыновей Евираксія Михайловиа вырастила, выучила, пережеинла, дочерей за хорошихъ людей замужъ повыдала: одну въ Казань, другую въ Муромъ, третью чуть ли не въ Арзамасъ. Сыновья не делились, всё при матери жили даже и тогда, какъ своихъ детей переженили. Одно слово — такъ хорошо да ладио устрошла все Евпраксія Михайловна, что и мужчинв не всякому такъ удастся. И наградиль ее Господь многольтіемь: виділа Евпраксія Михайловна впуковъ женатыхъ, няпьчила, холила правичковъ, ото всёхъ людей почтена была за жизнь строгую, подвижную. Правдой жила: много потаепиаго добра творила она, много раздала тайной милостыни, и на смертномъ одръ ноднесла Господу три дара: первый даръ почное моленье, другой даръ — пость-воздержанье, третій даръ — любовь-добродътель.

Страниелюбіе поревновала Евпраксія Михайловна. Кто ни приди къ ея дому, кто ни помяни у вороть имя Христово — всякому хлѣбъ-соль и теплый уголъ. Съ краю обширной усадьбы, недалеко отъ маленькой рѣчки, на самомъ на вспольѣ, сердобольная вдовица ставила особую келью ради пристанища людей странныхъ, ради трудниковъ Христовихъ, ради перехожихъ богомольцевъ. Миото туть странниковъ привитало, много

бъднаго народа упокоено было, много къ Господу теплыхъ молитвъ пролито было за честную вдовицу Евираксію.

Женскаго пола странніе люди у Евпраксіи Михайловны въ самомъ дому привитали; сама она съ дочками, покамѣстъ замужъ ихъ не повыдала, да со снохами за странницами, ради Бога, ходила... Мужской полъ но старому уставу долженъ жить особо, нослужить старцу долженъ мужчина, — того ради ставила Евпраксія Михайловна на усадьбѣ особую келью, а потомъ искала человѣка, смотрѣлъ бы онъ за келейкой денноноцно, былъ бы при ней неотходно, приносилъ бы старцамъ и перехожимъ богомольцамъ горячую ппщу; служилъ бы не изъ платы, а по доброму хотѣнью, илоть да волю свою умерщвялъть бы, творилъ бы дѣло свое ради Бога. Въ страхѣ Господнемъ вспоенные, вскормленные сыновья сами на то дѣло позывались, но Евпраксія Михайловна имъ на то говорила:

— Полноте-ка вамъ, дѣтки! Развѣ вамъ того неизвѣстно, что каждому человѣку отъ Бога своя дорога, каждому человѣку отъ Господа забота? Вамъ дана забота — вести торгъ честный, на келейное дѣло вы, мои ребятки, не сгодились. Семъ-ка присмотримъ спроту такого, былъ бы смирный да богобоязный, Бога ради работящій, Бога ради терпѣливый. По силѣ помощь ему подадимъ: барскій, такъ выкупимъ; вольный, рекрутску квитанцію выправимъ — станетъ онъ у насъ старцевъ покоить да Бога молить объ отпущеньи нашихъ согрѣшеній... Ладно, что ли, ребятки?

Сыновья матери ни въ чемъ не перечили, а по такому дълу и подавно. Ръшили искать сироту. По скорости отыскали

такого.

Послѣ колгуевскаго мѣщанина Аверьяна Самохинскаго, горькаго пропойцы, что возлъ кабака и жизнь скончалъ, оставался сынъ Григорій. Не было у него ни роду ни племени; какъ есть — круглый сирота. Было ужъ ему лёть тринадцать, а мальчишка все межт дворовъ мотался: гдв съвсть, гдв изопьетъ, гдв въ банькв попарится, а все именемъ Христовымъ. Только и праздникъ, бывало, Гришуткъ, какъ пная бабенка, сжалившись надъ нимъ горемычнымъ, обносокъ подасть ему. И пойдеть спроти тоть обносокъ за нову рубаху. Паренекъ быль смирный, тихій, послушный: — нужда да спротство чему не научать? И открыль ему Господь разумь: выучился Гришутка грамотт самоучкой, ходя по домамь безграмотныхъ мъщань, читаль имъ исалтирь да чети-минею. И возлюбиль Гриша божественныя книги, и ужь такъ хорошо пёль онъ духовныя пъсни, что всякій человьки, что вы сусть выки свой проводить, заслушается, бывало, его поневоль. А быль онъ

изъ раскольниковъ, изъ «записныхъ» — изъ самыхъ, значитъ, коренныхъ — дѣды, прадѣды его двойной окладъ илатили, указанное платъе съ желтымъ козыремъ носили, браду свою пошлиной откупали. Это было съ руки Евпраксіи Михайловнѣ: и сама она съ дѣтками «по древлему благочестію» пребывала. Только были опи не злой какой секты, а по бѣглому священству — по Рогожскому, значитъ, кладбищу.

И взяла къ себъ въ домъ Евпраксія Михайловна бездомнаго сироту Гришу. Обмыли его, одъли, рекрутскую квитанцію купили и, по доброй его воль, по его благому хоттью, приставили къ богадёльной кельв. Тамъ, за кафельной печкойголанкой, устроили ему особую каморку. Въ той каморкъ, объедномъ маломъ оконцъ, сталъ жить и подвизаться молодой келейникъ, а въ свободное время, когда въ келейкъ ни скитскихъ старцевъ ни перехожихъ богомольцевъ не бывало, читалъ книги о житіи пустынномъ, о подвижникахъ Христовыхъ, что въ Иалестинъ, и во Египтъ, и въ Опвандскихъ пустыняхъ труднымъ подвигомъ, ради Господа, подвизались.

Живетъ Гриша у Евпраксіп Михайловны годъ, живетъ другой, живетъ третій, старцамъ и страннимъ людямъ служитъ, божественныя книги читаетъ.

Отверстою душою, умомъ нераздвоеннымъ внимаетъ онъ древнимъ сказаньямъ о подвигахъ отцовъ преподобныхъ. Съ жаромъ, съ любовью читаетъ «Повъсть объ индейскомъ царевичь Асафь». Воть думаеть, бывало, Гришутка: «Воть — и царевичь быль, и царствомъ владаль, жиль въ бълокаменныхь палатахъ, было у него золотой казны несметно, всякихъ сокровищъ земныхъ непсчетно... Промъняят же царскія брашна на гнилую колоду, сладкіе меда на болотну водицу...» II западала въ юную голову Гриши крѣпкая дума — какъ бы ему въ дебряхъ пустынныхъ постомъ и молитвой спасать свою душу... Разрасталась, расширялась у него та дума, и, глядя на списву дремучаго леса, что за речкой видиелся на краю небосклона, только о томъ и мыслиль Гриша, какъ бы въ томь лесу келейку поставить, какъ бы тамъ въ безмятежной пустына молиться, какъ бы дикінмъ овощемъ питаться, честнымъ житіемъ въкъ свой подвизаться, столпъ ради подвига сеов поставить и стоять на томъ столпь тридесять льть несходно, не ложась и кольнь не преклоняя, оть персей рукъ не откладая, очей съ неба не спуская...

Стоить, бывало, стоить юный келейникъ, вперя вдаль свои очи, стоить, ничего не слышитъ, по душѣ у него сладость разольется, и, самъ не знаетъ отчего, онъ заплачетъ;

заструятся по впалымъ, блёднымъ ланитамъ горючія слезы, и запость онъ тихонько стихь въ похвалу пустынъ:

> О, прекрасная мати-пустыня! Самъ Господь тебя, пустыню, похваляеть: Отцы во пустынъ скитались, И ангелы имъ помогали... Прекрасная ты пустыня, Прекрасная ты раиня, Любимая моя мати! Прими ты меня, мать-пустыня, Отъ юности моей прелестной! Научи меня, мати-пустыня. Жить и творить Божье дало!

II долго - долго, бывало, тихимъ, тоскливымъ напъвомъ поеть Гриша свою пъсню, глядя на синеву лъсную. Спустится на землю вечерняя тынь, черной полосой вытянется лысь по закраю неба, а онъ все пость да пость любимую пѣсню... Яркія звізды одна за другой загораются въ небі, полный місяцъ выкатится изъ-за лъса, серебристымь лучомъ обольсть онъ широкіе дуга и сонную рѣчку, бѣлосиѣжные песчаные берега и темныя, нависшія въ воду ракиты, а Гриша, ни голода ни ночного холода не чуя, стоить босой на покрытой росой луговинь и поеть-распываеть про прекрасную матьпустыню...

Подвизался Гриша житіемъ строгимъ; въ великіе только праздники вкушаль горячую пищу, опричь хлъба да воды ничего въ роть онъ не бралъ. Строгій былъ молчальникъ, празднаго слова не молвиль, только, бывало, его и слышно, когда распъваеть свои духовные исалмы... И что ни дълаеть,

гдь ни ходить, все молитву Господню онъ шепчеть. На усадьбѣ Евираксіи Михайловны много жило народу: туть стояли заводы кожевенный, салотопный, свичной, клесварный, туть же кошму изъ шерсти валяли, овчины выдълывали, — однихъ работниковъ что туть жило! А кромъ того по торговой части приказчики да артельщики и другіе наемные люди — и вст-то жили въ особыхъ избахъ, каждый со своимъ семействомъ. Такъ устроила своихъ домочадцевъ добрая, заботливая обо всемъ Евпрансія Михайловна. По задворью, по огороду, по всему инпрокому усаду день-денской народъ такъ и снусть, такъ и кишить, такъ и носится роемъ. Съ ранняго утра до поздней ночи стономъ стоять голоса... На такомъ-то великомъ многолюдствъ, на такой-то суетъ шумной слова ни съ къмъ не молвилъ Гриша-келейникъ... Ходить, опустя очи долу, инчего не видя, ничего не слыша, и беззлобно, безотвётно переносить злыя насмёшки рабочихъ, щинки да рывки мальчишекъ. Но глумленья, укоризиъ и всякой досады отъ нихъ Гриша-келейникъ не боялся, всъ озлобленья суетныхъ людей принималъ съ весельемъ, почитая ихъ за благодъянья... Зато пуще огия, пуще полымя боялся онъ женскаго пола. Наслушался отъ перехожихъ старцевъ и самъ въ книгахъ начитался, что женская лѣнота горше всякаго другого соблазна, что самыхъ строгихъ подвижниковъ врагъ человъческаго рода, дъяволъ, всегда искій кого поглотити, уловляетъ въ геенскія съти женской грѣховной красотою...

А молодыя дівчата — десятковь до трехъ ихъ жило на усадів — изловять, бывало, Гришу на огородів либо на всиольів, хвать его за руки, да и ну — вкругъ себя вертіть, тормошить, обинмать більми, какъ молоко, полиыми, упругими руками... А сами звонкими, смітющимися голосами страстно, любовно ему напівають:

Монашекъ, монашекъ, Купи намъ калачикъ, Мы тебя, монашекъ, поцёлуемъ, Подъ ракнтовымъ кусточкомъ побалуемъ... Монашекъ, монашекъ, Купи намъ калачикъ.

Молитву за молитвой творитъ бёдный Гришутка, крёпко защуривъ глаза, чтобъ не встрётиться взоромъ съ свётлыми, пуще огня палящими дѣвичьими очами... Дня ид два, ид три послѣ того искушенья бываль онъ самъ не въ себь... И накладываль онъ пость втрое строже, насыпаль въ каморкъ кремней и битыхъ стеколь, ходиль по нимъ босыми ногами, налагать на плечи не три поклоновь, налагать на плечи жельзны вериги и прилежно читаль книгу Аввы Доровея. Хочется заглушить въ душевномъ тайникъ память о жгучемъ, томительномъ, захватывающемъ дыханье чувствъ, что сладко-огненной струей пробътало по всъмъ его суставамъ и, ровно пла-менной иглой, насквозь кололо его бъдное сердце, когда бълолицыя, полногрудыя озорницы, изловивъ его, сжимали въ своихъ жаркихъ объятьяхъ, обдавали постное лицо горячимъ, сладострастнымъ дыханьемъ... Стоитъ Гриша на кремняхъ, на битыхъ стеклахъ, нередъ книгой Аввы Доровея, громкимъ голосомъ истово и мёрно ее читаеть, а все слышится ему звонкій хохотъ Дуняши, самой озорной изо всёхъ усадекихъ дѣвокъ... Завсегда, бывало, эта Дуняша первая подустить на келейника дѣвокъ, первая подманить подругь на всполье, первая затащить Гришу въ кругь дѣвичій, первая заведеть пгры, первая успъеть обвить шею постника жаркими руками и съ громкимъ, далеко разносящимся въ вечерней тиши смъхомъ успѣсть прижать отуманенную голову его ко груди своей дебетиной...

Стоитъ Гриша, борзо, истово лѣстовку перебирая, безсчетно кладетъ земные поклоны, а потомъ читаетъ «Скитское по-калиье»: «Согрѣшилъ есмь душею, и умомъ, и тѣломъ, сномъ и лѣностью, во омраченіяхъ бѣсовскихъ, въ мыслѣхъ печистыхъ». Такъ шенчетъ Гриша, глядя въ «Скитское покаянье», по слова звучатъ безъ участья ума — помыслы мятежнаго, полнаго прелестей міра возстаютъ передъ нимъ въ обольстительныхъ образахъ, и тапиственный голосъ несется изъ глубины замирающаго сердца... Сладко, соблазнительно онъ говоритъ ему: «Помнишь Дуню молодую?.. Номнишь, какъ глаза у ней горѣли?.. Помнишь, какъ грудь колыхалась?..»

Вздрогнеть всвых твломъ Гришутка, вырвется отчалниый конль изъ души его. Самъ себя пугается, торопливо ограждаеть себя крестнымъ знаменьемъ и, судорожно схвативъ съ налоя «Скитское покаяніе», громко барабанитъ, не спуская

глазъ съ кинги:

«Грядеть міра помышленіе грѣховно, борють мя страсти и помыслы мятежны. Помилуй, Господи, раба окаяннаго, сквернаго, безумнаго, непстоваго, злоцытливаго, неключимаго, унылаго, вредоумнаго, развращеннаго...»

А голосъ свое:

«Вспомии, какъ горвли очи ясныя, какъ равлись багрецомъ щеки маковъ цввтъ... Всномни, какъ, дрожа всвмъ твломъ, изнывая въ сердечной истомв, она обняла тебя... какъ прилычула къ тебв алыми устами, какъ прижала тебя къ бвлосивжной груди...»

«Изми мя отъ врагъ монхъ, — громко читаегъ но кпигъ кслейникъ: — и отъ востающихъ на мя; изми мя отъ руку діаволю; отжени отъ мене (помраченіе помысловъ, духъ нечистъ и лукавнующій; избави мя отъ сѣти ловчи, не вниди въ судъ съ рабомъ Своимъ...»

А голосъ сердечный:

«Ерось молитву!.. Вонъ изъ кельи!.. Къ ней поди!.. Посмотри, какъ въ свътелкъ она спитъ одна у окна... Высоко подинмается грудь, и раскрыты уста, и дыханье ея горячо...»

- О, Господи!.. падаю... — шенчеть келейникъ: — снаси...

А голосъ:

«Какъ бы сладко прильнуть къ красотъ молодой!»

Последнія силы собраль Гришутка, прогнать бы только лукаваго беса... ІІ крешко ухватиль онъ лестовку, хочеть молитву читать на прогнашье бесовских в мечтаній... По сухія, дрожащія уста нехотя вторять тайному, сердечному голосу: «Какъ бы сладко припасть къ ея персямъ щекой огневой...»

А гдт опа отневая?.. Всю въ поств изсушилъ...

Вдругъ стукпуло оконце... растворилось. Въ бѣлыхъ рукавахъ, въ бѣломъ передникѣ, въ блѣдно-розовомъ сарафанѣ, съ распущенными длинными темно-русыми волосами, въ вѣшкѣ изъ свѣжихъ васильковъ, вся облитая сіяньемъ мѣсяца, лукаво улыбаясь и прищуря искрометные глазки, глядитъ на постника бѣлотѣлая, полногрудая красавица Дупя. Страстью горячей, ничѣмъ несдержимой, страстью любви пышетъ она...

— Здравствуй, Гриша, голубчикъ!.. Здравствуй, дорогой мой, желанный!.. — яснымъ голоскомъ крикиула и, заливаясь різвымъ хохотомъ, кошечкой прыснула къ подругамъ на всполье. И въ тиши ночной раздается надъ різчкой дівичья пітсня:

Мы посъемъ, дъвки, ленъ, ленъ, ленъ, мы посъемъ молодой, молодой...

Стоить Гриша босой на кремняхъ, на стеклахъ, какъ вкопанный, — лъстовка изъ рукъ выпала, «Скитское покаянье» на полу валяется, давятъ плечи тяжелыя вериги. Тихо шепчетъ келейникъ:

— Ахъ, ты, Дуня, моя Дуня!..

А съ поля несутся веселые звуки ночного хоровода:

Какъ во города было во Казани, Сдунинай-най-най — во Казани. Молодой чернецъ постригался, Сдунинай-най-най — постригался.

А свёжій воздухъ майской ночи теплымъ, душистымъ потокомъ такъ и льется черезъ отворенное Дуней оконце въ душную келью стоящаго на кремняхъ и стеклахъ постника. Тихо рыдаетъ отшельникъ, по распаленному лицу его обильно струятся слезы, но онѣ не такъ ему сладки, какъ тѣ, что лились прежде, когда, глядя на зеленый лѣсъ, въ самозабеени, пѣвалъ онъ иѣсню въ похвалу пустыни.

Идуть день за день, годъ за годомъ — Гриша все живетъ у Евпраксіи Михайловны. Темнѣютъ бревенчатыя стѣны и тесовая крыша богадѣльной кельи, — поднимаются, разрастаются вкругъ нея кудрявыя липки, рукой отрока-келейника посаженныя, а онъ все живетъ у Евпраксіи Михайловны. И самъ сталъ не таковъ, какимъ пришелъ — и ростомъ выше, и на видъ возмужалъ, и русая бородка обросла блѣдное, исхудалое лицо его.

Много всякаго народу перебывало на глазахъ Гриши: раскольники ближніе и дальніе, каждый трудникъ, каждый пе-

рехожій богомолець, идуть, бывало, къ Евираксіи Михайловиь о всяку пору, ровно подъ родную кровлю. Кто ни брякнетъжельнымъ кольцомъ о дубовую калитку страннолюбивой вдовицы, кто ни возвъстить о себь именемъ Христовымъ, всякому готовъ теплый уголъ, будь раскольникъ, будь единовърецъ, будь церковникъ — все равно, отказу никому не бывало. «Всв люди — Христовы человъки», — говорила Евираксія Михайловна, когда скитскія матушки иль читавшія негасимую «канонищы» зачиутъ, бывало, началить ее: сообщаешься-де со еретики, даешь всякому пристанище — и покрещеванцу, и никоніаницу, и Богъ въсть какимъ инымъ сектамъ.

Много разнаго народа видалъ Гриша; но еще не случилось видать такихъ подвижниковъ, про какихъ нисано въ Патерикахъ и Прологахъ. «Неужли, — думастъ онъ, бывало: — неужли всѣхъ человѣковъ грѣховная, мірская суета обуяла?.. Неужели всѣ люди работаютъ плоти? Что за трудники, что за подвижники?.. Я и младъ человѣкъ и страстями боримъ, а правила

постипчества и молитвы тверже ихъ сохраняю».

Поднимала въ тайникъ его души змънную свою голову гордость треклятая. И немало старался онъ разогнать лукавыя мысли, яко врагомъ внушенныя, яко помыслъ гордыни, отънея же — читывалъ онъ — и великіе подвижники съ высоты ангелоподобнаго житія падали... Тщетны труды, напрасны усилія — самообольщеніе и гордость смиреніемъ, гордость многотруднымъ своимъ подвигомъ, неслышно и незримо подтачивали душу его... «И въ самомъ дѣлѣ, —думываль онъ: —что за постники, что въ богоданной моей келейкъ привитають? Днемъна людяхъ, только у нихъ и слова, какъ Христову рабу довльеть жить на вольномъ свъту: сладко не всть, пьяпо не пить, тълеса свои гръшныя не вынъживать, не спъсивому быть, не горделивому, не копить сокровищь и тленныхъ богатствъ земныхъ, до сирыхъ, убогихъ быть податливу, - а ночью, какъ люди поулягутся и уйду я въ каморку — честные старцы по вечерней транезв не на правило ночное стаповятся, а, дъломъ не волоча, къ пуховику на боковую. Иной, бывало, всю ноченьку насквозь деньги просчитаеть, что собраль у христолюбцевъ и дателей доброхотныхъ: другой съ полштофчикомъ до свъту пробесъдуеть; а двое сойдутся — того и жди, что вмѣсто душеспасительныхъ словесъ про бабъ да про дѣвокъ рвчь поведуть... Что-жъ это за трудники, что за попвижники?..»

Сидитъ, бывало, Гриша пришипившись въ каморкѣ, сидитъ, а самъ въ щелочку смотритъ, съ трудниковъ глазъ не спускаетъ, глядитъ, сколь добрымъ подвигомъ иной старецъ въ тини ночной подвизается. Но, глубоко проникнутый духомъ суевърія, не върптъ Гриша тълеснымъ очамъ, силится провръть очами духовными, гонитъ отъ мятущагося ума мысль о непотребствъ старца и на то свой помыслъ простираетъ: «врагъ-де это, лукавый духъ, бъсовское мечтаніе гръшнымъ очамъ монмъ представляетъ»... И зачнетъ творитъ молитву отъ дъявольскаго навожденія, а самъ все смотритъ, какъ старецъ съ водочкой бесъду ведетъ либо деньги считаетъ.

Насилуя себя, держа умъ въ такомъ напряжены, и депь и ночь воображаетъ себя окруженнымъ темною силой демоновъ, что, являясь въ соблазнительныхъ образахъ, силятся уловить его въ сёти, совратить съ тёснаго пути, увлечь въ шумный, полный суеты, многопрелестный міръ... Увёрился Гриша и въ томъ, что по ночамъ не Дуняша въ оконце постукиваетъ, не она съ нимъ на рёчкѣ заигрываетъ, но нѣкій отъ эоіопъ, спрѣчь бѣсъ пренсподній, въ дѣвичьемъ образѣ выходитъ изъ геенны смущати его... «Окаянный-отъ, думаетъ, все больше во образѣ жены съ трудпиками борется; и въ книгахъ писано, что въ древнія времена въ киновіяхъ и великихъ лаврахъ синайскихъ, въ пустыняхъ сгипетскихъ и опвандскихъ преподобнымъ отцамъ бѣси въ женскомъ образѣ все больше являлись... Такой ужъ у нихъ, у проклятыхъ, обычай! А все на пакость человѣку».

Приходили разъ къ Евпраксіи Михайловий двое старцевь, оба раскольничы мнихи. Одинъ сказался изъ Чернолюсскаго скита, другой — бродячимъ инокомъ... Такихъ немало по захолустьямъ. Наскучитъ жить въ ските, где надо правиламъ подчиняться, настоятелю повиноваться, иль будучи изгнаны изъ обители за безчинство, непутные старцы пускаются бродить по белу свету. У одного добраго человека поживуть, у другого, да этакъ бродя изъ деревни въ деревню, изъ города въ городъ, векъ свой межъ людей и проколотятся. И такіе есть, что не только въ скитахъ не живали, не видывали ихъ. Надель изволомъ манатейку съ кафтыремъ и пошелъ

странствовать да слыть за инока честнаго.

Скитскій старець — звали Мардаріемъ — прівхаль въ Колгуевъ на монастырской подводѣ съ просительнымъ письмомъ къ «благодѣтельницѣ» Евпраксін Михайловиѣ отъ чернолѣсскаго игумена Пафнутія: прислать на монастырскую потребу ржицы да ишенички, маслица да рыбки, а будетъ милость — и деньжонками не оставить. Былъ тотъ Мардарій старецъ тучный, красная рожа, плѣшь во весь лобъ, рыжая борода, широкая, круглая, чуть не по поясъ. Отдавъ жирную скитскую лошадь на попеченье работникамъ Евпраксіи Михайловиы,

онъ зашелъ сначала въ батрацкую избу, снялъ мѣховой треухъ съ головы, распоясалъ красный гарусный кушакъ, нагольный тулупъ, и обрядился во весь иноческій чинъ: свиту надѣтъ, камилавку съ кафтыремъ, въ лѣвую руку лѣстовку взялъ и сталъ какъ надо быть иноку. Въ пути такой одежды носить не дерзалъ: въ уѣздѣ — исправпикъ да становой, въ городѣ — городинчій. Какъ разъ за такую одежду, какъ за внѣшиее оказательство ереси, угодишь за рѣшстку. Войдя къ Евпраксіи Михайловнѣ, Мардарій положилъ уставной, семипоклонный началъ и, поклонясь въ поясъ во всѣ стороны, подошелъ къ хозяйкѣ. Евпраксія Михайловна, какъ ни богата, въ какомъ почетѣ ни жила, творитъ но уставу метапія, къ стопамъ Мардарія принадая, говоритъ ему:

— Прости, честный отче! благослови, честный отче!

— Богь простить, Богь благословить, — отвъчаетъ Мардарій и, вручая вдовицъ просительное письмо игумена, заводить

рвчь уставную.

— Христіанскія жизни доброжелательнице, ко смиреннымъ, бълнымъ, убогимъ скорая помощнице, кръпкая хранительнице святоотеческаго преданія, добродѣтелями, яко солице, сіяющая, смиреніемъ, яко бисеромъ многоціннымъ, украшенная, честная вдовине. Божія раба Евпраксія! Ко твоей любви, убогіе, притекаемъ, отъ твоихъ великихъ щедротъ обильныя милости чаемъ. Се же и письмо просительное отца нашего игумена Пафнутія и всей о Христь честной братіи. Обнищахомъ, госноже, оскудъхомъ: озлоблени суще въ обители нашей, гладу и хладу и всякой тесноте и угнетенію, нищете и нагохожденію предани бяша къ тебь вопіемъ, многомилостивая вдовице Евираксія! Отверзи щедрую руку твою, благоволи отъ праведныхъ трудовъ своихъ нъкое подаяние нищенствующей брати учинити, да узриши сыны сыновъ своихъ и да сподобищися велія и богатыя милости отъ самого Царя Небеснаго въ сей вакъ и въ будущій.

— Садиться милости просимь, честный отче, — отвѣчаеть Евпраксія Михайловна: — рада по силь по мощи. Чѣмъ васт потчевать, батюшка? Дѣвицы. кликните Гришу! Здоровъ ли,

батюшка, отепъ Пафнутій?

— Здравъ тълесие, въ душеспасительныхъ подвигахъ обръ-

тается, — отвъчаль Мардарій, садясь.

Это было въ меленной горницѣ. Вся передняя стѣна уставлена древиими, богато украшенными иконами; подъ ними висятъ дорогія пелены: парчевыя, бархатпыя, золотомъ шитыя, жемчугомъ пизанныя. Передъ иконами ослопныя свѣчи, негасимыя дампады... На скамьяхъ три певѣстки Евираксіи Ми-

хайловны да съ полдожним скитскихъ матерей и канонницъ, а у притолоки бродячій старецъ отецъ Варлаамъ — здоровенный, долговязый парень лѣтъ тридцати пяти, искрасна-рыжій, съ прыгающими глазками и рѣдкой бородкой длиннымъ клинышкомъ. Поклонился Мардарій Варлааму, тотъ ему «метанія» сотворилъ и сѣлъ на свое мѣсто... Оба ни гугу; сами другъ на дружку поглядываютъ.

Закусочку подали. Изобильна была предложенная трапеза на утъшеніе иноковъ: икра наюсная, стерлядь вислая, вязига въ уксусть да тавранчукъ осетрій, грузди да рыжики, пироги да левашники, ерофенчу графинчикъ, виноградненькаго неве-

ликая бутылочка.

— Благословите, отцы честные, откушайте, — нетчуеть ино-

ковъ гостепріниная вдовица.

— Можно, — порывисто молвилъ Мардарій и чинно, положивъ три поклона, принялся за вязигу, Варлаамъ рыбнаго употреблять не дерзастъ. «По объту пятый годъ на сухоядъніи обрътаюсь», — говоритъ. Опричь хлъба да груздочковъ ип къ чему не приступилъ.

— Водочки-то, отцы честные, водочки-то откушать?

— Не подобаеть, — такъ же порывисто отвътиль Мардарій. А Варлаамъ даже повъсть отъ Пандока *) разсказаль, откуда взялось хмельное питіе и какъ оно человъка отъ Бога отво-

дитъ, къ бъсомъ же на пагубу приводитъ.

Не нарадуется, глядя на воздержныхъ и подвижныхъ гостей, Евираксія Михайловна. И она, и келейницы, и канонницы прошиклись чувствомъ высокаго къ нимъ уваженья, а у Гриши, что, войдя по призыву хозяйки въ горпицу, сталъ смиренно у притолки, сердце такъ и распаляется: привелъ-де наконецъ Господъ увидъть старцевъ благочестивыхъ, строгихъ, столь высокихъ подвижниковъ. Духъ у Гриши занимается, творитъ онъ мысленную молитву, благодаря Бога, что приводится ему послужить столь преподобнымъ старцамъ.

— Побесъдуйте межь себя, честные отцы, — низко кланяясь Мардарію и Варлааму, говорить Евираксія Михайловна, когда кончили они транезу: — просвътите насъ, скудоумныхъ, раз-

умной бестдой своей.

И велѣла канонницѣ сыновей кликнуть, и они бы насладились отъ духовныя траисзы, отъ премудрой бесѣды святоподвижныхъ отцовъ.

Пришли. Устлись. Глянули старцы другь другу въ очи и,

^{*)} Раскольничье новосоставленное (въ XVIII вѣкѣ) сочиненіе, наполисиное вздорами о картофелѣ, табакѣ, чаѣ п пр.

нахлобучивъ камилавки, опустивъ главы долу, поведи благочестную бестду.

— Риы ми, брате, — началъ Мардарій: — кто умре, а не истлѣ?

— Лотова жена — та умре, но не истят, понеже въ столпъ сланъ претворися — соль же не истятваетъ. И доднесь тотъ сланый столиъ стоить во странъ Палестинской, на святой на рѣцѣ Іорданѣ.

Вздыхаеть Евпраксія Михайловна, охають и отпрають слезы келейницы, а Гриша дивится скорому и столь мудрому

отвіту честнаго отца Варлаама.

— Что есть, брате, — продолжаетъ Мардарій: — ключъ древянъ, замокъ воденъ, заяцъ убъже, ловецъ утопе?

 Ключъ древянъ — жезлъ Монсеевъ, замокъ воденъ — Чермное море, заяцъ убъже — Монсей со израпльтяны, ловецъ потопе — Фараонъ зломудрый, царь египетскій.

Подумаль малое время Мардарій, еще вопросъ предложиль:

— Что есть, брате, стоить градъ на пути, а пути къ нему нъту; идетъ посолъ нъмъ, несеть грамоту неписанную?

- Градъ на пути - то Ноевъ ковчегъ, понеже плаваще по непроходному пути, сиръчь по потопнымъ водамъ; посоль ньмъ — то есть чистая голубица, а грамота неписана — то есть сучецъ масличный, его же принесе въ ковчегъ голубица къ Ною на увъреніе познанія, что есть суша. Ной праведный, зря той сучець, съ сынами и дщерями, со скотомъ и со птицы и со всякимъ гадомъ, бывшимъ въ ковчегѣ, едиными усты и единымъ сердцемъ прославища благодъющаго Бога.

— А осмѣлюсь, отецъ Мардарій, васъ спросить, — вмѣшалась хозяйка: — всякіе ли скоты были у Ноя въ ковчегь:

— Всякіе, матушка Евпраксія Михайловна, всякіе были: одной твари не было...

- Какой же это, батюшка?

 Рыбы! — во все горло закричалъ Варлаамъ и, схвативъ объими руками осетрій тавранчукъ, ношель уписывать его за объ щеки. Всъ переглянулись. А отепъ Варлаамъ къ ероеенчу десницу простираеть.

— Прорвало! — сквозь зубы прошепталь Мардарій и еще

ниже опустиль главу свою.

— Батюшка!.. Отецъ Варлаамъ! — съ ужасомъ вскочивъ съ лавки, вскрикнула одна изъ канонницъ: - не сквернись ради Господа!

— Не замай его, Матренушка, — молвила тихонько Евпраксія Михайловна, удерживая за рукавъ канонницу. — Не видишь

развѣ? — Христа ради юродствуетъ...

А Гриша ногъ подъ собой не слышитъ. Не понимаетъ, что Сочиненія П. Мельникова, Т. І.

вкругъ него дѣлается. И бесѣда мудрая, и безобразіе немалое. «Что-жъ это такое, — думастъ онъ: — прямымъ ли дѣломъ отецъ Варлаамъ юродствуетъ, иль это врагъ лукавое мечтаніе очамъ моимъ представляетъ?»

Мардарій пришипился— ни гу-гу, только лѣстовку перебираєть. А отецъ Варлаамъ стаканчикъ на лобъ, да еще, да

еще. И псальму запѣлъ:

Прошу выслушать мой слогь, Что въ печали сложить могь, Во темнынхъ во лъсахъ...

— Подтягивай, Мардарій!

— Провидецъ, провидецъ! — зашептали матушки-келейницы. — Съ роду не видывалъ отца Мардарія, а узналъ ангельское имя его.

Однакожъ Мардарій не подтягиваеть, опустя голову смогрить внизь да половицы считаеть. А Гриша шепчеть молитву на отогнаніе обсовскихъ мечтаній и думаеть: «Чесо ради бысть знаменіе сіє?» А Варлаамъ-то заливается:

А воть наша вся отрада: Хлъбъ, вода — и вся награда — Живи да не тужи...

— Да подтягивай же, Мардашка!.. Хвати стариной!.. А ты, раба Божія Евираксія, водочки-то подлей!

— Виноградненькаго не соизволите ли, батюшка? — отвъчаетъ Евпраксія Михайловна, наливая въ рюмку сантуринскаго.

— Не подобаеть!.. Настойки давай!.. Мать твою какъ звать?

-- Евдокіей, отче, Евдокіей.

— . Іадно, я ужо по ней канонъ за единоумершаго справлю... Съ поклонами!.. А водочки-то подлей... Ну, пой же, Мардашка; подтягивай и вы, красавицы-дъвицы, скитскія облицы... Валяй!

Щи да кашу поставляють, За велико почитають — Изрядной воть объть. Пирожка кусокъ дадуть, То подумаешь и туть. Какъ-то его съъщь.

— Валяй, матери!.. Катай, канонницы!

II півець сладкогласный, оглянуться не успіли, какъ поіль вст пироги и левашники.

> Вм'єсто водокъ, сладкихъ винъ — Поставляють квасъ единъ: И то за гостя чти.

— Да подлей же настойки-то, Михайловна!

По объдъ всъ по кельямъ
И какъ будто отъ бездълья
Правило несемъ.
Тогда съ горя и досады
Понскать пойдешь отрады —
Во деревню, за лъсокъ...

— А на деревиѣ-то пташечки-сударушки! Воть такія-жъ красотки, какъ вы!

II пошелъ канонницъ хватать да щупать.

Юродствуетъ, — шепчутъ онѣ: — юродствуетъ.
 А Варлаамъ допѣваетъ пѣснь душеснасительную:

Лишь пойдешь за монастырь Да возьмешь въ руки костыль, Вследъ уже бегуть. Какъ злодей набежали И какъ вора сохватали, Туть же цепію грозять. Вина хотя не видаль, А игуменъ закричаль: "Претрезвить должно его".

 — Л я ни капельки не пьянъ. Дьяволь пьянъ, а цнокъ никогда не бываетъ пьянъ: это бѣсъ...

> Приведуть въ келью, запруть, Ключъ игумну отдадуть. А туть хоть умри! Сутки двое такъ томять, Ничего не говорять, Глядять, аки звёрь!

Да какъ пустится въ присядку. И пошелъ иную псальму припъвать:

Эй, ты, калина-малина. Валяй, старцы, на Бисериху! А дъвки да молодки На Купалу на Ивана, Да на самого болвана, Эй, на Ярилу-молодца! Ужъ и я ли не Гаврила? Ужъ и я ли не Гаврила? Эхъ, вы, голубки, Глядите-ка старцу сюда!

II цапъ-царапъ молодую хозяйкину невъстку за рукава бъломиткалевые... Запустилъ десницу за воротъ...

— Чтой-то за безобразіе?.. Господи! — закричала невъстка, недавно взятая изъ Москвы и еще не знавшая такихъ подвиговъ преподобныхъ отцовъ.

— Юродствуеть, матушка, юродствуеть! — шенчуть ей. —

Это онъ плодь чрева твоего благословляеть.

Спровадили кой-какъ блаженнаго юроду въ Гришину келью. Не обошлось безъ грѣха: дорогой на усадъ двухъ работниковъ искровянилъ... Добравшись до мѣста, не разоблачась, новалился на пуховикъ и тотчасъ захранълъ во всю пвановскую.

Не разъ случалось Гришъ видать безчиніе старцевъ; но такого и онъ еще не видывалъ. Когда, бывало, они почью, въ келейной тиши, тихомолкомъ безчинствують, всю бъду на дьявола онъ сваливаль. «Извѣстно, —думаеть: — окаянный силёнъ; горами качаетъ. Представить человъку сонное мечтаніе либо неподобное видъніе — ему ни почемъ». Но сколь ни вспоминалъ юный келейникъ ило всего прочтеннаго имъ — въ «Патерикахъ», въ «Прологахъ», въ «Книгь о Старчествъ» и въ разныхъ «Цвѣтникахъ» и «Сборникахъ», — нигдѣ нѣтъ того, чтобы бъсъ, вселясь въ инока, при двадцати человъкахъ такія діла твориль... «Развів что въ самомь діль юродствуеть?» — Объ юродахъ же Гриша читалъ и слыхалъ немало, самому-жъ видать ихъ еще не случалось... «Юродъ отецъ Варлаамъ, - думастъ онъ: - иначе какъ же можно, чтобъ иноку при мірскомъ народів, въ камилавків, въ кафтырів, грибезовскимъ горломъ скаредныя шесни исть, илясать бесовски и непотребства чинить».

Но когда почью услыхаль Гриша бесёду проспавшагося Варлаама со стариннымъ пріятелемъ его Мардаріемъ, когда узналъ онъ, что Варлаамъ за пьянство изъ десяти скитовъ быль выгнанъ, а за непотребство два раза въ острогѐ да въ рабочемъ домѐ сидёлъ, а одинъ разъ своя же братья, раскольники, ему за безчинство на девичьихъ посидёлкахъ бороду спалили, — смекнулъ тогда юный подвижникъ, что Варлаамово вородство на иную стать уложено.

«Что-жъ это за старцы, что за столны правой вфры? — размышляетъ Гриша. Гдв - жъ тъ искусные сгарцы, что меня бы, грвшнаго, правиламъ пустынной жизни научили? Гдв-жъ тъ люди, что правую бы въру уму моему раскрыли?... Пеужли кромъ меня нътъ на свътъ человъка, чтобъ истиннымъ подвигомъ подвизался и сый боримъ дьяволомъ устоялъ бы въ прельщеньяхъ, не перугался бы святому своему объщанью?»

Шире и шире разрастались горделивыя думы въ распаленной головъ Гриши. Высокоуміе въ конецъ его обуяло. Еще поглядъль онъ на нъсколькихъ старцевъ, еще послушалъ ихъ разговоръ — и сказалъ Богу на молитвъ:

«Господи: есть ли человъкъ праведенъ паче мене?»

Съ ранней молодости наслушался Гриша о нынвшнихъ последнихъ временахъ, о томъ, что народился антихристъ и

пустилъ по земл'в несчастіе: стали люди брады брити, латинску одежду носити, чай, треклятую траву, пити, табачное зеліе курити, пачпорты съ бъсовской печатью при себъ держати.

Куда деваться отъ него? Смотрить въ кишти, видитъ, что отъ здобы антихриста истинные Христовы рабы имутъ бъжати въ горы и вертепы, имутъ хорониться въ пропасти земныя; а кто не побъжить изъ смущеннаго міра, тоть будеть уловленъ въ бъсовскія съти и погибнеть погибелью въчной... Ключомъ кипитъ горячая кровь— только то и держитъ на умѣ Гриша, какъ бы найти ему искуснаго старца, жителя пустыни, чтобъ бъжать съ нимъ въ дебри лъсныя. П распалялось злобой Гришино сердце на всехъ, кого считалъ онъ антихриста слугами. Лельяль онь въ душь своей правило раскольничьихъ ревнителей: «съ табашинкомъ, со щепотникомъ и бритоусомъ и со всякимъ скобленнымъ рыломъ — не молись, не дружись, не бранись». И дошель до убъжденья. что «никоніанина пришибить — семь пятницъ молока не хлебать». П не дрогнула-бъ рука у него, если-бъ вло сотворить кому изъ церковниковъ... Евпраксія Михайловна и тіли не имъла такой нетерпимости, не разъ журила она Гришу за вырывавшіяся у него подъ часъ злобныя словеса, но журьба доброй хозяйки его не трогала. Мрачно молчить, слушая ричи ея, и душою болбеть: «воть, дескать, и добра и милостива, а вдалась же въ суету грѣховную: совсѣмъ обміршилась».

Глядя на безчинство старцевь, на безобразіе перехожих богомольцевь, не думаеть больше Гриша, что бісы его смущають, гордыня въ конецъ обуяла его. Безь грусти, безъ сердечной истомы смотрить онъ въ щелочку изъ своей каморки, какъ честные отцы со штофомъ беструють, иной разъ и курочкой не брезгують. Безчинство старцевъ, ихъ разговоры о вещахъ непотребныхъ радуютъ его. Насмотртвишсь на нихъ, ситиптъ онъ босыми ногами на кремии да битыя стекла, налагаетъ вериги, кладетъ земные поклоны сотню за сотней. Уста шенчутъ кичливую молитву о прощеніи безчинныхъ старцевъ, а въ душть тайный голосъ твердитъ: «Господи! да есть ли же гдть-нибудь человтькъ праведенъ наче мене?»

Пересталь Гриша на рвику ходить, пересталь оть зари до зари восиввать прекрасную мать-пустыню, забыль про сладкія слезы, что во время былое по цвлымь часамь текли изъглазь его, устремленныхъ на чернівшую вдали полосу ліса.

Зато сильнее прежняго мучило Гришу другое. Многаго онь начитался, многаго онъ наслушался отъ привитавшихъ въ его кельв. Не разъ слыхалъ, какъ поповщинские раскольники спорили межъ себя насчетъ новаго австрийскаго священства;

много разъ слыхаль, какъ поморцы хулять поновщину за поповъ, оедосеевцы поморцевъ за браки, филипповцы оедосеевцевъ за то. что не по уставу кладутъ поклоны, а бъгуны сопълковскіе всъхъ проклинають, кто въ своемъ домъ живетъ. П всъ-то другъ друга обзывають еретиками, всъ-то чужому толку наносятъ укоры, всъ хвалять одну свою въру...

II день и ночь размышляеть Гриша: «Гдв-жъ правая въра, гдв истинное учение Христово?» И молится Гриша со многимъ воздыханьемъ и со многими слезами, да пошлетъ къ нему

Господь человъка, что указаль бы ему правую въру.

Разъ, позднимъ вечеромъ, раиней весною, звякнуло желѣзное кольцо калитки у дома Евпраксіи Михайловны. Тихимъ, слабымъ, чуть слышнымъ голосомъ кто-то сотворилъ Ісусову молитву. Привратникъ отдалъ обычный «аминь» и отперъ калитку. Вошелъ древній старецъ высокаго роста. Преклонныя лѣта, долгіе подвиги сторбили станъ его: пожелтѣвшіе волоса неровными, всклоченными прядями висѣли изъ-подъ шапочки. На старцъ дырявая лопатинка, на ногахъ протоптанные корцовые лапти: за плечами невеликій пещуръ.

Что тебѣ, дѣдушка? — спросилъ привратникъ.

— Охъ, родименькой! — зашамкалъ беззубый старикъ, задыхаясь и тяжело опускаясь на прикалитную скамью: — указали мнъ боголюбцы путь въ домъ сей ко благочестивой вдовиць, къ Евпраксіи Михайловнъ.

Привратникъ, не впервые принимавшій странниковъ, впу-

стиль его.

— Одинъ, что ли, старче, аль еще кто есть съ тобой? — спросилъ онъ его.

— Одинъ, родимой ты мой, одинъ.

— Пойдемъ, старче.

И повель его въ домъ. Евпраксія Михайловна вечернее правило тогда съ канонницами справляла. Вельла старца ввести.

— Миръ дому сему, — сказалъ онъ, уставно, истово помолясь передъ облитыми дампаднымъ свътомъ, сребропозлащенными иконами, и до самой земли поклонился хозяйкъ.

— Садись, старче Божій, садись, обогръйся! Вишь у тебя лопатиночка-то какая ветхая в. А на дворъ-то морозно, времято погодливое... Сядь-ка воть здъсь, старче... Да велите-ка, матери, Гришеньку кликнуть, «Господь, моль, гостя дароваль».

^{*)} Лопать, допатинка—рубище (въ восточныхъ и приволжскихъ губерпіяхъ), верхняя одежда (въ Сибири и на Съверъ).

Сними пещурт-отъ, старче; ишь какт умаялся. Принесите горячаго кушанья, матери. Да топлена-ль у Гриши келейка-то? Пустошничать что-то зачалъ, Христось съ нимъ. Да и старцы давно не привитали—третья никакъ недъля. Не диво—непогодь такая, распутица. Сними-ка ты, старче Божій, пещуръ-отъ.

II, не дожидаясь отвъта, сама стала снимать со старца ношу его, но, коснувшись плечь, отшатнулась и прошептала молитву. Она тронула плохо прикрытыя рубищемь, вросшія

въ тъло старца желъзныя вериги.

Старецъ снялъ пещуръ. Евпраксія Михайловна бережно,

творя молитву, поставила его подъ образа.

Вошелъ Гриша. Полузамерзшій старецъ маленько поотдох-

нуль въ жарко натопленной моленной.

- Господа ради, сокрый меня грѣшнаго на малое время въ стѣнахъ твоихъ, боголюбивая матушка, — тихо проговорилъ онъ.
- Рада всей душой, старче. А можно-ль святое имя твое узнать?

Грѣшный инокъ Досиеей...

— Ахъ, батюшка, отче Досиеее! Что-жъ ты не пов'тдалъ ангельскаго своего чина?

II, творя «метанія»— какъ она, такъ и бывшія съ нею въ моленной, уставно покланялись старцу по дважды, приговаривая: «Прости, честный отче! благослови, честный отче».

— Богъ простить, Богъ благословить, — отвъчалъ Досцоей.

II самъ сотвориль всемъ «метанія».

— Откуда грядешь, куда путь держишь? — заговорила

Евпраксія Михайловна послъ уставнаго обряда.

— Града настоящаго не им'ью, грядущаго взыскую, — отв'я в старець: — путь же душевный подобаеть намь, земнымь, къ солнцу правды держати, аще тако Отецъ Небесный устроитъ. Тълесный же путь кто испов'я в старения в старения в старения же путь ком испов'я в старения в старения

«Бѣгунъ сопѣлковскій», — думаетъ Гриша, давно намета-

вшійся середь перехожихъ богомольцевъ.

— Праведны рѣчи твои, отче Досиеее, праведны твои рѣчи, — полушопотомъ, набожно говорила Евпраксія Михайловна.

Нѣсколько минутъ молчанья. Старецъ сидитъ, тяжело опустившись; движеньемъ губъ творитъ онъ молитву, а словъ не слышно. Радостнымъ ликомъ, свѣтлыми очами смотритъ вдовица на прохожаго трудника и тоже тайно молитву творитъ. Безмолвно сидятъ келейницы, истово перебирая лѣстовки. Мѣрно чикаетъ маятникъ стѣнныхъ часовъ, что висѣли у входа въ моленную.

— Въ пустынъ жилъ я, матушка, — тихой ръчью заговориль обогрѣвшійся старець. — Въ пустынь я жиль — недалеко отсюда — въ Поломскихъ лѣсахъ. Немалое время провождалъ, грашный, въ пустына... Келейку своими руками построилъ, печку сложиль ради зимняго мраза; помышляль туть и жизнь свою грышную кончить... А воть — двь недыли тому — на самое Сборное воскресенье попущение Божие было. Отлучился азъ, гръшный, ради тълесныя нужды, дровишекъ набрать изъ буреломника. Подхожу къ келейкъ — только дымокъ отъ головешекъ мало-мало курится... Сторъла!.. Немалое время жилъ я въ той келейкъ, матушка, сорокъ лътъ, и не было ко мнъ ни таду ни ходу; сорокъ лътъ людей не видалъ... Сторъла!... Привыкъ я къ келейкъ, матушка, чаялъ въ ней помереть, домовину выдолбилъ—думалъ въ ней лечь, въ келейкъ стояла у меня... Сторъла!.. Годы мои старые, а плоть немощна. Не снести безъ келейки зимняго мразу — треба нову поставить... И вотъ, слыша отъ боголюбцевъ про твои великія добродьтели, добрель я до тебя, Евпраксія Михайловна, — дай пережить у тебя до дъта: не оставь меня, гръшнаго, ради Христа. А льтомъ, Богу изволющу, побрелъ бы я опять въ свою пустыньку, опять бы кельеночку поставиль, домовинушку бы сдълать... Не оставь Христа ради!

И дряхлый Досиеей паль къ ногамъ Евпраксіп Михайловны. А она его поднимаеть, сама земное поклоненіе тво-

рить, а слезами такъ и обливается.

— Слышала, говоритъ, старче, слышала про ваше несчастье. Пала и къ намъ въсть, что исправникъ въ Поломски лъса выъзжалъ — старцевъ ловить, келейки жечь. Экій

злорадный какой, прости Господи!

— Не кори его, Евпраксія Михайловна, — сказать на то Досифей. — Не моги корить. Аль не знаешь завіта: «твори волю пославшаго»?.. Послушаніе паче поста и молитвы... Туть не злорадство его, а Божія воля... Безъ воли-то Господней влась со главы человіка не падаеть. П то надо памятовать, что житіе дано намъ тісное, путь узкій, терніємъ, волчцами покрытый. Терпіть надо, матушка, терпіть. Евпраксія Михайловна: въ терпіти надо стяжать душу свою... Слава Христу, Царю Небесному, что посітиль и меня Своимъ посітщеніємъ... Воть что!

— Праведны, старче, рѣчи твои, — сказала Евпраксія Михайловна:—правда во устахъ твоихъ! Но за что-жъ они на насътакъ лютуютъ? Вѣдь и они во Христа Бога вѣруютъ. За что же?

— На то Господне смотрѣніе. Стало-быть, надо такъ. Не испытуй Сотворшаго!.. — строго промолвиль старецъ.

Досиевя напопли, накормили: Гриша въ келью его проводилъ.

— Богъ спасетъ, родименькой, Богъ спасетъ, — говорилъ старецъ на усердныя послуги Гриши, когда тотъ, затепливъ лампадку передъ иконами, къ мъсту прибралъ старцевъ пещуръ, закрылъ ставни, а потомъ съ обычными «метаніями» простился и благословился по чину.

— Богъ простить, Богъ благословить, — отвѣтилъ Досиоей. — Охъ, ты, мой любезненькой!.. Спасибо тебѣ... Поди-ка

ты, малецъ, подь-ка, рабъ Божій, спокойся.

Ушель Гриша въ каморку за печку-голанку. И тотчасъ

П видить: оставинись въ манатейкъ и въ келейной камилавкъ, хотя и быль истомленъ труднымъ путемъ, непогодой, на великое ночное правило старецъ остановился, читаетъ положенныя по уставу молитвы. Часъ идетъ, другой, третій... Гришу сонъ клонитъ, а старецъ стоитъ на молитвъ... Заснулъ келейникъ, проснулся, къ щелкъ тотчасъ — старецъ все еще на правилъ стоитъ.

Дожилъ Досифей у Евпраксіп Михайловны до той поры, какъ рѣки спали и можно стало лѣсомъ ходить. Никуда не выходиль онъ. Кромѣ Евпраксіи Михайловны да ея сыновей, никого къ себѣ не пускалъ. Не только въ Колгуевѣ, на самомъ усадѣ Гусятниковыхъ мало кто зналъ о прохожемъ

старцъ... Гриша быль при немъ безотлучно.

Не видаль еще онъ такихъ старцевъ... Смирилъ въ себъ гордыню, увидъвъ, что Досиоей невпримъръ строже его правила исполняетъ, почти не сходитъ съ молитвы, ъстъ по сухарику на день, а когда подкръпляетъ сномъ древнее тъло

свое — Господь одинъ знаетъ.

Собрался Досноей въ путь-дорогу. Евпраксія Михайловна денегъ давала — не взяль; новую свиту, сапоги — ничего не береть; взяль только ладану горсточку да пятокъ восковыхъ свъчъ. Ночью, передъ отходомъ старца, сълъ Гриша у ногъ его п просилъ поучить его словомъ. Въ шесть недъль, проведенныхъ Досноеемъ въ кельъ, не удалось Гришъ изобрать часочка для бесъды. То на правилъ старецъ стоитъ, то «умную молитву» творитъ, то въ безмолвіи обрѣтается.

— Скажи, отче, повъдай рабу своему. въ коей пустынъ спасалъ ты душу свою, гдъ подвигомъ добрымъ подвизался? Меня тоже въ пустыню влечетъ, на безмолвное, трудное жи-

тіе... Пов'вдай же, отче, пов'вдай, гд' такая пустыня?

— Натъ моей красной пустыни!.. Натъ ея больше!.. — съ грустью отсовътоваль старецъ: — сгоръла моя келейка, домо-

винушка въ ней сторела... Пришелъ, апъ только одне го-

— Слышалъ, отче, слышалъ... Проды!.. Инлаты!..

— Гдв Ироды, гдв Иплаты? — вставъ съ лавки и во весь

ростъ выпрямляясь, строго Гришу спросиль Досиоей.

— А твои лиходей?.. Инконіане!.. Укажи мит ихъ, отче, укажи твоихъ злодеевъ... Я бы зубами изъ нихъ черева повытаскаль.

- Во Христа ты въруешь? спросилъ старецъ Гришу, строго глядя на него.
 - Вѣрую, отче святой по-старинному вѣрую.
 П перекрестился истово двуперстнымъ знаменіемъ.
- А слыхалъ ли ты, друже, какъ Христосъ на Лобномъ мѣстѣ, на крестъ за жидовъ молился?

- Читалъ, отче... Господь грамотъ сподобилъ меня. самъ

про это читаль.

- А читаль ли, что передъ тьмъ отъ нихъ Онъ терпълъ?.. II заушенія, и заплеваніе, и по ланитамъ біснія... А не было за Нимъ грѣха ни единаго... II все-таки за мучителей молился... А намъ-то что повелѣтъ Онъ творити? Самую-то первую заповѣдь какую Онъ далъ?.. Помнишь ли?.. Любить враговъ повелѣтъ... Читалъ ли о томъ?
- . Читывалъ, отче.

— А читалъ ли, что всякая кровь взыщется?

- Читывалъ... Да ихъ въдь не гръхъ. Они въдь еретики.

— Они люди, Гришенька. Всякъ человъкъ кровью Христовой искупленъ. Кто проливаетъ кровь человъка — Христову кровь проливаетъ. Таковый съ богоубійцами жидами равную часть пріемлетъ.

Быстро подскочиль Гриша ко старцу... Смпренія какъ не

бывало. Глаза горять, кулаки стиснуты.

— Да ты какого согласу самъ-отъ будешь? — спросилъ онъ Досиося нахальнымъ тономъ.

Христіанинъ.

— Хвостомъ-то не виляй, не отлынпвай! Не напоганилъ ли ты у меня своимъ еретицкимъ духомъ келейку?.. Не по никоновой ли тропъ идешь?

— Держуся книгъ филаретовскихъ и іосифовскихъ...

- А говоришь, что никоніанинъ такой же человѣкъ, какъ и мы, старымъ крещеньемъ крещенные? По-твоему, пожалуй, и въ пищь и въ питіи общеніе съ ними можно имѣть?
 - Можно, Гришенька... Мало того что можно, должно.

- Да ты въ своемъ ли умѣ?

— Должно. Знай, что споры о въръ — гръхи передъ Го-

споломъ. Всв мы братья, всв единаго Христа исповъдуемъ. Не помнишь развъ, что Господь, по землъ ходивши, и съ мытарями ъль и съ язычниками — никого не гнушался? Какъ же мы-то дерэнемъ?.. Святъе, что ли, мы Его?..

— Да въдь они щепотпики, въ три перста молятся.

— А сколькими перстами повелёль Господь самарянын молиться?.. Читаль ли ты, что Богу надобно кланяться духомъ и истиной?.. А два ли, три ли перста сложишь... это ужъ самое послёднее дёло...

— Уйди отъ меня!.. Уйди, окаянный! — отскакивая отъ

старца, закричалъ Гриша. — Исчезни!..

«Это бѣсъ лукавый; черный эоіопъ въ образѣ старца пришель меня смущати», — думаетъ Гриша и, почасту ограждая себя крестнымъ знаменьемъ, громко читаетъ молитву на

отогнание злыхъ духовъ.

— Запрещаю тебѣ, вселукавый душе, дьяволе... Не блазни мя мерзкими и лукавыми мечтаніями, отступи оть мене и отыди отъ мене, проклятая сила непріязни, въ мѣсто пусто, въ мѣсто безводно, идеже огнь и жупелъ и червь неусыпающій...

А старецъ въ ноги Гришѣ... Слезами обливаясь, молитъ не убивать души своей человѣконенавидѣніемъ... Долго молилъ, наконецъ всталъ, положилъ на путь грядущій семипоклонный

началъ.

— Самъ Господь да просвётить умъ твой и да очистить сердце твое любовію, — сказаль Досиоей заклинавшему бёсовь

келейнику и тихо вышель изъ кельи.

Гриша самъ не въ себѣ. Вѣритъ несомнѣнно, что цѣлыя песть недѣль провелъ онъ съ бѣсомъ... Не одной модитвой старался онъ очистить себя отъ невольнаго оскверненія: возложиль вериги, чтобъ не скидать ихъ до смерти, голымъ тѣломъ ложился на кремни и битыя стекла, цѣлый день крохи въ ротъ не биралъ, обрекая себя на строгій, безъядный постъ на столько же дней, на столько ночей, сколько пробыль онъ съ Доспесемъ.

Но цёлый день и весь вечеръ чудятся ему разныя мечтанья: стуки въ столе, бёсовскіе звуки въ стінахъ, топоты ножные, скаканія, свисть и толкъ, страшные кличи и нелёныя грезы, гудёнія свирёли, волынки и бубновъ. И чёмъ больше склонялся день къ вечеру, чёмъ гуще и темнёй становилися сумерки, тёмъ громче и громче слышались Гришё бёсовскіе звуки. Вотъ и молодой мёсяцъ блеснулъ въ небё золотымъ краемъ, звёздочки вспыхнули на востокё, а заря вечерняя блёднёетъ. Стихъ людской гомонъ, настала теплая, благовон-

ная майская ночь, а Гриша все борется съ бъсами, все читаеть молитвы...

II слышить: издали, съ ръчки, изъ-за зеленыхъ ракитъ несутся звуки волынки, гудка, новорощенной свиръли и гром-кой пъсни семиковской:

Покумимся, кума, покумимся.
Мы семицкою березкой покумимся.
Ой Дидъ-Ладо! честному Семику,
Ой Дидъ-Ладо! березкъ моей,
Еще кумушкъ, да голубушкъ:—
Покумимся!
Покумимся!
Не сваряся, не браняся!
Ой Дидъ-Ладо! березка моя!

— Иждену-жъ я тебъ, душе прокляте... Иду брань сотворить со дьяволомъ! — воскликнулъ Гриша и, выбъжавъ быстро

изъ кельи, устремился на всполье.

И видить: многое множество красных дѣвицъ поетъ и пляшетъ у надрѣчныхъ ракитъ. Всѣ въ бѣломъ, у всѣхъ на головахъ вѣнки, у всѣхъ въ рукахъ березовыя вѣтки. Одаль молодые парни сидятъ — кто съ сурной, кто съ волынкой, кто съ новорощенной свирѣлью. Въ полночный дѣвичій семиковый хороводъ имъ мѣшаться не слѣдъ... И слышитъ Гриша ясные, веселые голоса живого семиковскаго хоровода:

Въ Арзамасъ, въ Арзамасъ, — на украсъ Соходилися молодушки въ единъ кругъ, Онъ думали кръпку думу за-едино: Ужъ мы сложимтесь, молодки, по алтыну, Мы пойдемте къ арзамасскому воеводъ. — Охъ, ты, батюшка нашъ, арзамасскій воевода! Ты прими, сударь, пожалуйста, не ломайся, Дай намъ волю, дай намъ волю надъ мужьями!

Бодро, твердымъ шагомъ, съ поднятымъ вверхъ двуперстнымъ крестомъ, бъжитъ Гриша на борьбу съ бъсовскою силой. Громко, истово читаетъ заклятья:

 — Запрещаю вамъ, стихійныя силы и всякія порожденія дьявола!.. Заклинаю васъ страшнымъ и престрашнымъ, не-

приступнымъ...

А семиковскій хороводъ все громче да громче:

Какъ возговорить арзамасскій воевода: "Воть вамъ воля, воть вамъ воля надъ мужьями, Воть вамъ воля, воть вамъ воля на недѣлю"... Что за воля, что за воля на недѣлю? Все едино, все едино, что неволя".

— Исчезни и отыди въ злосмрадный огнь геенскій, княже

бѣсовскій, со аггелы своими!.. Отыди въ мѣсто пусто, въ мѣсто безводно, въ мѣсто безплодно, — заклинаетъ Гриша.

А у ракить игра своимъ чередомъ. Другую пъсню запъ-

ваютъ:

Дай намъ шильцо да мыльцо, Бълое бълильцо Да зеркальцо, Копейку да денежку — За красную дъвушку! Ой Дидъ-Ладо! Семика честнаго янчницу!

— Запрещаю тебѣ, вселукавый душе, проклятый Сатано!..— говоритъ Гриша, приближаясь къ бѣсовскому полку.

Но дъвицы, завидя его, разомъ встрепенулись. Съ гикомъ,

съ гамомъ завели старую песню:

Монашекъ, монашекъ, Купи намъ калачикъ! Мы тебя, монашекъ, поцълуемъ, Подъ ракитовымъ кусточкомъ побалуемъ.

И вереницей кинулись на Гришу. И ну его цѣловать, миловать, къ сердцу прижимать... А онъ, все-таки видя не дѣвъ земныхъ, но оѣсовъ преисподнихъ, знай читаетъ свое, посылая ихъ «въ мѣсто пусто, мѣсто безводно, мѣсто безплодно»...

И невъдомо какъ то случилось, — но нѣкій отъ черныхъ зеіопъ, во образѣ полной жизни и огня, высокогрудой Дуняши, смутилъ строгаго постника, строгаго молчальника, строгаго веригоносителя, что недавно съ полнымъ сознаньемъ говорилъ на молитвъ: «Госиоди, есть ли человѣкъ праведенъ паче меня»...

II сотвори ему бъсъ накость велію...

Встало солнце. Цѣлый день Гриша отплевывался, вспоминая, что сталось съ нимъ. Хочетъ молитву читать, но бѣсъ, во образѣ Дуни, такъ и лѣзетъ ему въ душевныя очи. Все-то мерещится Гришѣ — ракитовый кустикъ надъ сонною рѣчкой, бѣлоснѣжная грудь, чуть прикрытая миткалевой сорочкой.

Лишь на третій день пришель въ себя Гриша. II, вспомня про ночь, про ракиты, про рѣчной бережокъ — залился онъ горючими слезами: «Погубиль я житіе свое подвижное!.. Къ чему быль этотъ постъ, къ чему были эти вериги, эти кремни и стёкла?.. Не спасли отъ искушенья, не избавили отъ паденья... Загубилъ я свою праведную душу на вѣки вѣковъ...»

Иа другой день посл'в того, какъ б'всъ, во образ'в Дунц, сотвориль Гриш'в пакость велію, попросился къ Евпраксіи

Михайловив на ночлеть инокъ, какихъ въ кельв у нея еще не бывало. Сухой, невысокаго роста, съ живыми, черными, какъ уголь горящими глазами, былъ онъ одътъ въ суконное полукафтанье, плотно застегнутое на мѣдныя, шарообразныя, невеликія пуговки. Рѣденькая бородка была тщательно расчесана; недлинные, но гладко примазанные волосы спускались съ головы кудрявыми, черными какъ смоль прядями. Поступь тихая, степенная, осторожная — ни дать ни взять, ко-шачья. Инокъ былъ такой чистенькій, такой гладенькій, рѣчь была такая томная, сладостная, вкрадчивая. Былъ не старъ, звалъ себя Ардаліономъ.

Дня три онъ прожиль у Евпраксіи Михайловны, и не было еще никого, кто бы такъ по сердцу пришелся Гришв, какъ этоть постникъ и молчальникъ. Хотя, по его словамъ, и держаль онъ странствіе только по такимъ людямъ, что сами древнихъ обычаевъ держатся, а все-таки ѣлъ и пиль изъ своей посудины; воды, бывало, не зачеринеть изь общей кадки, самъ сходитъ на ръчку, самъ почеринетъ водицы въ берестяный свой туесокъ. И къ варсву, что принесеть, бывало, ему Гриша съ поварни Евпраксіи Михайловны, пальдемъ не коснется, окомъ даже не взглянеть, пока не очистить молитвой, не ноложить сотни земныхъ поклоновъ: столь доброопасную строгость въ общении съ малознаемыми людьми имълъ... Сперва все допытывался онъ у Гриши объ Евпраксін Михайловив, да не про то, какъ душу спасаеть, какого держится толку, изъ какихъ старцевъ у нея отецъ духовный, а въ какомъ капиталъ, каковы у нея дъла по торговлъ, воротились ли изъ Москвы сыновья, за наличныя ли деньги товаръ они продали... И все будто стороной. мимоходомъ. Говорить ему Гриша, что знаеть, про что услыхаль ненарокомъ; а отецъ Ардаліонъ тяжко вздыхаеть: «Охъ, суета, суета! — говорить: — какъ-то за эту суету на страшномъ Христовомъ судищъ отвътъ давать? Всякимъ людямъ, чадо, уготована часть въ царствін небесномь; внидуть въ селенія праведныя и тати, и разбойники, и блудники, и сластолюбцы, аще добрымь покаяніемъ, постомъ и модитвою очистять грахи свои; не внидуть же токмо еретикъ и богатый... Нъть имъ части въ славѣ Божіей!..»

Ночью съ правила не сходить Ардаліонъ — лъстовокъ по

сту стоитъ.

По душѣ пришелся Грпниѣ такой строгій, суровый, а проклятія на впадшихъ въ сусту такъ и льются потокомъ изъ усть его. На третью почь, когда ужъ все стихло, и Ардаліонъ, поставивъ въ особомъ углу мѣдные образа̀ свои,— чужимъ иконамъ онъ не поклонялся, — хотѣлъ становиться на правило, — робко, всѣмъ тѣломъ дрожа, подошелъ къ нему Гриша. Кладетъ передъ нимъ уставныя «метанія», къ ногамъ припадаетъ.

— Жаждеть душа моя, говорить, учительнаго словеси твоего, отче святый, стремится къ тебъ духъ мой... Не от-

вергни меня, гръшнаго!

— Чего ты хочешь, чадо, отъ меня неискуснаго? — тихо спрашиваетъ Ардаліонъ, сидя на скамь в.

— Дай мнв часть въ молитвахъ твоихъ праведныхъ, дозволь съ тобою на правило стать... А потомъ учи меня... До смерти готовъ служить тебѣ, до смерти готовъ отъ тебя поучаться.

— Добръ изволъ твой, чадо!.. Добръ твой изволь... Но на

общение въ молитвъ съ тобой дерзать не могу.

— Отче святый, — я правой въры, я старой въры — никоея ереси нътъ во мнъ... Великій я гръшникъ передъ Господомъ; но ни еретикомъ... ни идоложерцомъ не былъ.

И градомъ катились слезы по щекамъ восторженнаго

Гриши.

 Въ нынѣшнія, послѣднія времена, — тихой, вкрадчивой рѣчью заговорилъ Ардаліонъ: -- міръ преисполненъ ересей... Благодать взята на небо, и стадо избранныхъ върныхъ Христовыхъ рабовъ мальетъ день ото дня. Да, чадо, вселенная стала пуста, ныть въ ней больше истиннаго благочестія, темный обликъ злолютыхъ ересей всю землю мракомъ покры. Пустилъ врагь - дьяволь по людямъ многопрелестную власть свою. Все осквернено: и грады, и сёла, и домы, и стогны — смрадъ Сатаны дышитъ повсюду. Какъ волки въ овчінхъ кожахъ, являются слуги его, глаголя: «я правой вфры, я старой вфры». Всв старообрядцами нарицаются — и тв, что зовутся поповщиной, а въра ихъ нестра, и тв, что номорцами прозваны, оедосеевцами, филипиовцами — но вст они единаго порожденья, геенской ехидны. Крещеніе ихъ — ибсть крещеніе, но наче оскверненіе... Всякъ, им'вяй часть съ ними — еретикъ и отъ Бога отверженъ... Какую-оъ строгую жизнь ин новель онъ въ трудахъ, въ постъ, въ молитвъ, въ милостыни, въ нищелюбін и страннолюбін - всуе трудится. На челв и на десивії руцѣ его — антихриста печать... Уготованъ онъ дьяволу и аггеломъ его, того ради, что онъ — еретикъ.

— Гль-жь правая въра, отче святый? Скажи... Выведи

меня на истинный путь.

— Вѣра истинная — въ нещерахъ, въ вертепахъ, въ проиастяхъ земныхъ. Теперь все въ мірѣ растлено прелестью антихриста, — и земли, печестіємъ людей на тридцать саженъ оскверненная, вопість къ Богу, просить попалить ее огнемъ и очистить отъ скверны человъческой. Кто спасенія ищеть, все долженъ оставить — и отца, и мать, и родныхъ, и друзей, ото всего отрещись и бътать въ пустыию. Не слъдуетъ жить подъ одною кровлей — твоя ли она, чужая-ль, все равно — бъти и странствуй по землъ, дондеже воззоветъ тя Господъ. Свой кровъ имъть — гръхъ незамолимый, никакими молитвами его не избудешь, никакими поклонами его не загладишь, никакимъ дъломъ душевнаго спасенія отъ него себя не очистишь. Буди, яко птица небесная, — тогда вся вселенная будетъ твоя!.. Бъти и брань твори со антихристомъ!..

— A гдт онъ, отче? II какъ съ нимъ брань творити?..

— Брань со антихристомъ — противленіе заповідямъ его. Прехвальніе того подвига и спасительніе для души ність ничего.

— Я готовъ, отче, — порывисто вскрикнулъ Гриша, вскочивъ на ноги.

До того онъ сидълъ при ногахъ Ардаліона.

И мигомъ сіявшее душевнымъ восторгомъ лицо его омрачилось. Снова приналъ онъ къ стопамъ Ардаліона и, обливаясь слезами, заглушая слова рыданьями, молвилъ:

— Недостоинъ я, отче святый, недостоинъ такой благодати. Отъ юности моей бороли мя страсти, не устоялъ, окаянный... Не устоялъ супротивъ сътей дьявольскихъ: осквернилъ тъло и душу. Палъ я, отче святый... Погубилъ цъломудріе!..

— Что такое? повъдай мнъ, чадо, безъ всякой утайки, —

какъ отцу духовному, повъдай.

И сказать ему Гриша повъсть дней своихъ отъ того дня, какъ взять быль въ келейку Евпраксіи Михайловны, сказаль, какъ думаль онъ подвигомъ молитвы и изможденіемъ илоти спасти душу, и какъ съ нимъ боролся дьяволъ... Все, все повъдаль ему до самой той ночи, какъ на праздникъ Семика онъ, въ умъ иль внъ ума, соблазненъ былъ нъкіимъ отъ эеіопъ...

— Встань, чадо, — кротко, съ любовію отвѣчалъ Ардаліонъ на его слезы и рыданья. — Сіе есть плотское токмо прегрѣшеніе, сіе есть не грѣхъ, но токмо паденіе. П велико твое паденіе, но всякъ грѣхъ, — опричь еретичества, — таково оплаканный, не токмо прощается, но покаяніемъ паче возвышаетъ душу павшаго. Есть грѣхи тѣлесные горше того, тѣ слезами не очищаются... Таковъ о́ракъ... Сіе есть смертный грѣхъ, потому что въ бракѣ человѣкъ каждый день падаетъ и не кается, и даже грѣхъ свой виѣняетъ въ правду. То грѣхъ незамолимый — прямо ведетъ онъ во тьму кромѣшную!.. А кто

падетъ, какъ ты палъ, и покается — чистъ отъ грѣха. Хочешь ли очиститься отъ всякія скверны?

- 0! хочу, отче святый! Но какъ?.. Научи, наставь!..
- Должно креститься въ правую въру и имя другое принять... Паспорты и всякія бумаги откинуть, ибо на нихъ антихриста печать. И податей не плагить: — то служение врагу-антихристу. II ни къ какому обществу не приписываться: — то вступленіе въ сонмище антихриста и седеніе на свладищахъ губителей. И ежели вопросять тебя: кто ты и коего града? — отвътствуй: «града настоящаго не имъю, а грядущаго взыскую». И твори брань со антихристомъ... Повлекуть тебя на судилище — молчи... Претерпи раны и поношенія, претерпи темничное заточеніе, самую смерть, но ни единаго слова отв'ятствовать не моги и темъ сотвори крепкую брань со антихристомъ. Помни то, что первые мученики съ людьми пренирались — и сколь свётлые вёнцы получили; ты же со антихристомъ, сиречь съ самимъ дъяволомъ, боротиться имень, и аще ностраждень доблественно, паче всехт мученикъ вънецъ получишь, начальнъйшимъ надъ ними будешь, понеже не съ простымъ человъкомъ, но съ самимъ дьяволомъ добіешися... Хощеши ли креститися въ правую BEDY?
 - Хочу, отче святый, хочу...
- А знаешь ли, чадо, какимъ узкимъ, какимъ труднымъ путемъ, волчцами и терніемъ покрытымъ, входятъ избранники въ сію область спасенія?.. Вѣдаешь ли, какимъ подвигомъ пщущіе правой вѣры достигаютъ свѣтлаго собора вѣрныхъ, ихъ же имена писаны въ книгѣ животной?.. О, сколь труденъ подвигь!.. Сколь неудобоносимо то иго!
 - Повѣдай мнѣ о томъ подвигѣ, отче!.. Я готовъ...
- Ни постъ, ни вериги, ин иные твои подвиги, ими же добрѣ подвизался еси, не спасутъ тебя, чадо, не введутъ во область спасенія, куда, яко елень на потоки водные, столь жадно стремится душа твоя!.. Всуе трудился, ни во что при-мѣнились молитвы твои, деннонощныя стоянья на правилѣ, постъ, воздержаніе, отъ людей ненавидѣніе... Всуе трудился еси!.. А сколь свѣтлы селенія земныхъ ангеловъ, праведниковъ во плоти, сколь неизреченныя радости въ ихъ избранномъ соборѣ!.. И я знаю путь къ тому собору и могу показать оный путь!..
- Скажи мив, отче!.. Скажи путь, въ онь же пойду!.. всвиъ твломъ дрожа и лобзая ноги Ардаліона, съ изступленіемъ говорилъ Гриша. Отдамь твло на раздробленіе: узнать бы лишь тотъ путь и хоть на часъ единъ войти въ райскія

свътлицы земныхъ ангеловъ!.. Что нужно мнъ, отче, чтобы достигнуть свътлаго собора избранныхъ?..

— Смиреніе и послушаніе... Слышишь ли? — послушаніе! — Готовъ, отче, тебъ и встмъ въ правой въръ сущимъ

оказать всякое послушаніе...

— Не простое то послушаніе, но совершенное отсѣченіе своей воли, совершенная смерть всякаго помысла, всякаго пожеланія... Ты долженъ будешь ділать только то, что велять, своей же воли отнюдь не имъть... Можешь ли принять на себя столь тяжкое иго?

- Mory, orge!

- Иго неудобоносимо, другъ... Тяжелъ того подвига нътъ на землъ и никогда не бывало... Воистину ли можешь снести его?.. Въдь ты долженъ будешь творить всякую волю наставника, отнюдь не разсуждая, но паче въруя, что всякое его вельные — есть даръ совершенъ, свыше сходяй... Что-бъ ни повельль онъ тебь — все твори... И хотя-бъ твоему непросвьщенному уму и показалось его веление соблазномъ, хотя-бъ лухъ гордыни, гитздящійся въ сердць, и сказаль тебь, что повельное — гръховно и богопротивно, — не внемли глаголу лестну — твори повельніе... Твори безъ думы, безъ разсужденія, но только помни, что буее Божіе — премудрость есть человѣкомъ.
- Какъ же это, отче? слегка поколебавшись, спросилъ Гриша. — А ежель, примъромъ сказать — повелять молоко въ постъ хлебать?

— Хлебай безъ разсужденія!.. Мало того — велять чело-

въка убить — твори волю пославшаго... — Еретика!.. готовъ!.. Не скверню рукъ, паче же омыю ихъ окаянною кровію!.. Какъ пророкъ Плія вааловыхъ жре-

повъ — перепластаю еретиковъ, сколько велишь!

— Не одного еретика, врага Божія... Велъль бы я тебъ: послушанія ради — самому въ срубѣ сгорѣть, гладомъ смерть пріять, засыпать себя рудожелтыми песками, въ пучину морскую кинуться: твори волю мою... И если хоть единъ помыслъ граховнаго сомнанія, хоть одна мысль сожаланія внидеть въ душу твою — всуе трудился — уготованъ ты антихристу и аггеломъ его...

Вздрогнулъ Гриша.

— Можешь ли ходить путемъ върныхъ? Хощеши ли, да имя твое вписано будеть въ книгу животную?

— О, хочу, хочу!

— Пляши и пой ивсию бъсовскую! — прищуря глаза и зорко глядя на Грингу, сказалъ Ардаліонъ.

Ровно варомъ обдало Гришу. Отпрянулъ отъ старца на другой конецъ кельи, ужасомъ покрылось лицо его. Поднявъ руку съ крестнымъ знаменьемъ, задыхаясь отъ внутренняго волненія, читаетъ онъ:

— Заклинаю тебя страшнымъ именемъ Господа Бога жи-

ваго — отыди въ мѣсто пусто, въ мѣсто о́езводно...

— О, маловъръ! — съ укоромъ, качая головой, сказалъ Ардаліонъ. — О, несмысленный Галатъ!.. Гдѣ-жъ твое послушаніе?.. Гдѣ же отсѣченіе воли?.. Гдѣ отриновеніе помысловъ гордыни?.. Нѣтъ, друже, неудобоносимо для тебя иго... Не можешь подъяти его празднымъ и раздвоеннымъ умомъ твоимъ... Сего малаго испытанія не могъ снести — внялъ глаголу духа лестна и лукава... Всуе трудился!.. Нѣтъ тебѣ части въ свѣтломъ сонмѣ избранныхъ!.. Влачи жизнь въ сѣтяхъ антихриста!.. Погибай погибелью вѣчною, буди тамъ, идеже смола кипящая, огнь неугасимый, червь неусыпающій... Говорилъ я, что ты долженъ творить всякую волю наставника, не смущатися духомъ, паче же вѣровать, что буее Божіе — премудрость есть человѣкомъ?.. Поди отъ меня!.. Что мнѣ и тебѣ?.. Кое общеніе свѣту ко тьмѣ?.. Маловѣръ несмысленный!.. Не видать тебѣ горъ Кирилловыхъ...

— чего?

— Горъ Кирилловыхъ, что у Малаго Китежа *). Стоятъ онъ надъ Волгой-ръкой, рядомъ съ горой Оползень... Когда по Волгъ плыветь сплавная расшива мимо тъхъ чудныхъ горъ Кирилловыхъ и на той расшивъ всъ люди благочестивые. — Кирилловы горы разступаются, какъ врата великія растворяются, и выходять оттуда старцы лепообразные, единь по единому... Процвъли тв старцы въ пустыни невидимой, яко крини сельные и яко финики, яко кипарисы и древа не старьющія; просіяли ть старцы, яко каменіе драгое, яко многоцънные бисеры, яко звъзды небесныя... Выходять старцы льпообразные, въ поясъ судоходцамъ поклоняются, просятъ свезти ихъ поклонъ, заочное цълованье братьямъ Жигулевскихъ горъ... И когда расшива проходить мимо техъ Жигулевскихъ горъ, должны судоходцы исполнить приказъ старцевъ горъ Кирилловыхт, должны крикнуть громкимъ голосомъ: «Охъ. вы, гой еси, старцы жигулевскіе!.. Привезень вамъ поклонъ отъ горы Кирилловой: — кирилловы старцы съ вами прощаются, прощаются они, благословляются»... Разступаются тогда высокія горы Жигулевскія, растворяются врата великія, білымъ алебастромъ объ ину пору забранныя, и выходять на берегь

^{*)} Городець на Волгь — Нижегородской губернін, Балахонскаго убзда.

старцы явлообразные, единь по единому... И, поднявь паруса объще, вольной птицей полетить расшива на Ийзовье... Не насвистывай ввтра, бурлакъ, лежа на брюхв — безъ свиста паруса легкіе навдятся ввтра могучаго — понесуть расшиву куда надобно... А забудь судоходцы исполнить завъть горы Кирилловой — возстанетъ буря великая, разверзутся хляби водныя и поглотятъ расшиву съ судоходцами... Таковы блаженные старцы горы Кирилловой, таковы лепообразные старцы Жигулевскихъ горъ...

— Гдь-жь ть горы? Гдь-жь ть старцы? — спросиль впол-

голоса Гриша...

— Туда ходу нъть маловърамъ... Къ нимъ можетъ пройти только истинный рабъ Христовъ, воли своей не имъющій, въ душь помысловь нечистыхь не интающій, волю пославшаго творящій безъ разсужденія... ІІ не только въ Жигуляхъ и на горь Кирилловой процвытають крины райскіе, во иныхъ во многихъ пустыняхъ невидимыхъ просіяли свътомъ невечернимъ свътила богоизбранныя... Путь же ихъ правъ, въра истинна; имена ихъ въ книгъ животной написаны... II сіяютъ ть свытила отъ древнихъ летъ... Тамъ, за Керженцемъ — пролегаеть дорога, давнымъ-давно запущенная. Нъть по ней дзлу коннаго, нътъ пути пъщеходнаго, а не зарастаетъ она ни льсомъ ни кустарникомъ... То — «Батыева трона»... Проходили туть татары поганые оть стольнаго града Володиміра въ чудный Китежъ-градъ. И тогъ чудный градъ досель невизимо стоить на озерь Свътломъ Яръ... Лътнимъ вечеромъ, кога гладью стануть воды озера, ни вітеръ рябью не кроеть ихъ, ни рыба, играючи, не пускаеть широкихъ круговъ, сокровенный градъ кажетъ тынь свою: въ водномъ лонъ видньются церкви Божьи златоглавыя, терема княженецкіе, хоромы боярскія... Живуть въ томъ града люди блаженные, лустынные жители преподобные... Тамо жизнь безпечальная; окизнь безъ воздыханія, день немерцаемый, утахи райскія... II всякъ человъкъ, иже смирилъ душу свою послушаніемъ, увъдаеть путь въ чудный градъ тоть и вкусить отъ блаженныя жизни живущихъ тамо земныхъ ангеловъ.

— Скажи тотъ путь...

— Послушаніе безъ разсужденія... Кто возжелаеть всёмъ сердцемъ, всею душою, всёмь помышленіемъ оставить сей многопрелестный міръ; кто нераздвоеннымъ умомъ, несомн'єнно, безъ разсужденья, об'єщается идти въ благоут'єшное пристанище, тому чудныя врата сокровеннаго града отворятся... Никому въ мір'є не пов'єдавши, ни отцу ни матери, ни роду ни племени, творя лишь послушаніе наставника, ступай тро-

пой Батыевой — иди тщетнаго въ себь не помышляя и о томъ, чтобъ всиять возвратиться, не думая... Будешь терпъть лютый гладъ, будешь терпъть мразный хладъ, — иди тропой Батыевой — пролагай стезю ко спасенію. направляй стопы въ чудный Китежъ-градъ... Нападуть звъри лютые, наскочитъ на тебя змѣя подколодная. — иди тропой Батыевой, пролагай стезю ко спасенію, направляй стопы въ чудный Китежъ-градъ... Возстанеть бура великая, хлынутъ на тебя ручьи дождевые, заскринять по лѣсу сосны стольтия, повалятся деревья буреломныя, — иди тропой Батыевой, пролагай стезю ко спасенію, направляй стопы въ чудный Китежъ-градъ... Накинутся лютые демоны, нападуть на тебя змѣи огненныя, окружать тебя зоіопы черные, заградитъ дорогу сила преисподняя. — а ты все иди тропой Батыевой — пролагай стезю ко спасенію, направляй стопы въ чудный Китежъ-градъ...

— Скажи мив путь, въ онь же пойду!.. Хоть бы денёкъ

тамъ пробыть.

— Тамо — жизнь безконечная. Часъ единъ — завшнихъ сто годовъ... И не одинъ таковой сокровенный градъ обретается: много ихъ по разнымъ мѣстамъ и пустынямъ Господомъ Богомъ ради избранныхъ поставлено... Ради тъхъ. что бъгаютъ отъ антихриста въ горы, вертены и пропасти земныя. по реченному Ефремомъ Сприномъ... Тамъ же, за Волгой. на озерв Нестіарв другой сокровенный градъ... А подальше въ льсу невидимая церковь стоить. Въ стары годы стояла она въ Василь-городь, на Суръ на ръкъ... Былъ праздникъ Господень — Преполовеньевъ день, пошелъ крестный ходъ на Суру воду святить. — двинулась за крестами и церковь Божія... Сура-рѣка разступалася, какъ ворота растворялася, принимала людей, что за крестами шли. принимала и церковь Божію... И перенеслась церковь за Суру за ръку, за Волгурвку, за Ветлугу-рвку, и досель стоить невидимо — въ льсахъ... а въ какихъ — повъдать тебъ. маловъру, нельзя... Стоять въ ней люди васильгородскіе и будуть стоять до втораго Христова пришествія... Бысть единь мужъ благочестивъ и боголюбивъ, житель единыя веси. неподалеку стоящей. Изыде той мужь въ льса, ловитву звърямъ дьюще, и Божіныъ изволеніемъ открылась ему церковь васильгородская. Пошелъ рабъ Христовъ, слышитъ: восьмой ирмосъ канона на святую Пасху поють: «Сей нареченный и святый день»... Сладко райское пъніе, вкругь церкви благоуханіе, світь лучезарный окресть сіяеть... Мужъ тотъ не знаеть — во сит онъ или въ восторгъ... Прослушаль одинь только ирмось и пошель обратнымь путемъ во-свояси, славя и благодаря Бога за виденную столь

чудную вещь... И егда прінде въ весь свою — ни единаго знаемаго обрътъ, и ни единъ житель тоя веси его не позналъ. II бысть молва велія и многое разсужденіе въ людѣхъ... Мужъ же той имя свое поведаль имъ, глаголя, что лишь наканунъ отыде изъ веси той въ льсъ, звъриныя ради ловитвы, жену и дітей своихъ называя и домъ свой указуя... И дивляхуся вси... По малъ времени обрътоша по сосъдству мужа древня, ему же бі вящше ста літь. ІІ повіда той старець: «Бывшу мнк во отрочествк, слыхаль азъ, многогрышный, отъ родителей, былъ-де въ ихъ веси человъкъ добродътельный и благочестивый, имя то самое имьяй, каковымъ пришлецъ сей чудный себя нарицаетъ... Тотъ человъкъ во едино время отыде въ лѣсъ, звъриныя ради ловитвы, и не возвратися»... II повъда людемъ чудный мужъ, како видълъ онъ въ дебряхъ лѣсныхъ церковь васильгородскую и слышалъ ангелоподобное пъніе. II егда повъда, испусти духъ и преселился въ жизнь въчную... II познаху люди, что егда блаженный единъ прмосъ: «Сей нареченный и святый день» слушаль — сто годовъ протекло, и болье. И восхвалиша Господа и рекоша другь ко другу: «дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ!»... II азъ знаю путь къ церкви васильгородской и могу указать тотъ путь несомнънно спасенія имущему...

— Отче, отче! скажи мнв... — Имвешь ли послушаніе?

— Им'єю, отче... Я сейчасъ... — П, взирая распаленными глазами на Ардаліона, подперт руки въ боки, готовый пуститься въ илясъ. Зап'єть-было:

"Какъ во городъ было во Казани..."

— Довольно... — сказалъ Ардаліонъ. — Больше не надо. Благо твое послушаніе... Аще всегда будеши таково творити волю мою безъ разсужденія — узриши благая Герусалима... Можешь ли теперь же творить брань со антихристомъ?

— Могу, отче... Гдъ?.. Покажи треклятаго, да брань со-

творю.

— Антихристь, чадо, многоглавень, многоумень и многоязычень. Все, что не нашей въры — антихристь. Вся эта пестрая поповщина, хромыя души, какъ бывшая хозяйка твоя со всъмъ своимъ мерзкимъ отродьемъ — антихристъ!

Иду — задушу и ее и всѣхъ!..

— Щука умреть — зубы останутся... Не тронь... Зубы вырви у ней.

— Какіе зубы?..

— Зубы ада — его сила... Сила днешняго антихриста —

деньги. Ими все творится пагубы ради человѣческой... Можешь ли вырвать зубы изъ мерзкихъ челюстей его, окаяннаго?

— Могу, отче. Знаю, гдв сундукъ. Въ моленной. Хожу туда

по ночамъ дампадки поправлять. Могу, отче!.. Иду...

II пошелъ-было къ двери.

— Постой, — сказаль Ардаліонь. — Время не уприсив... Часъ не пришелъ... Хощеши ли креститися въ правую въру?

— Хочу, отче... Гдѣ же?

— Идемъ на рѣчку — время благопріятно. Пошли... И въ ночной тишинѣ перекрестилъ Ардаліонъ Гришу подъ той ракитой, гдѣ сжималъ онъ въ объятіяхъ Дуню... Полная луна блъднымъ свътомъ обливала обнаженное тьло юнаго изувъра, когда троекратно подъ рукой Ардаліона погружался онъ въ свежія струп рычки. Ночь благоухала, небесныя звёзды тихо, безмолвно мерцали, въ лёсу и въ прирвчныхъ ракитахъ раздавалось громкое пвнье соловьевъ.

II нарекъ Ардаліонъ имя ему — Геронтій.

— Благослови, отче! — съ изступленнымъ жаромъ сказалъ Геронтій наставнику, когда воротились они въ келью.

— Благословенъ грядый во имя Господне!..

Безъ ума, со всъхъ ногъ бросился Геронтій... Ардаліонъ сталь посившно сбирать въ пещуръ пожитки, чутко слушая, не зашумъли-ль. Печку потомъ затопилъ.

Принесъ Геронтій сундукъ. Насилу дотащиль.

Сундукъ разбили. Деньги вынули, бумаги въ печь покидали.

— Въ пустыню! — молвилъ Ардаліонъ.

II, наскоро положивъ семипоклонный «началъ», вышли на всполье, ръчку въ бродъ перешли и бъгомъ пустились къ лъсу.

Дня черезъ три хоронили Евпраксію Михайловну — умерла въ одночасье.

Запутались съ той поры Гусятниковы.

въ чудовъ.

Выль *).

Быть въ Нижнемъ-Новгородъ и не видать Ивана Кондратьича Рыбникова было все равно, что быть въ Римъ и не видать папы. А видъть Ивана Кондратьича можно было каждый Божій день: поутру въ депутатскомъ дворянскомъ собраніи, а вечеромъ въ дворянскомъ клубъ. Тридцать тригода прослужилъ онъ депутатомъ и чуть ли не пятьдесятъ

льтъ быль членомъ клуба.

Бывало, усядемся съ нимъ возлѣ бильярдной; человѣка дватри изъ неиграющихъ въ карты подсядутъ, и пойдутъ у насъ нескончаемыя розсказни. Разъ зашла бесѣда за-полночь; говорили про старинныя псарни, про медвѣжью охоту. Кто-то разсказалъ о нечаянной встрѣчѣ одного помѣщика съ лѣснымъ бояриномъ, Михайлой Иванычемъ Топтыгинымъ. Помѣщикъ, совсѣмъ безоружный, чудомъ спасся отъ коттей разъяреннаго звѣря. Толковали о томъ, что долженъ былъ испытать помѣщикъ въ обществѣ Мишеньки... Иванъ Кондратьичъ молча прошелся разъ-другой по комнатѣ и, остановясь передъ нами, молвилъ:

— Со мной хуже было!

Всв знали, что Иванъ Кондратычъ не охотникъ. Удивились.

Гдѣ-жъ это, Иванъ Кондратьичъ?
Въ Чудовѣ, Новгородской губернін.

— Какъ же это случилось? Разскажите, пожалуйста!

— Пожалуй — теперь можно.

- Пожалуйста, пожалуйста, Иванъ Кондратьичъ!
- Я еще молодъ былъ, началъ Пванъ Кондратычъ: двадцать съ небольшимъ мнь тогда было. Теперь, по новымъ

^{*)} Дъйствительный разсказъ покопнаго Ивана Кондратьича Рыбникова.

порядкамъ, человъкъ въ двадцать лътъ — совершенный, умиъе стариковъ, а въ наше время — молокососомъ считался... Да... Однако я ужъ тогда и дворянству послужилъ и въ отставку выйти успълъ. Завелись лишнія деньжонки — дай слетаю въ Москву, погляжу, что за Москва облокаменная... А она въ ту пору отстраивалась послъ французскаго разоренья... Собрался, поъхалъ. И встрътился я въ Москвъ съ нашимъ помъщикомъ, съ Андреемъ Петровичемъ Приклонскимъ. Онъ тогда въ откупа вошелъ; сначала дъла у него пошли хорошо, своя винокурня была, а потомъ спуталось какъ-то: взысканія пошли, споры да иски — скверное дъло. Оттого и жилъ онъ въ Москвъ: въ сенатъ хлопоталъ.

«Встрѣтились мы съ нимъ, обрадовались... Обѣдалъ я какъ-то у него. Вдвоемъ обѣдали. Андрей Петровичъ и сталъ мнѣ

откровенно про свои делишки разсказывать.

«— Воть бѣда-то, говорить: здѣсь у меня все на мази, а въ Петербургъ до-зарѣзу надо съѣзднить — справки тамъ пособрать да барашка въ бумажкѣ кой-кому сунуть. Самому отлучиться нельзя, пожалуй, все дѣло испортишь. А вѣрнаго человѣка нѣтъ. Хоть волкомъ вой!

«Толкуемъ этакъ, того, другого перебираемъ. кого бы можно въ Петербургъ послать. Тотъ тѣмъ не годится, другой другимъ, а ѣхать — послѣзавтра.

«— Знаешь ли что, Иванъ Кондратьичъ? — говорить Андрей

Петровичъ.

«— Что? — спрашиваю.

«— Сдѣлай дружбу — съѣзди!

«— Легко сказать: съвзди, — отвёчаю ему. — Да какъ въхать-то?

«— Не твоя бъда: на мой коштъ поъдешь.

«— Не въ коштѣ сила, говорю. Деньги что! Я и самъ думаль на Иетербургъ посмотрѣть. А то возьмите, что въ Петербургѣ я не бывалъ, пріѣду, какъ въ лѣсъ: никого не знаю, за дѣло взяться не умѣю. Чтобъ не испортить какънибудь.

«— Объ этомъ, говоритъ, не безпокойся. Дамъ письма къ пріятелямъ, все у тебя пойдетъ, какъ по маслу. Мнь нуженъ ты только для върности... А на тебя во всемъ пола-

гаюсь: дёло сосёдское.

«— Сосъдское-то оно сосъдское. Только въдь я въ откупахъ никакого толку не смыслю. Особенно по заводу, тутъ ужъ ни бельмеса не понимаю. Испортить боюсь. Вотъ что.

«— Ицку пошлю съ тобой.

«А это — жидъ былъ, на заводв винокуромъ служилъ. Жи-

дамъ строго было тогда запрещено въ столицахъ проживать.

«— Развѣ, говорю, онъ здѣсь? Вѣдь запрещено...

«— Мало-ль что запрещене! Не одна сотня жидовъ на Москвъ живетъ, хоть и запрещено.

«- Безъ паспорта?

«— Зачкиъ безъ паспорта? Съ паспортомъ, только паспортъотъ у него припрятанъ. Не на виду, значитъ...

«— Какъ же въ полиціи-то?

«— Мой дворовый человѣкъ — и вся недолга.

«— А въ Петербургъ-отъ какъ же его? Тамъ вѣдь насчетъ паспортовъ еще строже московскаго.

«— Здѣсь Ицка мой, въ Петербургѣ будетъ твой.

«— Не досталось бы?

«— Не ты первый, не ты и послѣдній.

«Поладили. На другой день поутру привели лошадей. Ицка на облучокъ, а я въ дормезъ Андрея Петровича. Отличный дормезъ: вънской работы. Покатили шестерикомъ. Бариномъ ъхалъ.

«Въ Петербургъ прожилъ больше мъсяца. Что нужно было, обдълалъ хорошо. Поъхалъ съ Ицкой въ обратный путь.

«Вечеркомъ прівхали на Чудовскую станцію. Ямщикъ лихо подкатиль дормезъ къ подъвзду «путевого дворца», — такъ назывались тогда станціи по новой, только-что выстроенной шоссейной дорогь изъ Петербурга въ Москву. Домъ большой, каменный, у подъвзда фонари горять. Провзжающихъ нътъ, только парная тельжа стоитъ. Лошади, значитъ, будутъ.

«Былъ октябрь на исходѣ; я прозябъ, даромъ что въ дормезѣ сидѣлъ; сильно подмораживало. Вышелъ изъ экипажа, иду по лѣстницѣ — освѣщена. Вотъ, думаю, какъ бы вездѣ такія станцін были, ѣздить бы сполагоря. А то по нашимъ мѣстамъ избушки на курьихъ ножкахъ: тѣсныя, грязныя, а клоповъ да таракановъ видимо-невидимо.

«Вхожу въ комнату — большая, мебель прекрасная. У притолки смотритель въ струнку вытянулся... «Экій порядокъ!»—

думаю.

«— Лошадей! — приказываю смотрителю, а самъ подаю ему подорожную. — Шестерикомъ! Да дормезъ надо подмазать. Распорядись, любезный, а я покамѣстъ у тебя чаю напьюсь.

«Тогда просто было: станціоннымъ смотрителямъ благородные

«ты» говорили.

«Смотритель подорожную взяль, а самь ни съ мѣста. Иду дальше. Передъ диваномъ — большущій столь. На немъ маленькій самоварчикъ. Пьеть чай какой-то старикашка, сухой,

сердитый, съ кудреватыми волосами, въ съренькомъ сюртукъ. Такой неприглядный. «Должно-быть, изъ земскаго суда», — думаю... Подошелъ я къ столу, шапку положилъ, шарфъ съ шен размоталъ — тоже на столъ. Обернулся, вижу: смотритель стоитъ, какъ вкопанный.

«- Лошадей, говорю.

«Молчитъ смотритель, ровно солдать во фрунть.

«Я опять къ столу. Йоворотился задомъ къ старику, опять иду къ смотрителю.

«— Что-жъ, говорю, оглохъ ты, что ли?

«Смотритель налуво кругомъ и скорымъ шагомъ маршъ за дверь.

«— Что, молодой человѣкъ? Откуда ѣдешь? — сердито про-

гнусилъ старикъ.

«Въ наше время старые люди молодыхъ тыкали: это обидиымъ не считалось. Сухо отвътилъ я:

«- Изъ Интера.

«— Что-жъ, ты, мой другъ, самъ-отъ петербургскій?

«— Нѣтъ!

- «-- Откуда-жъ?
- «— Изъ Инжегородской губернін.
- «— Помфщикъ?
- «— Помѣшикъ.
- «— Гм!.. Богатый?
- «— Съ меня станеть.
- «— То-то: шестерикомъ вздишь!.. Въ карманв-то, видно, густо.
 - «— Чахотка.
- «— Не по-чахоточному ѣздишь. Здѣсь вѣдь прогоны больше.
- «— Это ужъ мое дѣло, говорю, а самъ думаю: «что это онъ присталъ ко мнѣ?»
 - «— Чайку не хочешь ли? спрашиваетъ.
- «— Да вотъ смотритель, каналья, до сихъ поръ не распорядился. Я самъ хотълъ здъсь чай пить.
- «— Пьемъ вмѣстѣ: у меня пареной травки въ чайникѣ много. Выпьють же даромъ.
- «— Пожалуй... сказалъ я. Да вотъ прежде смотрителя надо хорошенько повернуть.

«Подойдя къ окошку, отворилъ я форточку и крикнулъ:

«смотритель!»

«Разъ крикнулъ, два крикнулъ, три крикнулъ: ни духу ни послушанія. Ровно всѣ вымерли. А слышно: чуть-чуть копошатся. «— Что горячниься? — гнусить старикъ. — Аль крипко надо

спѣшить? Зазноба, что ли?

«— Некуда мнѣ спѣшить, а досадно, что смотритель порядка не знаетъ: проѣзжающихъ нѣть, а онъ лошадей не даетъ... Вамъ вѣдь парочку?

«— Да, парочку. Я все на парочкъ взжу.

«— Что-жъ это онъ? И глазъ не кажетъ! — съ досадой говорю я про смотрителя.

«— Не кипятись. Успѣешь, мой другъ. Выпей-ка лучше

чайку стаканчикъ.

«Й, вынувъ изъ обитаго тюленьей шкурой погребца граненый стаканъ, налилъ чаемъ и придвинулъ ко мит.

«— Съ прикуской пьешь, али въ накладку?

«— Въ накладку.

«— Какъ же тебѣ не въ накладку? Богатъ! Помѣщикъ! — П положилъ сахару въ мой стаканъ.

«— А что, мой другь, — спросплъ онъ, немного помолчавъ: —

служишь, что ли?

«— Теперь не служу. «— Что-жъ такъ?

«— Да такъ, по грамотѣ о вольности дворянства. «Хочемъ — служимъ, хочемъ — нѣтъ».

«— Гм! Что-жъ подълываешь?

«— Да ничего не дълаю.

«— Ужъ будто и ничего? Въ Петербургъ-отъ зачѣмъ ѣздилъ?

«— Не по своему дѣлу, — отвѣчаю, прихлебывая чай.

«— По чьему же?

«— Сосѣда по деревнѣ — Приклонскаго Андрея Петровича.

«-- Что же у него за дѣла?

«— Самыя поганыя, говорю: по откупамъ да по заводу винокуренному.

«— Гм! Что-жъ за дѣла такія?

«— Хорошенько-то и не знаю. Мое дѣло было справки взять да кой-кому руки смазать.

«— Что-жъ, смазалъ?

«— Смазалъ.

- «— И пошло дѣло?
- «— Еще какъ пошло-то!«— Гм! А гдѣ смазывалъ?
- «— Извъстно гдъ! И сказалъ, гдъ смазывалъ.

«— Гм! И взяли?

«— Еще бы не взять!

«- И не поморщились?

«— Не ежа, чать, въ руки-то соваль, а деньги. Зачвиъ же морщиться?

«— Гм! Выпей еще стаканчикъ.

- «— Вынью. А сами-то вы откуда будете? спрашпваю я у него.
 - «— Недальный. Тоже помъщикъ.

«— Новгородскій?

«— Новгородскій. Воть недалеко огсюда деревнюшка у меня есть.

«— А вдете откуда?

- «— Неподалеку отсюда по дѣлишкамъ ѣздилъ... А какъ твое имечко святое?
 - «- Иванъ.
 - «— По батюшкѣ-то какъ звать?
 - «— Кондратынчъ.
 - «— A фамилія какая?
 - «-- Рыбниковъ.
- «— Какъ же это ты, другь мой, Иванъ Кондратынчъ, дѣльцо-то сладилъ? Говорятъ, винное дѣло мудреное. Развѣ самъ прежде кабацкой частью занимался?

к— Не бывать я по кабацкой части и не буду... Не дворянское двло... Да что это однако здвсь за смотритель? Воть я

поверну его по-своему!

«И ношель-было къ дверямъ.

«— Да ты крикни опять его въ форточку. Авось услышить, — гнусить старикъ.

«— II въ самомъ дѣлѣ, — молвилъ я.

«Кричаль - кричаль я въ форточку, и грозиль смотрителю, и ругался — отвъта иътъ какъ иътъ. А подъ окномъ шушукаютъ.

«— Пцка! — крикнулъ я.

«Молчатъ.

«- Ицка! Ицка!

«— Что у тебя тамъ за Ицка такой? — спрашиваеть старикъ.

«- Жиденокъ.

- «— Какъ жиденокъ?
- «— Да такъ жиденокъ. Жидомъ родился, такъ и значитъ жидъ.

«— Гм! Что-жъ онъ тутъ дѣлаетъ?

«— Да со мной ѣдетъ.

- «— II въ Петербургѣ былъ?
- «— II въ Петербургѣ быль.
- «— Жидъ-отъ? «— Да! А что?
- «— Паспорта развѣ не спрашивали?

- «— Зачѣмъ паспортъ? Ицка у меня за крѣпостного двороваго человѣка.
- «— Гм! Какъ же это ты, Пванъ Кондратьичъ, на такое дъло ръшился?

«— Отчего-жъ не ръшиться? Не я первый, не я послъдній.

А я бы еще стаканчикъ выпилъ.

- «— Пей, Иванъ Кондратынчъ, ней, мой другь!
- «И старикъ налилъ мнѣ еще стаканъ чаю. «— Ну что, какъ у васъ въ губерніи?
- «— Ничего, слава Богу!

«— Урожай хорошій?

«— Порядочный.

- «— Въ вашей губерніи народъ зажиточный, мужики богатые?
- «— Исправный народъ, отвѣтилъ я. Не то, что здѣсь.

«— А здѣсь развѣ тебѣ не нравится?

«— Нѣтъ, не нравится.

«— Чѣиъ же не нравится?

«— Да какъ же это! Всѣхъ мужиковъ въ солдаты хотятъ поворотить. Штабовъ да казармъ вокругъ Новгорода настроили — одно только стѣсненіе... Мужику дай просторъ, онъ и будетъ исправенъ. А это на что похоже?

«— Что-жъ тутъ нехорошаго? — спросилъ старикъ, немножко насупившись. — Молодъ еще ты, сударь, такъ разсуждать!..

Надъ этимъ дъломъ работали умы государственные.

«— Чорта съ два!.. Государственные умы!.. Еще здѣшній, а не знаете, что туть Аракчеевь всѣмь ворочаеть.

«— Такъ Аракчеевъ, по - твоему, не государственный человѣкъ? — глухо и какъ бы съ одышкой прогнусилъ старикъ.

«— Далеко кулику до Петрова дня!.. Да что объ этомъ дьяволъ толковать! Налейте-ка лучше еще стаканчикъ. А я васъ за то отличной пуляркой угощу. Вотъ только Ицку кликну.

«— Не суетись, мой другь. Подожди — усићешь. Вѣдь намъ

съ тобой торониться некуда. Потолкуемъ пока.

«— Зачёмъ же изъ пустого въ порожнее переливать да время даромъ терять?.. Закусимъ и маршъ: вы въ деревню, я въ Москву бёлокаменную.

«— А что-жъ, Иванъ Кондратьичъ, въ вашей-то губерніи,

безъ Аракчеева, развѣ легче житье-то?

- «— У насъ, батюшка, свои Аракчеевы есть... Чинами только не выше, а то-бъ и почище его были.
 - «-- Кто-жъ это такіе?
- «— А хоть исправники, напримѣръ... Что они теперь творять!.. У мергваго волосъ дыбомъ станеть.

«- Что-жъ такое?

- «— Да хотя бы насчеть березокъ. Какому-то чорту пришло въ голову березками дороги обсаживать.
 - «— Эта мысль тоже графа Аракчеева!
- «— Должно-быть, что такъ... Хорошему человѣку придетъ ли на умъ такая штука? Теперь мужикъ лѣтомъ, чѣмъ бы на нашнѣ работать, береги каждую березку, окапывай ее, очищай; подсохнетъ новую сади... Листъ на которой чуть пожелтѣеть поливай ее, либо новую сади. Одна покормка земской полиціи чего станетъ?.. Березки-то, извѣстно дѣло, не вырастутъ, а по двадцати копеекъ съ дерева ужъ собрано.

«— Куда же?

«— Извъстно куда! Не намъ съ вами.

«— Земска полиція?

«— А то кто же?

«— Гм! Сильно беруть?

«— Да какъ же и не брать-то?.. Свътъ на томъ стоитъ. Всъ берутъ.

«— Неужли всъ?

- «— Да кто-жъ врагъ себѣ, кто откажется? Въ Петербургѣ самъ царь живетъ, да съ меня взяли же; а у насъ вдалекѣ и Богъ проститъ.
- «— Гм! Такъ ты, другъ мой Иванъ Кондратыччь, давеча сказалъ, что у васъ въ губерини свои Аракчеевы есть. Значитъ, по-твоему, и Аракчеевъ взятки беретъ?

«— Взятокъ не беретъ, зато съ мужиковъ по три шкуры

деретъ.

«-- Гм! Не хочешь ли еще чайку-то?

«— Нѣтъ. Я вотъ за пуляркой схожу. Спитъ мой жидъ, должно-быть.

«Накинулъ и шинель, шапки не взялъ: оставиль ее на столѣ, возлѣ старика. Вышелъ я изъ комнаты, сошелъ внизъ.

«— Гдѣ, говорю, смотритель?

«— Здѣсь, ваше благородіе, — отвѣчаеть онъ.

«Смотрю: подлѣ телѣжки стоптъ. А въ телѣжку лошади заложены отличнѣйшія.

«— Что-жъ лошадей:

- «— Сейчасъ, ваше благородіє. Позвольте только графа отправить.
 - «— Какого графа?
 - «— А графа Аракчеева.

«- Гдв онъ?

«— А чаемъ-то васъ потчевалъ.

«Поднимаюсь наверхъ тихохонько. Отворилъ дверь, сталъ у притолки. Руки по швамъ.

«Аракчеевъ попрежнему сидитъ на диванъ, погребецъ запираетъ. Взглянулъ на меня.

«— Аль со смотрителемъ поговорилъ? — спрашиваеть.

«Открыть я роть. Хвать, языкъ-оть не ходить.

«- Подь сюда, Иванъ Кондратьичъ!

«И ноги не действують.

«Самъ подошелъ ко мнъ, положилъ руку на плечо и гнусить:

«— Вотъ тебѣ, молодой человѣкъ, урокъ. Съ незнакомыми языка не распускай. Говори подумавши. Чего хорошо не знаешь, про то судить не берись... Да и жидовъ въ столицы не вози... Прощай, другъ мой!.. Да заруби на носу: про что мы съ тобой говорили, про то знаютъ только ты да Аракчеевъ. Помни же это!

«И ушелъ. Слышу, телѣжка покатила по шоссе. Тотчасъ

крикъ да говоръ пошелъ на улицъ.

«До самой смерти Аракчеева никому не смёль я заикнуться про нашу встрёчу. Твердо помниль, что велёно было на носу зарубить. Съ Аракчеевымъ шутить было нельзя — Спопрь не своя деревня».

Раздался клубный звонокъ.

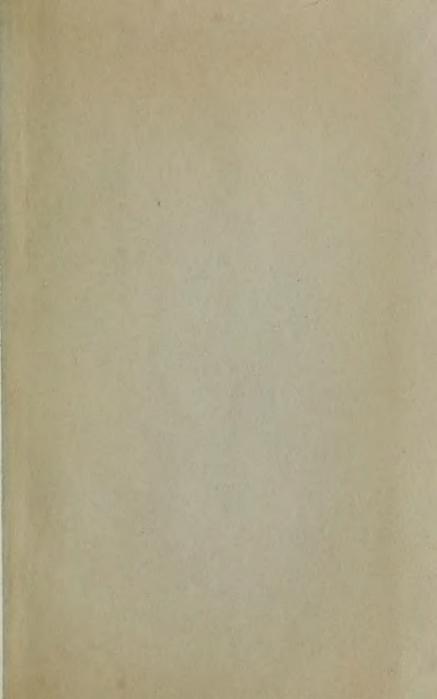
-- Ну, прощайте, господа! звонокъ. Штрафа платить не намъренъ, — сказалъ Иванъ Кондратъпчъ и ушелъ изъ клуба.

Оглавленіе

I TOMA.

П. И. Мельниковъ-Печерскій. Гуритико-біографическій очеркъ .1. Измай-	,
	3
 -	
Разсказы:	
Красильниковы	ī
Дъдушка Поликарпъ	5
Поярковъ	8
Старые годы	l
Медвъжій уголъ	3
Непремънный	8
Именинный пирогъ	3
Бабушкины розсказни	8
На станціи	8
Гриша	5
Въ Чудовѣ	0







PG 3337 M45 1909 t.1 Mel'nikov, Pavel Ivanovich Polnoe sobranie sochinenii

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

